

В. КОСТИКОВ

МИСТРАЛЬ

1 р. 10 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В. КОСТИКОВ

МИСТРАЛЬ

**ЗАГОВОР
«ЧЕРНЫХ СЕСТЕР»**

**ОГЛАШЕНИЮ
ПОДЛЕЖИТ**

Москва
"Международные отношения"
1988

ББК 84.4 (2) 7

К72

Костиков В.В.

К72 Мистраль: Политические романы. — М.: Междунар. отношения, 1988. — 264 с.

ISBN 5-7133-0088-9

В книгу входят два произведения — «Заговор "черных сестер"» и «Оглашению подлежит». Острый, динамичный сюжет, столкновение характеров служат увлекательным фоном для рассказа о скрытых формах политической и экономической войны, которую ведут западные монополии против демократического движения собственных стран, а также против социалистических государств. В книге звучит предостережение против опасности неофашизма и манипулирования общественным сознанием с помощью правой прессы. Написана в жанре политического романа. События происходят во Франции.

Для массового читателя.

4702010201-028

К 003 (01) - 88 Без объявл.

ББК 84.4 (2) 7

ISBN 5-7133-0088-9

© "Международные отношения", 1988

ЗАГОВОР «ЧЕРНЫХ СЕСТЕР»



Глава 1

Лысоватый, большеголовый человек с пухловатыми щеками и небольшой сединой на висках неторопливо шел вдоль бульвара, с неудовольствием поглядывая на аляповато расцветченные балаганы, приткнувшиеся один к другому на всем протяжении от перекрестка Клиньянкур до площади Клиши. Дальше разбивать балаганы префектура не позволяла: там начинались приличные кварталы шестнадцатого района, и балаганная разноголосица с криками зазывал, хлопаньем пневматических ружей, грохотом музыки возле сбитых из досок салонов стриптиза и гулом толпы была бы вовсе неуместна даже и на Пасху.

Впрочем, если бы г-н Детоор оказался здесь не в пасхальные дни, очень вероятно, что он все равно не удержался бы от грустной, с оттенком сострадательного скепсиса, улыбки, которая, надо признаться, очень не шла к его доброму и благопристойному лицу. Ничто не обращало на себя внимание прохожих в облике почтенного г-на Детоора. Разве что шляпа — чрезвычайно мягкая, удобная, с широкими полями, особенно полезными во время частых амстердамских дождей, и очень (именно своей полезностью) отличавшаяся от тех легкомысленных, просто, я бы сказал, смешных шляп, которые нам приходится носить в наш испорченный модой век.

Г-н Детоор двигался медленно, поминутно поворачивая голову то влево, то вправо, как бы желая о чем-то осведомиться у спешащих мимо людей, и при этом едва заметно кивая: он точно очень деликатно раскланивался со знакомыми.

Не знаю, следует ли говорить об этом (как бы читатель не подумал о нашем новом знакомом плохо), но правды все равно не утаишь: словом, г-н Детоор не любил Париж, и нынешняя пасхальная суeta только досаждала ему. Он и теперь не хотел сюда ехать, а собирался отдохнуть в Риме, но дочь Анна вдруг заупрямилась и уговорила его таки на Париж.

Не любил же этот город г-н Детоор не потому, что ему вообще была чужда красота — он ее чувствовал, и весьма тонко, отдавая предпочтение мягкой уравновешенности и талантливой расчетливости фламандских мастеров, — а потому, что с Парижем у него было связано одно не очень приятное воспоминание о единственной в его жизни чувственной связи, после которой он твердо и навсегда утвердился в мысли, что при его слабом и податливом характере лучше не иметь подобных связей вовсе.

В молодые годы, приехав в Париж, он позволил себя обаять некоей особе с соблазнительными округлостями. Чары этой особы оказались сильнее природной осмотрительности молодого экономиста, и г-н Детоор, тогда еще просто Эрнест, вынужден был потратиться на подвенечное платье и темный сюртук. Обаяние, увы, скоро прошло, начался болезненный бракоразводный процесс, после которого на руках у него оказался единственный плод этого опыта — дочь Анна, столь непохожая на него самого, что в былые годы г-н Детоор не раз задумывался, не было ли в столь неудачном опыте других участников. Впрочем, в этой неудаче, как и во всяком хуе, было свое зерно добра: сделавшись убежденным холостяком, Эрнест Детоор умел оградить свою жизнь от забот, связанных с беспокойным женским полом, всецело отдался службе и уже через десять лет стал тем, кем мы и застали его теперь в Париже, — уважаемым и ценимым начальством человеком, главным финансовым инспектором МОНГа — Международного объединения нефти и газа.

Вот, пожалуй, и все, что при первом знакомстве мы имеем сказать о г-не Детооре, тем более что нам уже и некогда входить в детали, поскольку г-н Эрнест, дойдя до площади Клиши, вдруг забеспокоился, повернул было назад, но, пройдя несколько шагов, вытащил из кармана записочку и остановил прохожего.

— Будьте любезны, — проговорил он очень ласково и деликатно, — не укажете ли вы мне, где находится гостиница «Зеленый двор»?

Прохожий выпучил глаза от непривычной в этом районе Парижа изысканности обращения, но, смекнув, что имеет дело с иностранцем, молча ткнул пальцем в узкую щель между домами и долго смотрел ему вслед. Удалявшаяся спина г-на Детоора тем временем окрасилась сперва в красный цвет от прыгающей на углу дома рекламы пивной, а потом в зеленый — потому что в конце узкого, как тараканья щель, прохода и в самом деле оказался вход в небольшой отель, над которым зеленым неоновым горела надпись «La cour verte» («Зеленый двор»). Приезжий поморщился от застоявшихся запахов, ударивших из глубины тупичка, и с достоинством отворил дверь с привешенной изнутри табличкой «Мест нет».

Где-то над ухом тускло звякнул колокольчик, но долго никто не появлялся, так что г-н Детоор имел полную возможность разглядеть и крошечный пропыленный вестибюль, и обшарпанные кресла и убедиться, что и на этот раз дочь Анна осталась верна своим странностям и привычкам. То была дешевая, старая, с потемневшими стенами и скрипучими поло-

вицами гостиница — именно такая, в которых имела обыкновение селиться Анна.

Задумываясь над причудами Анны, г-н Детоор мог их объяснить лишь наследственностью, влиянием генетического, так сказать, кода той самой особы с соблазнительными линиями, которой он так неосмотрительно увлекся в Париже. Это было обидно, но подделать он ничего не мог — уговор («конвансьон», как выражался финансовый инспектор), зная характер дочери, он нарушить не мог, выговорив себе лишь право, «право отца», делать дочери время от времени подарки. Уговор этот предполагал, что Анна живет, как хочет, на свои собственные средства. Средства эти, скажем сразу для ясности, были невелики и состояли единственно из зарплаты, которую Анна получала в монастырской клинике, где работала медсестрой.

Что касается других сторон взаимоотношений отца и дочери, то они были вполне благополучными. Анна была нежна, заботлива и — что более всего ценил отец — деликатна. Деликатность эта проявлялась в том, что при всей странности своих взглядов на жизнь и отношения людей Анна никогда своими взглядами не бравировала и со знакомыми и гостями г-на Детоора держалась ровно, с достоинством и без всякого пренебрежения. . .

Финансовый инспектор уже рассмотрел и высокие напольные часы с упавшими на цифру 6 стрелками, и почерневшую проводку под потолком и уже разглядывал засиженную мухами репродукцию «Бал в Фоли-Бержер», когда его окликнули.

— Вам чего? — осведомился недовольный голос, и г-н Детоор, обернувшись, увидел толстую даму в стеганом халате, надетом, как не без смущения успел заметить инспектор, прямо на голое тело.

— Мест нет, написано же на двери, — добавила дама, желая предупредить ненужный разговор, но, очевидно, что-то в облике посетителя показалось ей странным.

Она пристально посмотрела на г-на Детоора, и видно было, что от ее любопытного внимания не ускользнули ни дорогие ботинки, ни серое, явно из чистой шерсти пальто.

— Месяе что-то хочет спросить? — совсем другим, вкрадчивым голосом спросила она.

Г-н Детоор улыбнулся, стеснительно кашлянул (он и в самом деле не знал, как следует разговаривать с дамами в такого рода гостиницах, и все боялся сделать какую-нибудь неловкость) и спросил наконец:

— Не здесь ли, простите, остановилась мадемуазель Детоор?

— Ах, Детоор... Рыженькая? — оживилась дама, с очень понимающей улыбкой поглядывая на г-на инспектора.

Тот покраснел и поспешил добавить, что Анна Детоор его дочь.

— Вот как? — то ли с сомнением, то ли с сожалением проговорила дама и, потеряв к посетителю всякий интерес, добавила: — Второй этаж налево, номер девять.

«Вот уж сейчас удивится», — думал г-н Детоор, слушая, как под ним взвизгивают половицы. . .

Дело в том, что г-н финансовый инспектор рассчитывал приехать в Париж лишь через несколько дней: срочные дела понудили его задержаться в Амстердаме, и Анна выехала одна с угловором, что никуда из Парижа двигаться не будет. Но управился он быстрее, чем предполагал, — отсюда и маленький сюрприз для Анны.

Г-н Детоор нащупал в кармане коробочку с подарком, улыбнулся, предвкушая привычную пантомиму: нахмуренные брови, притворно недовольный взгляд, а потом поцелуй и столь дорогое для него детское восхищение подарком. На Пасху, так уж повелось издавна, именно почему-то на Пасху Анна не отказывалась от подарка и даже, как чувствовал г-н Детоор, ждала его.

Г-н Детоор поскребся в дверь и прислушался. Никто не отзывался. «Может быть, Анна заснула, — не без досады подумал он. — Да и дома ли она? Как же я не спросил внизу, — с беспокойством думал он. — В самом деле... Сегодня она меня не ждет и очень просто могла уйти... ну хотя бы в театр...»

Г-н Детоор потрогал ручку двери — она оказалась не запертой — и услышал, как из замка выпал и звякнул об пол ключ. И этот звук почему-то напугал его. Пронеслось мгновенным холодком в голове, что Анна всегда, с самого детства, спит очень чутко. Вспомнилось, как она всполошилась, когда к ним в квартиру однажды влетела летучая мышь. . .

— Анна! — громко позвал он, отворяя настежь дверь. — Анна!

Но Анна не отвечала. Глазам г-на финансового инспектора предстала маленькая комнатка дешевого отеля: диван со скомканной, свисающей до пола простыней, крашенная тумбочка — из тех, что были в ходу лет, наверное, тридцать-сорок назад, в довоенные еще времена, светильник с отлетевшим в сторону пропыленным абажуром, обтянутым потускневшим репсом, — обнаженная лампочка так неприятно поблескивала из неухоженного полумрака. Все это г-н Детоор с трудом различил в мигаю-

щем свете рекламы бильярдного клуба на противоположной стороне проулка. Этот красноватый, прыгающий свет придавал открывшейся глазам финансового инспектора картине какой-то жутковато-неправдоподобный, театральный вид.

— Анна, — позвал он тихо, словно бы уже и не надеясь услышать ответ. — Анна!

Но тихий его зов, обшарив зияющие полумраком углы, заглох, задохнулся, точно его поглотила притаившаяся под шкафом вечерняя сырость.

Чувствуя, как у него вздрагивает рука, г-н Детоор нащупал справа от двери выключатель. Щелчок получился сухой, настоженный — точно одиночный выстрел, и вслед за ним под потолком желтовато вспыхнул затененный пузатым абажурчиком, аляповато расписанным под мрамор, светильник, выставляя на вид разворошенную неуютность номера. Потолок, как это и водится в дешевых гостиницах, был обтянут теми же обоями, что и стены, и это делало комнату похожей на маленькую расписную коробочку, в которых в кондитерских продают конфеты.

Если бы г-н финансовый инспектор МОНГа был более наблюдательным человеком, он, наверное, обнаружил немало любопытного в этом разоре: он мог бы спросить, почему по полу разбросаны листы бумаги, или зачем среди комнаты стоят расшитые крестиком домашние туфли Анны, или, например еще, зачем возле самого порога валяется свернутый на манер медицинской маски кусок бинта. Но во всем этом разоре внимание г-на Детоора привлекла лишь одна безделушка, которую другой, может быть, не сразу бы и приметил: возле самого дивана валялась небольшая и едва различимая на фоне бурого, истертого до основы паласа заколка для волос. Г-н инспектор очень хорошо помнил эту безделушку — дорогую, заметим сразу, безделушку, — ибо года два назад сам подарил ее Анне. Сделанная из старой, потемневшей от времени слоновой кости, она была украшена тремя неограниченными рубинами с алмазной россыпью. Вещичка была приобретена в одном из антикварных магазинов Амстердама, стоила приличных денег, и г-ну Детоору пришлось немало поусердствовать в уговорах и даже прибегнуть к маленькой хитрости, чтобы убедить Анну принять подарок. Но зато потом (как радовалось отцовское сердце!) Анна почти не расставалась с заколкой. Она и в самом деле была ей к лицу, а более того — к ее тяжелым, медно-рыжеватого блеска, волосам.

И вот теперь г-н Детоор сразу углядел ее, и сердце его больно сжалось. Он не мог допустить, чтобы Анна в самой даже большой

поспешности бросила бы так небрежно этот подарок, подарок, к которому со временем так привыкла, который, кажется, даже полюбила. Г-н инспектор наклонился, поднял заколку. Несколько мгновений он смотрел на то, как в глубине камешков вспыхивает и гаснет красноватый свет — отражение прыгающей рекламы бильярдного клуба. Так, сжимая заколку в руке, г-н Детоор двинулся к двери и, тяжело ступая, стал спускаться вниз по скрипучей деревянной лестнице. . .

* * *

Полугодом ранее описываемых нами событий парижский адвокат Мишель Кордойя, известный, впрочем, более как знаток и коллекционер живописи, к удивлению многочисленных своих знакомых и друзей, исчез из Парижа.

Стояла ранняя осень. Бульвары просветлели. В садах сгребали в вороха первые опавшие листья. По вечерам на террасах кафе загоревшие за лето художники спорили о достоинствах Кандинского: на Европу свалилась мода на абстрактное, и имя русского авангардиста было у всех на устах.

В начале октября ожидалась его выставка из частных собраний. Ходили слухи, что несколько листов гравюр будут предложены для продажи в отеле «Дрюйон». Отъезд в такое время из Парижа знатока абстрактной живописи, каким все полагали г-на Кордойя, был трудно объясним. Говорили о неожиданной болезни адвоката, об увлечении молодой актрисой из «Шатле» и даже о разорении. Словом, слухи были самого противоречивого свойства. И лишь несколько человек из самых близких друзей — г-н Шарпантье, торговец картинами, и г-н Милье, критик газеты «Франс-суар», — были посвящены в причины исчезновения адвоката.

Под большим секретом Кордойя сообщил им, что в Амстердаме обнаружено небольшое полотно Ван Гога и что он попытается, пока слухи не просочились в прессу, приобрести его с помощью своих голландских друзей. (В том, что у г-на Кордойя были в Голландии друзья, сомневаться не приходилось: адвокат сравнительно недавно обосновался в Париже, а до этого служил юридическим советником нефтяной корпорации МОНГа в Амстердаме.)

Впрочем, о целях своей поездки в Голландию даже своих ближайших друзей г-н Кордойя проинформировал (как бы это сказать помягче) не совсем, что ли, верно. . .

Нет-нет, картина в самом деле была найдена. Здесь он не лгал. Но найдена она была в запасниках Амстердамского государственного музея. Продавать ее никто не собирался, а следовательно, и надежды купить «дивного Ван Гога» (как говорил друзьям адвокат) не было ни малейшего шанса.

Цель поездки Мишеля Кордойя в Амстердам была иной и ничего общего ни с Ван Гогом, ни с живописью вообще не имела.

Дело касалось нефти. . .

* * *

— Господа, в этом зале сказано достаточно откровенных и справедливых слов. Ситуация вам ясна, и повторяться не имеет смысла. Позвольте вкратце ознакомить вас с выводами и предложениями. . .

Говоривший, средних лет мужчина с подчеркнуто замедленными движениями рук, обвел глазами небольшое собрание и, остановившись взглядом на сидевшем в первом ряду Мишеле Кордойя, едва заметно кивнул.

— Среди нас есть люди (при этих словах он слегка улыбнулся), которые возражали против прошлогоднего понижения цен на нефть. К сожалению, тогда они оказались в меньшинстве. Тем более ценными их предложения представлялись ныне.

Мишелю Кордойя казалось, что директору доставляет тайное удовольствие это воспоминание о роковой ошибке, допущенной компанией в 1959 году. Адвокат не ошибался. Г-ну Хоорсту действительно было приятно, что он был среди тех немногих, кто предупреждал о возможных последствиях снижения закупочных цен. Предупреждал и оказался прав. Два месяца спустя арабы собрали первый нефтяной конгресс, и с тех пор газеты все настойчивее пишут о возможном создании организации экспортеров нефти. . .

Появившаяся на мгновение улыбка увяла на лице директора.

— Вы понимаете, что значил бы для нас союз экспортеров нефти, — медленно, точно взвешивая каждое слово, проговорил он. — Это начало медленного конца. Боюсь, что прежние методы нефтяной политики станут невозможны. Уже сейчас необходимо действовать крайне осторожно. Недовольство нефтяными корпорациями, и в частности действиями МОНГа, очень велико. Надо дать какую-то отдушину, сбавить давление. . . Здесь раздавались голоса в пользу диалога между покупателями и продавцами. Я думаю, это правильно. Почему бы

нам самим не проявить инициативу и не созвать широкий нефтяной конгресс. Разумеется, тщательно подготовленный. Деньги мы дадим. Надеюсь, вы меня понимаете. . . Вопросы есть?

— Если позволите. . .

Взоры присутствующих обратились на вставшего из первого ряда человека с прямыми, тщательно расчесанными на пробор русыми волосами.

— Говорите, Мишель, — улыбнулся директор, улыбкой и этим фамильярным обращением давая понять, что официальная часть заседания кончена и что теперь можно свободно поговорить о частностях и даже пошутить.

Вставшим был г-н Кордойя, человек, на отсутствие которого так сетовали его парижские друзья.

— Если я правильно понял, г-н Хоорст, — с затаенной улыбкой начал адвокат, — конгресс, о котором вы говорите, предполагает быть международным. Не так ли?

Кордойя обвел взглядом собрание и с удовольствием отметил, что зал сразу же затих. В нефтяных кругах у него была репутация независимых взглядов, нелицеприятного человека, и все ждали, что он и теперь скажет что-нибудь этакое. . .

— Вы верно подметили, г-н Кордойя, — настороженно, но все еще продолжая улыбаться, ответил директор. — Вас что-нибудь смущает в моей формулировке?

— Вы забыли, г-н директор, сказать, как нам следует поступить с. . . (Кордойя сделал театральную паузу) . . . с русскими. . . Они ведь тоже добывают и, кажется, хотят продавать нефть.

По залу пронесся возбужденный шепот.

Директор постучал карандашом по графину.

— Тише, господа, тише. . . Вопрос, затронутый г-ном Кордойя, вполне уместен. Хотя, откровенно говоря, лично я не предполагал и не предполагаю участия в конгрессе русских. До сих пор мы великолепно обходились без них. . .

Несколько человек удовлетворенно хмыкнули.

— Вас устраивает мой ответ, Мишель? — снова обретая добродушный вид, спросил директор.

— Не совсем. . .

И хотя Кордойя проговорил едва слышно, в зале вряд ли нашелся человек, который не услышал его. И тому были свои причины.

Все знали Мишеля Кордойя как человека в высшей мере осторожного. Разумеется, в последнее время, с тех особенно пор, как он официально вышел из числа сотрудников МОНГа и занялся свободной адвокатской практикой, он мог себе кое-что позволить. К тому же поговаривали, что в материальном отношении

Кордойя весьма независимый человек и что независимость эта отчасти проистекает из большой коллекции картин, которая досталась ему — говорили одни — по наследству, другие, впрочем, утверждали, что коллекцию он собрал сам, вкладывая с большим искусством и знанием дела деньги, которые он умел, казалось, делать из воздуха. «Пропитанного нефтью воздуха», — с иронией добавляли те, кто знал адвоката несколько ближе.

Однако вступать в полемику с директором МОНГа, да еще на расширенном заседании, — это было рискованно. Впрочем, присутствующие знали и другое — Мишель Кордойя всегда и повсюду умел вывернуться из любой, казалось, безвыходной ситуации.

— Я, напротив, считал бы, что на нынешний конгресс следовало бы пригласить русских. . .

На этом слове Кордойя, говоривший тихо и неторопливо, словно ощупью пробираясь по незнакомой дороге, на этом слове Кордойя задержал дыхание и невинным взглядом, точно он высказал самую банальную и привычную шутку, посмотрел поверх зала. Зал зашумел, заволновался, точно на него из вдруг распахнувшихся на залив окон неожиданно налетел резкий порыв ветра, и тут же умолк.

— Я не хочу быть голословным, господа, поэтому мне пришлось проделать самую, впрочем, пустячную предварительную работу: перед поездкой на совещание я попросил одного из сотрудников Национальной библиотеки в Париже подобрать мне все последние материалы из мировой прессы, которые так или иначе касаются русской нефти. У меня было намерение захватить их с собой, но представьте себе. . . они не уместились в мой чемодан. . .

Кордойя улыбнулся, как бы приглашая собравшихся разделить с ним пусть и не очень остроумную, но все же уместную шутку. Но улыбка вдруг стерлась с его лица, как-то неожиданно и неприятно оставив после себя резко обозначившиеся морщины, идущие от углов губ к острому, до блеска выбритому подбородку. Он заговорил серьезно, сухо, новым своим тоном как бы давая понять, что все, о чем он говорил перед этим, было лишь шутливым предварением, газетным как бы зачином и что главное — это то, что он скажет теперь или даже, может быть, не теперь, а позднее, в уюте директорского кабинета, в приватной беседе.

— Господа, за время, которое благодаря усердию газетчиков привыкли называть «холодной войной», мы кое-что забыли о России. Нам было так приятно думать, что если мы отгородились от этой страны, то ее как бы и не существует. Позвольте

же вам очень коротко напомнить о некоторых фактах. А факты таковы: до второй мировой войны Россия, обладая весьма скромными, по нынешним понятиям, нефтяными резервами, ухитрялась весьма прилично зарабатывать на торговле нефтью. И заметьте — очень умной торговле. Весьма справедливо расценив, что ему едва ли удастся выйти на западные рынки напрямую, Советский Союз создал целую цепь смешанных торговых фирм. Потребители пользовались советской нефтью, часто даже не отдавая себе отчета, откуда пришла она. Война разрушила красную сеть, и после войны мы сделали все возможное, чтобы она не восстановилась. Нам казалось, что русская нефть надежно заперта в своих границах. Однако мы были бы плохими экономистами и политиками, если бы решили, что такое положение сохранится навсегда. Не мне вам объяснять, что обстановка на Ближнем Востоке чревата затяжными конфликтами. Я не думаю, что арабы захотят примириться с захватом своих святынь в Иерусалиме, а тем более палестинских земель. Я не считаю себя политиком или провидцем, но факты показывают, что Ближний Восток, который журналисты образно называют «нефтяным чревом» планеты, вступает в затяжную полосу дестабилизации... Значит, нефтяные коммуникации могут быть прерваны в любой момент, а это остановка заводов, увольнения, забастовки... Словом, вы понимаете. Стоит ли удивляться, что в нынешней обстановке наши бизнесмены, а вслед за ними и политики так внимательно прислушиваются к тому, что говорят о нефти в Москве? Боюсь, что не сегодня-завтра за разговорами последуют переговоры, а затем и конкретные сделки. Вам, вероятно, известно, господа, что во Франции ожидается приезд из Москвы большой делегации Министерства внешней торговли. Есть некоторые сведения, что в составе делегации будут специалисты в области нефти.

— Что вы предлагаете, г-н Кордойя? — послышалось из зала.

— Я думаю, что было бы разумнее пригласить русских на конгресс.

— Чтобы они вели здесь свою пропаганду? Вы забыли, Кордойя, что конгресс — это не наше с вами совещание. Что на конгрессе будут представители и арабского мира, и Индии, и Латинской Америки. Найдется немало ушей, которым могут понравиться напевы русских сирен о новых условиях торговли.

— Все это так. Но разве лучше будет, если приглашения русских потребуют другие? У меня есть сведения, что в состав советской делегации включен профессор Голощеков. То, что его попросили войти в торговую делегацию, говорит о многом.

— Ну что ж, имя Голощекова весьма известно. Вы уверены, что он собирается в Париж?

— Сведения самые точные: русские уже запросили на него визы.

— Я понимаю, что профессор Голощеков большой авторитет среди специалистов по нефти. Но зачем его включать в чисто торговую делегацию? Торговля — дело тонкое, требующее своих хитростей и навыков.

— Разумеется, г-н Хоорст. Но в данном случае, думается, дело не просто в опыте и навыках. У Голощекова имеются личные связи с многими крупными представителями нефтяного бизнеса. И я не могу здесь не вспомнить о г-не Анжелли...

— Вы имеете в виду эти слухи?

— Совершенно верно, г-н директор. Если слухи о создании итальянской государственной корпорации по торговле нефтью подтвердятся, то логично предположить, что русские весьма заинтересованы в установлении прямых и неформальных связей с Анжелли. Анжелли крупная фигура, и я совершенно не исключаю, что именно он встанет во главе новой фирмы. Так что дело, как видите, не в том, выступит или не выступит советский представитель на конгрессе. Вопрос много серьезнее. Настолько серьезнее, что я предложил бы г-ну директору обратить на приезд Голощекова особое внимание. Г-н директор меня понимает?

— Вы имеете в виду службу Глюка? Но что же он может сделать?

На лице г-на Хоорста появилась такая невинная, даже растерянная улыбка, точно он только теперь и совершенно случайно вспомнил о существовании Службы оперативной информации МОНГа, которую вот уже много лет возглавляет Альфред Глюк.

— Вы полагаете, что Глюк может быть полезен?

Казалось, директор МОНГа был в замешательстве. Некоторое время он все с той же застывшей рассеянной улыбкой смотрел на Мишеля Кордойя, потом его взгляд устремился поверх голов сидящих за овальным столом ближайших советников в сторону окна, за которым на фоне вечернего, угасшего уже амстердамского неба вспыхивал и гас, вспыхивал и гас неоновый контур гигантского морского конька, извергающего из оскаленной пасти двязычное пламя — символ всеильного МОНГа.

Пожалуй, трудно было бы найти такую страну мира, на дорогах которой не было заправочных колонок с морским коньком на флагштоках; не было ни одного крупного порта

мира, где под разгрузкой или погрузкой не стояли бы танкеры, клейменные золотистым морским коньком; и не было в мире такой преграды, которая могла бы — так любил утверждать г-н Хоорст — помешать морскому коньку расширять свои владения. Но, может быть, он, директор МОНГа, перед которым радушно открываются двери даже президентских дворцов, может быть, он что-то перестал понимать? Русские всегда казались ему где-то далеко, за заснеженными степями, исхлестанными безжалостной метелью, и г-ну Хоорсту даже нравилось в интимной беседе с каким-нибудь послом или финансистом высказать сочувствие этой замерзшей, занесенной снегом стране, так ловко запертой Западом в ее медвежьем углу. Это всегда вызывало удивление, чуть ли не испуг, но потом неизменную улыбку, когда он, г-н Хоорст, едва приметной усмешкой, хитрым прищуром давал понять, что это всего лишь милая шутка.

И то, что сегодня на узком совещании самых приближенных и ответственных сотрудников корпорации речь зашла о русских, удивило г-на Хоорста. Неужели он так увлекся этой выдуманной для самого себя сказкой «о спящей в снегах России», что в конечном счете сам же и поверил в нее.

Хоорст снова перевел взгляд на Кордойя: дожидаясь, что ответит ему г-н директор, тот сидел уверенный, спокойный. «Слишком спокойный», — с некоторой долей раздражения подумал директор.

— Так вы полагаете, Глюк может быть полезен? — переспросил он. — Что же, я распоряжусь. Благодарю вас за внимание, господа. Мы на сегодня кончили.

* * *

Василий Данилович Голощеков уже, наверное, минут пятнадцать сидел на открытой веранде кафе на перекрестке бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель и радовался солнцу. Неделию назад дома, в Москве, всю царствовала зима, все было завалено снегом, и когда он ехал на срочный вызов в институт, то мимо неслись пышные белые сугробы: снег не успевали убирать, и он придавал Москве какой-то отвычный, давно забытый вид. . .

Директор института, академик Горцев, стоял у окна и пытался открыть форточку: только что кончилось совещание, и в кабинете было накурено. Наконец форточка поддалась, и в ком-

нату ворвались зимняя свежесть. Дым пластами пополз к окну.

— Вот так-то... Замышляем проект космической разведки нефти, а тут хоть на подоконник лезь, чтобы окно открыть. Хо-хо-хо... — басовито подшучивал над собой директор. — Да уж кури, — махнул он Голощекову рукой. — Снегу-то, снегу сколько, — все еще не начиная делового разговора, вздыхал академик, подводя Голощекова к окну и как бы приглашая его вместе заглянуть на улицу.

Уже стемнело. Внизу, на площади, было много автобусов, людей. Из-под машин летели хлопья серого, изжеванного снега. Голощеков и директор несколько минут молча постояли у окна, и Василий Данилович, вспоминая, каким Виктор Викторович Горцев был, когда они вместе учились, подумал, что высшие должности не пошли ему на пользу. Под глазами появились синеватые мешки, и весь он был тяжелый, обрюзгший, с нездоровой бледностью толстых щек и шеи.

— Ты опять болел? Не рано ли? — спросил Горцев. Но ответить Голощекову не дал, а ловко, что как-то не вязалось с его тучностью, подхватил профессора под руку и пошел шагать вместе с ним по кабинету.

— У меня к тебе небольшой разговор... В связи с твоей поездкой в Париж.

— Что-нибудь изменилось? Французы пошли на попятную? — обеспокоенно спросил Голощеков.

— Нет, Василий, нет. С французами все в порядке. Интерес к нашей нефти у них серьезный и, надеюсь, долговременный. Да иначе и быть не может. Экономика диктует свои законы.

Переговоры состоятся, как договорено. Речь о другом. Мне только что звонили из министерства: нас приглашают на конгресс по нефти и газу...

— Вот как? Значит, все-таки кое-что сообразили. Много же у них ушло на это времени. Когда же начинается конгресс?

— Через неделю.

— Через неделю? — Голощеков даже присвистнул от разочарования. — Но это же пустой ход. Кого мы через неделю успеем подготовить? Да и оформление... Французы визу дают за сколько?

— Две недели минимум, — отозвался Горцев.

— Ну, вот видишь. А жалы! Выступить на этом конгрессе было бы очень неплохо. Просто полезно. К сожалению, на Западе о наших нефтяных делах судят по старинке. Для них советская нефть — это прежде всего Баку: тут им старые прибыли освежают память. Я скажу тебе, что даже многие серьезные бизнесмены не знают наших экспортных возможностей. Те же, кто

знает, умело замалчивают. Жаль, жаль, — снова вздохнул Голощеков. — У меня на примете есть один молодой человек... Да я тебе, помнится, о нем уже говорил. Азербайджанец. Светлая голова. Вот бы его в Париже обкатать. А то мы все стариков норовим в атаку. На последнем симпозиуме в Румынии было много молодых. Это, поверь мне, не случайность. Если человек не научился принимать решение в тридцать лет, он и в шестьдесят не научится.

— Ну, это ты слишком. Опыта ничем не заменишь.

— Я вижу, ты это о себе, — угрюмо заметил Голощеков. — Настроился сидеть, пока кресло не протрется?

— Ты это брось... списывать, — шутливо, по уже с проглянувшим неудовольствием прервал Голощекова директор. — Дело не в летах, а в желании работать.

Принесли чай в казенных мельхиоровых подстаканниках и хрустящие хлебцы. Чай пили молча, изредка поглядывая друг на друга и почему-то отводя глаза, если вдруг приходилось встретиться взглядами. Они точно знакомились после долгой разлуки, хотя виделись всего неделю назад. Если бы вдруг им пришло в голову в эти мгновения сравнить мысли друг друга, они бы удивились — как похожи! Думалось о том, как незаметно и быстро прошло время, они постарели, выглядят много старше своих лет и что, в сущности, жизнь, несмотря на то, что оба были при должностях и высоких наградах, не очень задалась: они точно скользнули по поверхности, не успев копнуть в глубину. Сколько Горцев ни перебирал в памяти, это все были годы спешки, бесконечных авралов, вынужденных, кажущихся на первый взгляд выгодных, решений, которые потом самим же приходилось годами исправлять. Надо было остановиться, оглянуться назад. Пусть молодые рискуют, безумствуют, ищут. В самом деле, в чем-то, в сущности, Василий Голощеков прав: он лукавил, когда говорил минуту назад о желании работать. Работала инерция, привычка. По инерции писались какие-то статьи, читались доклады, готовились в вышестоящие инстанции записки — все это вливалось в общий поток, и уже невозможно было различить, где его собственные, Горцева, мысли, а где мысли других. «Утерял себя, свое утерял, — уколола досадливая мысль. — Устал».

Вошла секретарша и что-то шепнула на ухо директору. Тот нервно пожал плечами, отодвинул стакан и встал. В его глазах, еще мгновение назад отрешенных и потому казавшихся добрыми и спокойными, появилось что-то жесткое, неприятное. Он нервно дошел до окна и вернулся обратно. Остановился перед Голощековым.

— Собственно, обвинять мне себя не в чем. Да и тебе не советовал бы заниматься самобичеванием. Далеко зайдем.

— Ты как будто оправдываешься? — грустно улыбнувшись, заметил Голощеков. — Зачем звал?

Когда директор заговорил о деле, это был уже совсем другой, чем минуту назад, человек. Это был тот самый Горцев, которого так хорошо знали и ценили, — быстрый, решительный, всегда знающий что, а главное, как сказать. Он и теперь в двух словах, коротко, и приведя несколько, как ему казалось, решающих аргументов, объяснил Голощекову, почему, собственно, ему, и именно ему, было бы лучше выступить на конференции в Париже: потому что опыт, потому что его знают за границей, потому что ему не надо долго готовиться, «ибо все есть вот здесь» (Горцев при этом выразительно постучал себя пальцем по голове), потому что — а что же делать? — никого другого оформить теперь все равно не успевают.

— Словом, ты все понимаешь и без меня. И нечего тут вести пустые разговоры. Заодно кое-кого и из знакомых повидашь, — как бы невзначай обронил он.

— Какие у меня в Париже знакомые?

— А Анжелли?

— Анжелли в Риме.

— Был в Риме, а теперь — в Париже. Он среди участников конгресса.

— Вот как? Для меня это новость, — поднял брови Голощеков.

Александра Анжелли, одну из величин в мире итальянского нефтегазового бизнеса, Голощеков знал хорошо. Антифашист, участник итальянского Сопротивления, он после войны с головой бросился в нефтяные дела и вскоре стал бельмом на глазу международных нефтяных компаний. Его твердым убеждением было то, что нефтяные картели беззастенчиво грабят Италию. Заявлял он об этом при всяком удобном случае и мечтал о создании государственного нефтяного сектора. Дельцы из нефтяных фирм за глаза звали его мангустом. Он и в самом деле был чем-то похож на этого маленького храброго зверька — ершистый, подвижный, с маленькими блестящими глазками. Голощеков с ним познакомился в году, наверное, пятьдесят втором, и они быстро подружились. Анжелли ценил в Голощекове, что тот, как и он, был участником войны, имел ранения (Василий Данилович и до сих пор слегка прихрамывал). Им легче было понимать друг друга, чем ухоженных и натренированных, как доберманы, господ, имеющих за плечами Оксфорды, Кембриджи, Принстоны.

— Мне кажется, что Анжелли не зря решил сам ехать на конгресс. Последнее время ходят слухи, что его могут назначить главой АЖИПа¹.

— Да уж известно: где Анжелли, там пахнет скандалчиком...

— Есть мнение, что конгресс этот созывают неспроста, — продолжал Горцев. — Кстати, мне на днях в министерстве сказали, что из Парижа поступают сведения, будто конгресс финансируется МОНГом... Из Амстердама тоже вести: в прессе усиленно муссируются слухи о возможном сокращении добычи нефти. Думается, что МОНГ начал далеко идущую игру, и конечные цели этой игры нам пока не известны. Подарков от этих господ нам ждать не приходится. Сам понимаешь, после долгого перерыва мы только начинаем вступать на международный нефтяной рынок. Наши возможности немалые. Надо, чтобы об этом знали наши потенциальные партнеры на Западе.

— Восточную нефть взять сложно. Нужна большая техника, — заметил Голощеков.

— Ну, не приbedняйся — не бедные, слава богу, теперь родственники. Многое есть. Многое, хотя и не все. Грузовики нам нужны помощнее, а грузовички такие есть в Италии, трубы большего диаметра неплохо получить, кое-что из электроники — вот о чем думают сейчас в министерстве. Но для всего этого нужна валюта. Ты понял, к чему я клоню? За нашу с тобой нефть нынче хорошо платить стали. Золотом теперь нефть пахнет, как никогда. Да только на тех базарах, где нефтью торгуют, нашу нефть, Василий Данилович, не очень-то ждут. Пока мы с тобой воевали да после войны отстраивались, нефтяные короли о дележе думали. Мне тут недавно любопытные факты сообщили. Из недавней, так сказать, истории. Гитлер уже пол-Европы захватил, война была в полном разгаре, а американский нефтяной трест ЭССО продолжал продавать немцам ценнейшую техническую информацию. Ты знаешь, кто передал фашистской Германии секрет тетраэтилового свинца? Американская компания ЭССО. Не продай они этого секрета, у немцев были бы большие трудности с производством стооктанового авиационного бензина...

Горцев подошел сзади к Голощекову, положил руку на плечо, сказал, успокаиваясь и снова переходя на шутливый тон:

— Так что ты уж не упрямясь, Василий Данилович, — работы хватит и для нас с тобой, стариков. А насчет молодежи согласен. Только вот г-на Анжелли вряд ли кто знает так хорошо, как ты...

¹ AGIP — государственная итальянская нефтяная компания.

Все это вспомнилось Голощекову, когда он, поджидая Сандро Анжелли, смотрел на весеннюю толпу, валившую мимо него по бульвару: студенты в распахнутых на груди рубашках, девчонки, поспешившие с первыми теплыми днями надеть легкие платьица, мамы с колясками, возвращавшиеся из Люксембургского сада, старики в потертых пальто, пережившие зиму в сырых парижских углах и радующиеся теперь, что снова тепло, что люди снова добрее и что жизнь, наверное, дарует им еще одно длинное парижское лето.

Анжелли вынырнул из толпы, словно воробей из кустов, и сразу же, будто они только расстались, затараторил, замахал руками, разговаривая одновременно и с официантом, и с Голощековым и разворачивая при этом газету, которую выхватил из-под мышки. Он был в белом костюме, в ярчайшем нашейном платке. Его маленькое лицо в самом деле было похоже на узкую мордочку мангуста.

— Тебе надо непременно выступить, Базиль. Непременно! Если тебе в Москве этого не подсказали, послушай битого воробья Анжелли. Страшно смотреть, как нефтяные компании крутят шейхами и нефтяными князьками. И вроде бы все правильно, вроде бы они просто мечтают, чтобы правоверные мусульмане купались не в нефти, а в золоте. Я знаю, ты не политик, а ученый, но надо иногда быть и политиком. Тебе этого не говорили в школе? Ха-ха-ха! Непременно выступи на конгрессе. Потолкуй о кризисе, о прибавочной стоимости, о нефтяных монополиях. Вы, русские, это умеете. Я бы и сам сказал: для Италии в нынешнем положении зависимость от нефтяных поставок МОНГа — это долговая яма... Но ведь не могу. Заклюют! Клянусь девой Марией, заклюют. Опять будут говорить: Анжелли продан коммунистам...

Все, о чем говорил сейчас Анжелли, Голощеков уже знал. За неделю в Париже он успел уловить многие нюансы тонкой игры, которую вели здесь, на конгрессе, представители МОНГа.

И, слушая теперь Анжелли вполуха, Голощеков думал о том, как поудобнее подступиться к делу, о котором ему говорил перед отъездом из Москвы Горцев. А говорил Горцев о том, что МОНГ пойдет на все, чтобы воспрепятствовать расширению советской нефтяной торговли, помешать, в частности, заключению намечающегося соглашения с Италией о поставках советской нефти. Достигнуть взаимопонимания с таким человеком, как Анжелли, в этой связи было чрезвычайно важно.

— Я смотрю, Сандро, и тебя МОНГ напугал. В войну не так страшно было, а?

— Дело не в страхе. Дело в том, что МОНГ дышать не дает. Сосет из страны, как насосом, а потом предлагает кредиты на драконовских условиях. Да нет, вам этого не понять, — махнул рукой итальянец.

— Отчего же не понять? — тихо проговорил Голощеков. — Мы тоже торговать учимся, кое-что постигли... Я вот слышал, вы пытались англичанам свои грузовики продать, да, видно, у них для ваших машин дорог не хватало. То ли дело у нас...

Голощеков замолчал и даже слегка отвернулся от Анжелли, будто сказал все это случайно, для поддержания беседы. Но он заметил, как на мгновение застыло подвижное лицо Сандро.

— Ты это только сейчас придумал? — Анжелли отодвинул чашку с кофе, поправил сбившийся шейный платок.

— Ну зачем же? Мы, русские, тугодумы, у нас на холоде мысль медленно течет, — шутливо отозвался Голощеков.

— А... а... — неопределенно протянул Анжелли, и было неясно, понял он шутку профессора или нет. — Гарсон! Гарсон! — вдруг закричал он, казалось, вовсе забыв о профессоре. Заказав рюмку компари, итальянец долго причмокивал, вытягивая губы, блаженно улыбался, будто хотел всему бульвару показать, какой это дивный, чудный, просто божественный напиток — компари...

— Платить-то за грузовички чем будете? — вдруг спросил он, нагнув голову почти к столу и лукаво поглядывая снизу на профессора. — Ваши торговцы, знаю, предпочитают платить товаром за товар...

— Есть и более текучая валюта. Il y a des valeurs plus liquides¹ например, нефть, — проговорил Голощеков, радуясь удачной игре слов, получившейся на французском языке.

— А ты шутник, ей-богу, шутник, меесь Голощеков, — засмеялся Анжелли и яростно затеребил газету, давая понять, что разговор этот, может быть, и интересный, но продолжать его здесь, среди сотен ушей, он не расположен. — Газету читал? — спросил он у профессора.

— А разве что-нибудь интересное?

— Ну, для тебя, понятно, нет. Ведь вам непременно что-нибудь марксистское подавай, — снова пошутил итальянец. — А я пустячки люблю. За пустячками, знаешь, иногда такая бездна

¹ В данном контексте французское слово «liquide» имеет не только значение «жидкая», «текучая», но и «ходовая», «ликвидная», как говорят экономисты, валюты.

жизни встает, что не во всякой умной книге найдешь. Вот, например, эта Анна Детоор... Взгляни-ка, что пишут газеты. «Таинственное исчезновение дочери финансиста из сомнительной гостиницы!» — Анжелли зашуршал расползающимися листками. — Что это? Желание получить с состоятельного отца выкуп за украденную дочь? Попытка шантажа крупного финансиста? Или обыкновенный скандал в благородном семействе, театральная инсценировка самой Анны?

Анжелли закинул ногу на ногу и долго читал газету. Голощеков давно не видел его таким серьезным.

— Как тесен мир, — вздохнул наконец итальянец, бросая газету на стол. — Я ведь неплохо знаю г-на Детоора. Очень талантливый финансист. Я попробовал года три назад сманить его к себе в Италию, но в МОНГе ему платят больше, чем я мог предложить.

— В МОНГе? — удивился Голощеков.

— Да, да... Он главный финансовый инспектор МОНГа. Вы не знали?

— В первый раз слышу...

— Странно, странно... Он очень известен в своих кругах. Как же вы работаете, не зная своих оппонентов? А вот я готов поручиться, что о господине Голощекове в специальной службе МОНГа знают все.

— Ты думаешь? — рассеянно спросил профессор, чувствуя, как при последних словах Сандро у него неприятно потянуло под ложечкой.

Но Анжелли на вопрос профессора не ответил. Его, видимо, сильно занимала эта история с исчезновением Анны Детоор. Он снова взял газету, точно хотел за деталями уголовного репортажа разглядеть что-то существенное.

— Тебе не кажется странным, что г-н Детоор с дочерью оказались в Париже во время конгресса? — спросил Анжелли. — Обычно эти финансовые гномы по конгрессам не ездят. Скорее всего, совпадение, странное стечение обстоятельств...

Голощеков о Детооре и в самом деле не слыхивал. Девчонку, конечно, жалко. Сколько ей? Двадцать? Может, моложе. Не успела ни пожить, ни порадоваться... Что вовлекло ее в эту сомнительную историю, о которой шумят газеты?

— Нет, Базиль, ты как хочешь, а я расстроен, ей-богу, расстроен, — продолжал вздыхать Анжелли.

Голощеков беспокойно заерзал на стуле, кашлянул, сердито поджимая губы, и в этот момент встретился глазами с Анжелли. В них было столько лукавства, столько едва сдерживаемо-

го смеха, что Голощеков выругался про себя: что же ты, черт, со мной забавляешься?

Профессор приподнялся, делая вид, что собирается идти.

— Что ж, Сандро, я, пожалуй, пойду...

— Как! Уже? — удивился итальянец. — Вечно вы, советские, торопитесь. Я и слова не успел сказать, а он уже уходит. А у меня между тем к тебе поручение...

— Вот как? От кого же? — насторожился Голощеков.

— Ты г-на Кордойя знаешь?

Мишеля, Майкла Кордойя, профессор знал: он был секретарем конгресса, держал в своих руках все нити и, обладая солидными связями во французской столице, без труда решал весьма сложные подчас организационные вопросы. Кордойя любил подчеркивать, что он не ученый и не бизнесмен, что в делах нефти он полнейший профан, что он просто администратор, но после нескольких бесед с г-ном Кордойя у Голощекова сложилось впечатление, что все обстоит наоборот и что если Кордойя и не является главной пружиной этого конгресса, то одним из ведущих колес наверняка.

Во время перерывов между заседаниями он не раз ходил к Голощекову, интересуясь, удобно ли он устроен в гостинице, не нужен ли ему переводчик или какая другая помощь, спрашивал даже, достаточные ли у советских командировочные — словом, оказывал профессору знаки внимания, объясняя это тем, что всякий разговор с русскими считает полезным для себя, так как в былые времена и сам недурно говорил по-русски, но теперь, за суетой жизни, стал забывать.

Майкл Кордойя и в самом деле очень прилично говорил по-русски, но с каким-то странным акцентом, природы которого Голощеков никак не мог определить. Как-то раз Голощеков не удержался и спросил, откуда тот так хорошо знает русский, но Кордойя ответил неопределенно: увлечение-де молодости, а в молодости все кажется просто, даже русский с его невыносимой грамматикой...

На вопрос Анжелли Голощеков выжидательно кивнул.

— Так вот, дорогой профессор, Майкл Кордойя настолько любезен, что приглашает тебя провести субботу и воскресенье у него в имении и даже обещает устроить охоту. Я тоже там буду...

— Что ж, идея недурна, — задумчиво проговорил Голощеков, радуясь, что сам случай дает ему возможность провести два дня в компании Анжелли и основательно, без спешки обговорить дела. — Кто же там будет еще?

— Этого не знаю. Очень небольшой круг. Можешь гордиться: это почти приглашение в закрытый клуб...

— Я бы предпочел открытый, — усмехнулся Голощеков.

ГЛАВА 2

Габриэль Тиссье не любил воскресений. Не любил он и суббот: они вынуждали его оставаться дома. Именно этого-то он и не терпел. К тому были, понятно, свои причины.

Улочка, на которой жил Тиссье, столь узка и подслеповата, что о наступлении утра он узнавал не по веселым солнечным бликам, которые так приятно рассматривать в музее «Jeu de romme»¹, а по шуму воды в стояке: это значило, что проснулся сосед-почтальон — он же чемпион по пиву в квартале.

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что после ухода почтальона жизнь в доме замирала на добрые два часа и эти-то два часа были самыми мучительными из всего дня. Когда была Мартина, их было не так уж и трудно скоротать даже и зимой, нежась возле ее разогретого бедра. Но с год назад Мартина, которая, по правде сказать, никогда и не была его женой, без всякой видимой причины собралась и ушла, заявив в свое оправдание, что «с ним скучно». Скучно же ей было оттого, что зарплата младшего следователя, каковым числился Тиссье, ей никак не хватало, чтобы построить жизнь в соответствии с ее убеждениями. Убеждением же ее было то, что жить надобно красиво, легко и весело. Но именно это у них никак не получалось. Но худо было с Мартиной или нет, факт остается фактом: после ее ухода квартира стала совершенно ненавистна Тиссье. По сути дела, она ему теперь была и не нужна, и однажды зимой, перебравшись вместе с электрическим рефлектором в одну, самую маленькую, комнатку, в другие он уже не заходил, и они стояли серые, захламленные.

— Ты бы хоть жильцов пустил, — советовал ему почтальон.

Тиссье соглашался, кивал, но жильцов почему-то не звал.

Не имея привычки к утренним полезным для ума занятиям, как-то: чтение, обдумывание явлений бытия, подсчет расходов-доходов, Тиссье не нашел из создавшегося положения иного выхода, как, проснувшись и не успев продрать глаз, идти на работу.

¹ Музей импрессионизма в Париже.

Начальство вначале удивлялось редкой склонности младшего следователя, а потом со все возрастающим благоволением стало присматриваться к подающему пример прилежности молодому сотруднику. Вскоре ему уже давали в самостоятельную работу кое-какие простенькие дела, а в коридоре старший комиссар останавливал на нем взгляд, полный нежности и участия. И как-то сама собой вызрела идея, что пора таких преданных, «лояльных», как выразился старший комиссар, сотрудников выдвигать и давать им дорогу. И все уже ждали повышения, ждал и сам Габриэль. Но повышения все как-то не выходило, и наконец один старый и опытный сотрудник, лет тридцать глотавший пыль в длинных коридорах Дворца правосудия, выпив как-то с Габриэлем по стаканчику вина, сказал тому: прозвучать тебе надо, парень, тогда сразу все в масть пойдет.

И Габриэль ждал такого дела, чтоб на нем прозвучать. Но хорошие дела не шли или проходили мимо. Вот почему он и теперь, когда комиссар подсунул ему эту Анну Детоор, вовсе не обрадовался. Понятно, это не карманная кража, не мелкое сутенерство. Дело запутанное, возможно, даже с кровью... Но мало ли в парижских отелях таких вот молодых птах ломают крылья. Обычное дело. Быт... На этом не прозвучишь.

По утрам еще было прохладно, и, проходя мимо моста Сен-Мишель, Тиссье видел, как на покрытых росой ступеньках сидели клошары, кутаясь в потертые пледы. Чтобы согреться, они пили красное вино из тусклых литровых бутылок. Габриэля слегка познабливало — от утреннего ли холода, от того ли еще живого и острого воспоминания, которое осело у него в душе после осмотра гостиничного номера, из которого, судя по некоторым намекам прессы, была выкрадена Анна Детоор. Найденная в номере повязка, пропитанная каким-то составом, впрочем, почти не оставляла в том сомнений. Из лаборатории, однако, пока нет подтверждения.

Тиссье попробовал вообразить себе Анну по тем фотографиям, что были опубликованы во «Франс-суар». Журналист писал, что у нее необыкновенной красоты волосы. Откуда они все это узнают? Он попытался представить ее на дороге в теплый летний день, как она идет и ветер вздымает ее тяжелые пряди. Интересно, нравилась ли она мужчинам? Наверное, нет... Широкий нос, крупные мясистые губы, рыжие ресницы... Но вместо Анны в его памяти возник г-н Детоор, таким, каким он предстал перед ним при первом разговоре в номере «Зеленого двора».

Детоор сидел без всякого движения, не вздрагивал и не поднимал головы, даже когда фотограф сверкал в двух шагах

вспышкой, и следовательно не хотелось нарушать его глухой, молчаливой скорби. Но дело было делом... Тиссье вытащил сигарету. В этом была маленькая уловка: Тиссье чуть косил на один глаз и, допрашивая свидетелей, обычно курил — за дымом его недостаток был не так заметен.

— Господин Детоор, — тихо позвал тогда Тиссье и протянул сигареты.

Но тот медленно покачал головой и провел рукой по щеке, словно проверяя, хорошо ли побрит...

— Да, да... Я к вашим услугам, — и он снова, казалось, ушел далеко-далеко, так что, когда Тиссье спросил его, по какому делу он с дочерью приехал в Париж из Амстердама, финансовый инспектор вздрогнул и сказал рассеянно:

— На Пасху.

При дальнейшем разговоре, впрочем, выяснилось, что г-н Детоор умел владеть эмоциями, на все последующие вопросы следователя отвечал ясно, коротко и без всяких следов рассеянности. Глаза его были сухи, холодны, и если что выдавало его волнение, так это легкое подрагивание верхней губы, которая вдруг начинала подниматься к носу, обнажая крупные зубы. Но как ни ясно объяснялся г-н Детоор, ничего существенного к тому, что уже знал следователь, он добавить не мог. Не было ли у Анны знакомых в Париже, не была ли она больна, не знал ли он о существовании у нее врагов? — на большинство из этих вопросов Детоор отвечал однозначно: нет, не знаю, не думаю...

Один вопрос лишь вывел его из равновесия: когда следователь спросил, считает ли г-н Детоор, что Анна все это могла подстроить. При этом вопросе по лицу финансового инспектора пробежала судорога, так что он даже на мгновение прикрыл лицо рукой, но потом ответил спокойно: нет, он так не считает.

Потом пошла рутина, которая, однако, дала больше, чем разговор с Детоором.

Уборщица по этажу сказала, например, что слышала в номере Анны спор не спор, а какой-то разговор, как она выразилась, «на нотах». Один из голосов был мужским. «Все время покашливал, — вспомнила уборщица, но сказать, о чем был спор, затруднилась: — И говорили как-то не по-нашему...» Она же видела человека: он выскочил из номера, грохнув дверь, «тощий, с длинными ногами». Но было это два дня назад, и больше тот человек в гостинице не появлялся. Лишнее осложнение: теперь простую версию об инсценировке шеф так просто не примет. Придется докапываться до «тощего, с длинными ногами» — это было досадно, так как с самого начала стало ясно, что Анна Детоор — иностранка, приехавшая из Ам-

стердама, а в префектуре дел, связанных с иностранцами, не любили и старались спихнуть побыстрее с рук.

На этого «тощего» у Тиссье ушел весь вчерашний день, и если бы не память хозяйки гостиницы, которая вспомнила, что Анна называла его Петером, если бы не это, то одним днем никак не обойтись бы, так как в министерстве внутренних дел голландцев, проживающих в Париже, обнаружилось не так уж мало, а Петеров, на удачу, было всего десятка два, и среди них недавно прибывших — всего четверо. И вот одного из них, Петера Штейна, приехавшего из Амстердама, совершенно определенно и без всяких оговорок признали по фотографии и уборщица, и хозяйка отеля.

Сложность была в другом: в отеле, где он, по сведениям, представленным при регистрации, намеревался поселиться, он не жил, и никто его там не помнил, и как его теперь разыскивать в парижском муравейнике, никто не знал. Каких-либо полезных сведений для следствия о Петере Штейне в досье министерства следователю обнаружить не удалось. Значилось лишь, что по профессии он художник, возраст двадцать шесть лет, причина приезда в Париж была указана так: «С целью подготовки выставки». Когда же Тиссье спросил у клерка, который искал для него документы, что бы это могло значить, тот без всяких обиняков сказал: «Плуньте вы на эту запись, чистая формальность. Он мог бы написать «для учебы» или «для лечения», и это бы ничего не изменило. А вообще-то странно, — добавил он, — что об этом Штейне так мало данных. Обычно все-таки кое-что есть. Тут даже родители не указаны. Впрочем, это может быть оттого, что за него поручился кто-то, — и клерк красноречиво ткнул пальцем в потолок, — в таких случаях все становится проще и иногда вообще обходится без бумажной возни. Вы сходите на Кэ д'Орсэ¹, запросы и ходатайства на въезд и жительство иностранцев к нам поступают оттуда. Возможно, кто-нибудь действительно написал письмо с ходатайством, хотя бывает и по телефонному звонку — тогда я вам не завидую».

Но хоть в одном повезло: без особых хлопот удалось выяснить, что за «тощего» поручился известный парижский адвокат. Но дальше пошел сплошной туман: сколько Тиссье ни звонил тому на квартиру, механический монотонный голос, записанный на пленку, всякий раз отвечал, что господин адвокат отсутствует и что если месье желает («месье» — это, значит, он, Тиссье), то он может изложить суть своего дела по телефону, что будет записано на пленку, и мэтр, как только сможет, сам позво-

¹ Улица, где находится министерство иностранных дел.

нит ему. Такие штучки были Габриэлю знакомы, и он из предусмотрительности даже не стал называть своего имени, а просто вечером подъехал по адресу адвоката. Но и тут все кончилось пшиком: на его настойчивый звонок к решетке, которой был огорожен особняк, вышел молодой человек и очень вежливо объяснил, что господин Кордойя выехал на несколько дней из города, но что адреса, где его можно найти, он дать не может по очень простой причине, о которой «вы, сотрудник полиции, конечно, не можете не знать. Вы ведь понимаете, — с улыбкой добавил он, — что у адвоката могут быть недоброжелатели и даже враги!..»

Возразить против этого было трудно, ибо не далее как три дня назад во всех газетах была расписана эта неприятнейшая и ненужнейшая для престижа полиции история в Лионе, когда несколько человек из лионского уголовного мира среди бела дня хладнокровно и деловито застрелили помощника прокурора у него же на квартире.

У Тиссье были основательные подозрения, что господин адвокат дома, но по какой-то неизвестной причине избегает встречи. Конечно, если пойти к старшему комиссару, тот, наверное, найдет способ поговорить с адвокатом, но Габриэль уже знал не столько по собственному опыту, сколько по рассказам других, более опытных следователей, что с этой хитроумной братией лучше не связываться, потому что если и не сразу, то когда-нибудь потом они непременно в отместку подложат какую-нибудь гадость, да так ловко, что долго будешь потом утираться.

Из-за этого-то он и решил еще раз наведаться в гостиницу к господину Детоору, хотя многого от встречи не ждал. Но чем черт не шутит, соображал он. Как-никак этот Петер Штейн тоже из Амстердама, и не исключено, что старина что-то знает о нем...

С такими вот не очень веселыми соображениями Габриэль Тиссье брел теперь по улочкам центра, дожидаясь, когда стрелка придвинется хотя бы к десяти и будет удобно беспокоить человека.

Засунув руки в карманы помятого плаща и выставив по неизвестно когда прицепившейся привычке одно плечо вперед, словно он хотел загородиться от удара, Габриэль прошел мимо цветочного рынка, где только еще открывали ларьки и женщины, надев резиновые фартуки, освежали из шлангов рассаду, потом перешел к птичьему рынку и долго глядел, как торговцы развешивают под ажурной крышей клетки с галдящими птицами, заматают сор, вытаскивают из сарайчиков мешки с кормом, беспокойно поглядывая на небо: не было бы дождя. Обой-

дя все эти давно знакомые места и даже посудачив со знакомой цветочницей, Габриэль увидел наконец, как резные стрелки на старых часах башни «Дома призрения» показали половину десятого, и тут же легко тронул утренний воздух большой колокол скрытого за домами собора Парижской богородицы. По соседству сонно отозвались еще два-три колокола. Габриэль прибавил шаг и минут через пятнадцать уже был у дверей гостиницы «Лувр», выходящей углом на уютную площадь с двумя фонтанчиками из потемневшей, тронутой зеленью бронзы.

Он кивнул при входе знакомому швейцару и почти сразу же в углу большого холла увидел господина Детоора. Тот сидел за маленьким круглым столиком и пил кофе. Он был так же тщательно и аккуратно одет и выбрит, как в тот раз, когда Габриэль впервые увидел его в гостинице «Зеленый двор». На руке, лежащей на мраморном столике, тускло поблескивал массивный золотой перстень.

— Я беспокоился, не слишком ли рано, — сказал следователь, присаживаясь рядом. — Я не нарушу ваших планов, если отниму у вас несколько минут?

Господин Детоор грустно улыбнулся и точно только теперь заметил следователя.

— Вас не смутит, если мы будем говорить на улице? — вдруг спросил он. — Тогда будьте любезны подождать меня здесь.

Он ушел и вернулся через несколько минут, но уже в легком, из тонкого английского сукна, пальто, в руке у него была шляпа. К удивлению следователя, господин Детоор пошел очень быстро, а по прошлой встрече у Тиссье осталось впечатление о Детооре как о человеке вялом, медлительном. Он несколько раз хотел заговорить о деле и даже придержал господина Детоора за рукав, но тот вел себя как-то странно и задавал неуместные и непонятные вопросы. Спросил, например, дорога ли жизнь в Париже, на что Тиссье мог только недоуменно пожать плечами, но Детоор не стал настаивать, и этот вопрос так и остался неразъясненным. В другой раз, когда они проходили мимо цветочного киоска, он вообще высказал странное соображение о том, что-де ко всякой красоте можно привыкнуть и не замечать ее и вот только цветы трогают человека постоянно. Габриэль даже грешным делом подумал, не свихнулся ли с горя господин Детоор (не прибавило бы это новых хлопот), но когда, не выдержав, довольно бесцеремонно спросил: «Господин Детоор, а вы знаете, куда мы так спешим?» — тот посмотрел на него совершенно ясными глазами и проговорил отчетливо: «В Лувр».

— Как? — удивился следователь. — Вы хотите идти в музей?

В Лувре он повел себя еще более странно. Сам купил два билета, а потом повел следователя в подвальный этаж. Здесь, внизу, среди белых мраморных скульптур было холодно и пусто. Шаги зрителя гулко отскакивали от красноватого мрамора стен, от больших порфировых чаш и тяжелых гранитных ванн, в которых, видимо, любили поплескаться римские императоры. Господин Детоор дошел до самого конца коридора, где одиноко стояла Венера Милосская, почему-то обошел ее кругом и повел следователя дальше. Остановился он только в большом и совершенно пустом зале, где пылились обломки римских колонн, бычьи головы из пожелтевшего мрамора, а по стенам висели выкрошившиеся куски фриз с бегущими и скачущими воинами, с женщинами, прижимающими к себе детей, философами, закутанными в длинные, со множеством складок тоги.

Господин Детоор остановился возле большой напольной мозаики с изображением рыб и птиц и сказал наконец:

— Вы хотели у меня что-то спросить?

Тиссье вытащил из кармана фотографию Петера Штейна и показал Детоору.

— Вам знаком этот человек?

Фамилии этого человека господин Детоор не знал, вернее, не хотел знать, хотя вот уже, наверное, года два он незримо присутствовал в его жизни, наполняя ее необъяснимой, смутной тревогой. Впервые он услышал о нем от Анны.

Кажется, была весна, пропитанная солнцем и влагой амстердамская весна, когда каналы, мосты, булыжные мостовые вдоль узких протоков и даже старые ржавые тумбы у причалов казались голубыми. На площадях продавали гиацинты, и их пьянящий аромат смешивался с запахом разлагающихся водорослей и ракушек, которые рыбаки по весне соскребали с днищ вытащенных на берег суденышек, и все это вместе составляло тот особый и неповторимый запах приморского города, в который пришла весна.

Анна вдруг стала реже бывать дома. В ее походке, выражении лица, в глазах появилось что-то новое. Она изменила прическу, и ее рыжие волосы теперь были рассыпаны по плечам. Она стала молчаливее и подолгу ходила из комнаты в комнату их огромной квартиры, засунув пальцы в волосы, потряхивая головой и чему-то улыбаясь. Потом вдруг принесла несколько совсем свежих этюдов.

— Неплохо, неплохо, — похвалил отец. — Что же, ты решил коллекционировать картины?

— Это подарок.

В ее взгляде было что-то своевольное и чужое, и это озадачило господина Детоора.

— У тебя новый знакомый? — догадался отец. — Художник? Что же ты не пригласишь его к нам?

— Как-нибудь позднее... Не сейчас...

Анна была смущена и вместе с тем обрадована. Она, видимо, колебалась в искушении рассказать отцу все и боялась своей откровенностью как-то ущемить столь дорогую для нее независимость.

— Ну-ну... тебе виднее, — пробурчал господин Детоор, устраиваясь в кресле возле камина и с видимым безразличием развертывая журнал.

— Ты напрасно думаешь, что я боюсь познакомить его с тобой, — встряхивая волосами и каким-то новым, очень женственным жестом отбрасывая их назад рукой, проговорила Анна. — Просто он сейчас не совсем здоров...

Она несколько раз прошла взад-вперед за креслом, наконец не выдержала, подскочила, обняла отца за шею, засмеялась, села перед ним на маленькую деревянную скамеечку, на которой любила сидеть совсем девочкой, когда вот так же у огня отец читал ей сказки Андерсена.

— Он совсем беспомощный, как ребенок... Он так за зиму ослаб, что на выставке — знаешь, в старом порту — прямо на улице ему стало плохо.

— Он что же, талантлив, твой знакомый?

— Ну, конечно, — залилась смехом Анна, — тебе непременно надо сразу же измерить и разнести по статьям и талант. Какой ты. — Господин Детоор давно не видел Анну такой веселой. — Не знаю, талантлив или нет, но он художник, настоящий художник, и ничего, кроме живописи, для него не существует.

— На что же он тогда живет? У него что же, мастерская, заказы, клиентура?

Ни того, ни другого, ни третьего, как постепенно узнал господин Детоор, у нового приятеля Анны не оказалось. И господин Детоор успокоился. «Обыкновенная жалость, замешенная на столь естественной для женщины потребности о ком-то заботиться, кого-то любить», — думал он, вспоминая, что и раньше Анна не раз рассказывала ему о несчастных, всеми покинутых пациентах из клиники, где она работала, и тоже носилась с ними, хлопотала о чем-то и даже, случалось, просила у отца немного денег. «Не для себя», — всякий раз уточняла она.

«Пустое... — думал он. — Весна, художник, голубые блики, цветы... Пройдет... Еще пару весен, и все поймет сама. И тогда... тогда в их доме навсегда поселятся разумный покой, порядок и

достоинство. Этот Самюэль Хигеро, молодой бородатый испанец, который не упускает случая спросить об Анне, мог бы стать неплохим мужем: умен, сдержан, прекрасные перспективы в фирме. А если не он, так кто-то другой. Мало ли у них в компании достойных молодых людей, которые сочли бы за честь стать его зятем. Да и Анна... Свежа, неглупа, красивые волосы. Характер вот только... Так ведь это до первого ребенка...»

А лицо, что ж, лицо этого молодого человека известно господину Детоору: встретил как-то Анну с ним на улице.

— Он что же, имеет отношение к тому, что случилось? — спросил финансовый инспектор следователя.

Он все еще как бы хотел спрятаться за это расплывчатое «случилось», словно что-то можно было еще изменить или поправить. Он не заметил, как следователь пожал плечами, давая понять, что ничего определенного не знает, и в ожидании ответа смотрел, как в луче солнца проскользнувшего в подвальный этаж, плавают несколько пылинок. Но следователь молчал, и тогда господин Детоор, словно бы он только теперь понял, что случилось, повернулся к Тиссье и переспросил:

— Он что же, имеет отношение к исчезновению Анны?

— Я думал, что вам об этом больше известно, — ответил Тиссье. — Ведь этот Петер Штейн жил в Амстердаме. Вы сами только что говорили, что у него и Анны были... — Габриэль на секунду задумался... — были отношения.

— Но он исчез из города незадолго перед Пасхой.

— Чтобы перебраться в Париж... — вставил Тиссье.

— Как?! Они встречались и в Париже? — воскликнул Детоор.

— И неоднократно... Его хорошо запомнили в гостинице «Зеленый двор».

— Он приходил к Анне? — обиженно спросил финансовый инспектор, словно это могло иметь теперь какое-то значение.

— Уборщица показала, что они поссорились за пару дней до исчезновения Анны.

— Значит, это продолжалось и в Париже, — задумчиво проговорил Детоор, словно снова погружаясь в пучину воспоминаний.

— Вы хотели сказать, что Анна и Петер ссорились и в Амстердаме?

— Я никогда не считал это знакомство полезным для Анны, — вдруг быстро заговорил господин Детоор. — Она очень изменилась в последнее время — стала резка, раздражительна. Она всегда была скрытной девушкой и умела сдерживать себя, но в последний месяц я несколько раз заставлял ее в слезах. Я думал, это нервы, возрастное. Я где-то читал, что у девушек

это бывает... в сентиментальном возрасте. Помнится, я даже хотел показать ее хорошему специалисту. Но она мне довольно грубо, чего раньше никогда не случалось, ответила, что я ничего не понимаю в жизни и что этот монстр совершенно ослепил меня.

— Монстр? — не понял следователь.

— Простите, «монстром» она с некоторых пор стала называть нефтяную компанию, где я работаю. Вы знаете, у молодежи весьма радикальные взгляды на жизнь. Впрочем, я никогда не считал, что у Анны это больше, чем шутка. Ни политикой, ни тем более экономикой она никогда не увлекалась... Вас, кажется, интересовало, ссорились ли они в Амстердаме? — переспросил Детоор, словно находя утерянную нить разговора. — Понятно, Анна мне ничего не говорила, но мне показалось, что между ними что-то произошло... Но вы ведь не думаете, что это он? — восторженно спросил Детоор.

Но следователь ничего на это не ответил.

— Судя по тому немногому, что Анна рассказывала мне о нем, это был слабый, издерганный неудачами человек. Я знаю, что он очень привязался к дочери. Она сама мне не раз говорила, что он называл ее «мой маленький ангел-спаситель...» И мне, право...

— Скажите, господин Детоор, — следователь очень предупредительно, с извиняющейся улыбкой дотронулся до его рукава, — скажите, а в каких отношениях были Петер Штейн и господин Кордойя?

— Кордойя? Вы хотите сказать Мишель Кордойя? — очень удивился Детоор.

— Да, да, именно Мишель Кордойя. Вы его знаете? — в свою очередь, изумился следователь.

— Еще бы мне его не знать! Он почти десять лет проработал в МОНГе юридическим советником. Но я не понял вашего вопроса. Какое отношение... разве Кордойя и этот бедный художник знакомы? Это удивительно... Невероятно... Кордойя известный адвокат, чьи услуги оплачиваются по самой высокой международной шкале, и этот несчастный... Вы не представляете, в каких условиях он жил. Когда мне Анна рассказала... Впрочем, это не имеет никакого значения... Но то, что вы говорите, мне кажется очень странным. Вы ведь это спросили не случайно? За этим что-то есть?

— Может быть... Дело в том, что ходатайственное письмо о виде на временное жительство во Франции Петеру Штейну подписал именно Майкл Кордойя. Так вы говорите, они не были знакомы?

— Я затрудняюсь... Теперь, когда вы сказали... я, право, затрудняюсь. Я знаю, что по делам своих клиентов Мишель довольно часто ездит по Европе и даже в США. Бывает он и в Амстердаме. То есть теоретически знакомство, конечно, возможно, но я не вижу, так сказать, общего...

— Мне удалось выяснить в МИДе, что господин Кордойя был чрезвычайно настойчив и сам хлопотал о скорейшей выдаче документов.

— Это поразительно, поразительно, — несколько раз повторил финансовый инспектор. Он был совершенно растерян.

ГЛАВА 3

Гул толпы доносился словно бы издалека, откуда-то из-за потоков света, ниспадающих с великолепнейших люстр отеля «Принц Уэлс». Слышны были лишь всплески голосов, вырывающихся из общего шума, словно тонкие, едва заметные пузырьки «Теттинжера», который официанты в хрустящих от крахмала униформах разносили на подносах.

От шампанского, к которому Петер Штейн никак не мог привыкнуть, от блеска люстр и декольте дам у него начинала кружиться голова. С полчаса назад вся эта толпа блестящих женщин, мужчин, среди которых лишь изредка мелькала небрежно повязанная косынка художника, в молчаливой сосредоточенности слушала краткую, но, как и подобает в подобных случаях, блестяще составленную речь одного из известнейших в Париже торговцев картинами, в которой он, собственно впервые, представил публике нового, «пока еще мало оцененного» художника Петера Штейна. Суть речи Петер понял плохо. Но ему было приятно слышать, что его, молодого художника, причисляли к тем, «кто в наш век, полный комплексов, условной правды и условной лжи, — как выразился оратор, — пытается не умом, не математическим расчетом, а интуитивно, полагаясь на голос сердца, раскрыть истины, лежащие в основе бытия».

Петер был так смущен и озадачен, что даже не догадался поблагодарить г-на Шарпантье за добрые слова, и тот, улыбаясь и привычно раскланиваясь с дамами, сам подошел к нему и начал шептать что-то на ухо.

— А вы знаете, продолжайте, продолжайте в том же духе. Честное слово, вам идет эта манера невинного смущения. Я ду-

маю, вы будете пользоваться успехом у дам: дамам надоели говоруны, гении-пророки и мастера поэтических каламбуров. Уж я-то знаю, что нужно нашим парижским щекотуньям. Хо-хо-хо, — грубовато засмеялся Шарпантье. — Мальчик из Амстердама им очень кстати. О, Амстердам наши прелестницы ставят высоко...

В таком же легком и благодушном тоне высказывались и другие гости, и Петер уже не знал, о чем думать и как все это понимать — как насмешку ли, как поощрение или как приглашение к какой-то еще малознакомой ему, но, видимо, чертовски азартной и пьянящей игре.

От волнения Петер целый день почти ничего не ел и теперь вдруг почувствовал, что потолок с люстрами и расписными плафонами затуманился и медленно поплыл. Его шатнуло, но кто-то предупредительно поддержал сзади. Петер обернулся и, увидев своего покровителя, улыбнулся доверчиво и смущенно.

— Шампанское, — проговорил он.

— Вы просто очень устали, — с учливой снисходительностью улыбнулся адвокат.

— Может, мне лучше уйти?

— Нет, нет... Еще рано. Я жду знакомых журналистов. Вам, мой друг, надо привыкать к прессе. Газеты могут то, чего не делают даже деньги. Сходите в вестибюль, там прохладнее. Когда надо, я вас позову.

Петер вышел в просторный холл, теперь почти пустой, и подошел к окну.

На улице шел дождь, и по стеклу, размывая огни города, ползли и переплетались водяные струи. Петер смотрел не отрываясь, и картина за окном таяла, шевелилась, превращаясь в неясное, мутное пятно, и ему уже казалось, что сзади шумит не разогретая шампанским толпа, а что это плещется о борта его баржи волна, поднятая прошедшим пароходиком...

Старая, неизвестно когда поставленная за негодностью на прикол баржа была единственной собственностью Петера Штейна. Впрочем, если судить строго, ее и собственностью называть было нельзя, поскольку Патрик Кноррен, умирая, не оставил никакого завещания или бумаг, подтверждающих право на эту полусгнившую посудину. Да и были ли они у него? Скорее всего, нет. Он жил в ней, как жили сотни других семейств, нашедших себе приют в заброшенных баржах, возивших когда-то по рекам и каналам Европы песок, уголь, щебенку, соль, дрова, — жили, охраняемые не столько бумагами, сколько свято чтимым в Амстердаме обычаем. Говорят, что в городской ратуше до сих пор хранится документ с печатью Гийома III, по кото-

рому беднякам стали отдавать под жилье застрявшие в Амстердаме суденышки.

Баржа, на которой Патрик Кноррен (царство ему небесное) приютил неизвестно как попавшего в Амстердам Петра Штейна, была самой обыкновенной баржой-трудягой, черной, грязной, с прогнившими кое-где бортами и ржавой цепью.

Патрик Кноррен, сочетавший в себе качества художника, поэта, философа и бродяги, был тем неунывающим в невзгоде человеком, который так хорошо известен читателям по добрым сказкам Андерсена. Он-то и дал Петеру первые уроки живописи, а потом, когда увидел, что мальчишка не лишен способностей, стал посылать его в студию Амстердамского музея. Пока был жив старик Кноррен, они работали вместе, чаще всего не уходя далеко от своей баржи. Писали обитателей ночлежек, продавцов цветов, рыбы, рабочих, ремонтирующих набережные, моряков, мальчишек и много-много другого люда, который, особенно если время пошло на лето, любит выйти посудачить к каналам...

После смерти Кноррена жизнь стала скучнее, холоднее. Петер продолжал писать те же сюжеты, что и при старике, писал даже лучше, но, странное дело, картин у него никто не покупал. Старик, похоже, обладал каким-то словом. Петер решил забросить знакомые сценки и стал рисовать стилизованные под абстракцию виды Амстердама. На холсте с большим трудом можно было распознать очертания мостов, известных в городе домов, каналов. Над всем этим нагромождением ромбов, квадратов, углов часто возвышался, как некий символ, тяжелый цилиндр небоскреба Международной организации нефти и газа, наверху которой, неясно по какой прихоти художника, четко виднелись буквы МОНГ. Что-то было тревожное в этом пейзаже с башней, и у Петра болезненно сжималось сердце, когда он работал над ним. Однажды ее поместил какой-то рекламный журнал, и через некоторое время Петер получил небольшой гонорар. С этого-то пейзажа с башней все и началось...

Петера познабливало. За окошком сеялся дождь. Сквозь щели баржи вползал туман, и оттого, что Петер раскалил печурку, в каморке было тепло и душно. Анна неделю назад каким-то образом доставила на баржу мешок первосортного угля, и теперь можно было топить вволю.

Петер слышал, как кто-то подошел к барже. Он даже поднялся, думая, что это пришла Анна, но голос, донесшийся до него, принадлежал мужчине. Петер снова закрыл глаза и очень ясно услышал, как кто-то, очень осторожно ступая по трапу, перебирается к нему на баржу. «Наверное, мне это снится или

просто ветер раскачивает шаткие сходни», — подумал он. Но в это время требовательно и настойчиво постучали в дверь.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил мужской голос.

— Подождите... Я сейчас засвечу фонарь, — отозвался Петр. — Кто вы?

Но вошедший ничего не ответил и продолжал молча стоять возле дверей.

— Кто вы? — переспросил Петр, поднимая фонарь. — Вы от Анны?

Первой его мыслью было, не случилось ли что с ней.

— Вы напрасно волнуетесь, я не люблю приносить дурных вестей, — с улыбкой проговорил незнакомец. — А Анны я просто не знаю. Это ваша подруга?

Петр успокоился и теперь с любопытством разглядывал пришельца. Это был средних лет человек с болезненно припухшим лицом и очень внимательными, но странно неподвижными глазами. Волосы у него были светлые, прямые и спадали по бокам лица словно на старинном фламандском портрете.

— Однако у вас жарко, — проговорил гость. — Вы позволите? — и, не дожидаясь ответа, он стал расстегивать пальто.

Петр сидел на тюфяке, наблюдая за его размеренно-спокойными движениями.

Повесив на гвоздь пальто, незнакомец бесцеремонно разглядывал художника и, казалось, остался недоволен его видом.

— У вас температура, — бесцветным голосом выговорил он и недовольно дернул плечами.

— Вы из медицинского отдела муниципалитета? — с недоброй иронией осведомился Петр. Ему показался оскорбительным бесцеремонный тон пришельца.

— Ну что вы, что вы, — усмехнулся тот, обнажая зубы. — В медицине я профан. Я, собственно, по образованию юрист, хотя при известной смелости мог бы представиться и любителем живописи, и даже как коллекционер.

Незнакомец подошел к маленькому оконцу баржи, за которым на вершине монгольского небоскреба неустанно скакал морской конек — символ корпорации.

— Вас это не утомляет?

— Что — это? — не понял Петр.

— Прыгающий морской конек...

— Почему же? — пожал плечами художник. — В такие вот ночи с ним даже веселей. Не так давит темнота...

— И одиночество? — быстро спросил незнакомец.

— Вы, я вижу, осведомлены, — с презрительной усмешкой проговорил Петр.

— Я не люблю начинать дело, не приняв некоторых предосторожностей.

— Начинать дело? — не понял Петер.

— Называйте меня г-н Мишель, — неожиданно представился незнакомец. — Теперь, когда мы подошли наконец к деловому разговору, вам надо же меня как-то называть.

Он отвернулся от окна и с безучастным видом скользнул взглядом по картинам, развешанным по стенам.

— Мне больше по вкусу ваша нынешняя абстрактная манера. А эти вещи, — он безапелляционно ткнул пальцем в какую-то картину, — напоминают мне о мошенниках с Монмартра, которые торгуют по десять долларов за штуку. Вы не согласны?

— У меня не было возможности побывать на Монмартре, — сухо ответил Петер и обиженно примолк. В спор вступать он не решался: за болтовней этого господина, в смысл которой он никак не мог проникнуть, все же что-то таилось.

— А... Это досадно, — посочувствовал пришелец. — Хотя, безусловно, поправимо. Только вы, наверное, знаете, что Париж презирает бедняков. В Париже это не модно...

Петер развел руками, соглашаясь с г-ном Мишелем и как бы давая понять, что это, увы, не в его власти.

Незнакомец вдруг оживился, вытащил из кармана какой-то листок.

— В одном из журналов мне попало вот это, — сказал он, протягивая бумагу Петеру. То была вынутая из рекламного журнальчика репродукция с картины Петера Штейна, той самой, на которой была изображена башня с буквами МОНГ наверху. — Я советовался с одним из моих парижских друзей, господином Шарпантье. Вам ничего не говорит это имя? Нет? Г-н Шарпантье один из известных в Париже торговцев картинами, человек с большими связями и клиентурой в Америке. Его заинтересовала эта вещь.

Петер не верил своим ушам. Какой-то незнакомый ему господин Шарпантье, Париж, клиентура в Америке...

— И господин Шарпантье хочет купить мою картину? — спросил Петер, краснея от собственной дерзости.

— Г-н Шарпантье не хочет купить эту картину, — медленно проговорил месье Мишель. — Но эту картину хотел бы купить я, — улыбнулся он. — Вы не возражаете?

— Нет, — чувствуя, как у него от волнения пересохло в горле, с хрипом выдохнул Петер.

— Какую же цену вы назначите?

— Я... право, не знаю...

Даже в лучшие времена, в разгар туристского сезона, когда

картины шли неплохо, они со стариком Кнорреном не осмеливались просить больше ста долларов. Да больше никто и не давал. В мертвый сезон те же самые копии случалось отдавать и по двадцать.

— Ну, скажем, две тысячи долларов вас бы устроили? — с усмешкой спросил г-н Мишель и, не дождавшись ответа Петра, вытащил из кармана портмоне. Отсчитав деньги, он выложил их на стол и придавил кружкой с выщербленным краем. Петер даже не пошевелился, чтобы взять деньги, но и не мог отвести от них глаз.

— За картиной я приду позднее. Не тащить же ее под таким дождем.

Выложив деньги, г-н Мишель стал как-то проще, домашнее.

— Понимаю, что в таком житье есть своя поэзия, свой, что ли, колорит, — проговорил он, оглядывая жилище художника, — но я бы вам советовал перебраться в сухую, теплую гостиницу. Талант, г-н Штейн, создание хрупкое... Почему бы вам не подумать о Париже? Я вам обещаю помочь...

Когда месье Мишель ушел и перестали скрипеть сходни, Петер сел на низенькую скамеечку возле печурки и долго рассматривал долларовые бумажки, точно рассчитывал отыскать в их зеленоватых линиях и разводах тайные знаки, хранящие разгадку этого странного визита. Но, кроме изображения надменного, с вытянутым лицом человека, на них ничего не было. Петер приоткрыл дверцу печурки и даже посмотрел несколько купюр на просвет. По его окрашенному пламенем лицу блуждала странная, болезненная улыбка...

На следующий день к вечеру на баржу пришла Анна. Она была чрезвычайно взволнована.

— Петер, я хочу у тебя спросить... Откуда ты знаешь господина Кордойя?

— Господина Кордойя? Но я не знаю никакого Кордойя... Ты имеешь в виду моего вчерашнего гостя? Он назвался господином Мишелем.

— Это неважно, как он назвался. Он мог назваться кем угодно. Важно другое — я не хотела бы, чтобы ты имел дело с этим господином.

— Вот как? Так ты его знаешь?

— Он долго работал в МОНГе.

— Какое это имеет отношение ко мне? Он купил у меня картину — первую картину, которую мне удалось по-настоящему выгодно продать. Остальное меня не интересует. Я теперь могу несколько месяцев работать. Понимаешь? Работать, не думая о том, что завтра буду есть.

— Петер, — остановила художника Анна. Она взяла его руку и стала нежно перебирать вздрагивающие от нервного возбуждения пальцы, — Петер, ты не знаешь господина Кордойя. Это очень опасный человек. Да, он умен, но я не знаю, чего в нем больше — ума, хитрости или коварства. Он занимал в МОНГе особое положение.

— Причем здесь МОНГ? Он уже давно живет и работает Париже. Ты зря беспокоишься, Анна. Он настоящий любитель и, поверь мне, знает в картинах толк. Разговор с ним об искусстве — настоящее наслаждение, к тому же... — Петер обнял Анну и привлек ее к себе. — К тому же он ничего не требует и не требует взамен. Так же, как ты...

— Вот это меня и пугает, — прошептала Анна.

Петер гладил ей плечи, целовал волосы, называл пугливым утенком, и она постепенно успокоилась. Ей уже самой казался смешным ее недавний испуг. В самом деле, что общего между ее Петером и Кордойя? Может быть, она действительно не совсем понимает эту новую манеру Петера? Она вспомнила недавнюю выставку в Амстердамском музее из коллекции Лувра и слова экскурсовода по поводу некоторых картин известного художника: «Двести лет эти картины пролежали в запасниках, а самого художника считали банальным подражателем...». Но почему именно Кордойя? Не за тем же он приехал из Парижа, чтобы купить картины художника, о котором, скорее всего, никогда и не слышал? Но и эта тревожная мысль лишь на минуту омрачила ее счастье. Конечно же, все это фантазия, выдумка. Просто она боится, ревниво боится потерять его — беззащитного, неумелого, хрупкого ребенка...

Через несколько дней, когда она пришла на баржу, Петера уже не было. Она открыла дверь и увидела несмятую постель, пустые стены. На столе, придавленное пустой кружкой, лежало письмо. «Я не мог не согласиться с предложением господина Кордойя. Я знаю, что ты не веришь в меня, и я сам не очень верю в свою звезду. Я слишком привык быть рядом с тобой, и это отнимало у меня последние силы для сопротивления. Мне обещают выставку — и это все. Об остальном молчок. Надежды слишком пугливы. Я хочу встретиться с тобой, когда буду счастливым...»

* * *

В номере парижской гостиницы было сухо, тепло. Правда, он немного продрог, возвращаясь с вернисажа. Но это пустяки. Это не то, что в проклятой, никогда не просыхающей барже. Петер позвонил в буфет и попросил принести горячего грогу.

Ожидая, пока принесут заказ, он стал смотреть на улицу. Прохожих почти не было. Город казался заснувшим. Погасли витрины, и лишь светофоры окрашивали мокрый асфальт то зеленым, то красным светом. К сердцу подкрадывалась тоска...

— Нет, нет, пустое, — успокаивал он себя. — Разве он виноват, что все так обернулось? Не он ли писал Анне, чтобы она не искала его? Ему нужен простор, уверенность, а не сомнения. Своим приездом Анна все испортила...

По улице шел человек с нераскрытым, несмотря на дождь, зонтиком. Было видно, что он не знает, куда идти. Он долго стоял на перекрестке, глядя вслед редким машинам. Петеру вдруг стало жалко этого потерянного прохожего под дождем. «Вот и я так», — подумал он, и ему вдруг отчетливо вспомнилась их последняя встреча с Анной в том вонючем «Зеленом дворе», ее жестокие, оскорбительные слова.

Петер подошел к стоявшему в углу комнаты холодильнику, достал бутылку виски.

Он никогда не видел Анну такой возбужденной, как в тот вечер. Она ждала его, сидя на постели и подсунув под себя руки. Ее лицо было некрасиво. Это было особенно заметно при свете свисавшей с потолка голой лампы. Она плакала до его прихода и теперь старалась скрыть это.

Еще по пути в «Зеленый двор» Петер решил, что будет от-малчиваться и только спокойно выслушает Анну, ее упреки. Но спокойного разговора не получилось. Анна, видимо, растравила себя ревностью. При виде Петера губы ее начали вздрагивать.

— Ну, как поживает твоя пассива? — несвойственным ей хриплым голосом спросила Анна.

— Анна! — примирительно сказал Петер. — Зачем ты об этом?

— Для тебя это пустяк? Тебе ничего не стоило забыть около первой же... (Анна не нашла подходящего слова и схватила себя рукой за горло, словно у нее была спазма) ...забыть нашу баржу и все, что было в Амстердаме.

— Анна... Если... Наверное, мне лучше уйти...

— Уйти? — с испугом спросила она. У нее, видимо, начиналась нервная лихорадка, потому что она вдруг рассмеялась, громко, некрасиво, сухо. — Ах, уйти... Ты уже хочешь уйти?! Конечно, это так легко. Она уже, наверное, ждет тебя. Где? Внизу? Или в машине? Я совсем забыла, что у вас (она нарочно выговаривала это оскорбительное «у вас») теперь автомобиль... и, кажется, золотой перстень? Как это я раньше не замечала, что у моего милого мальчика дурной вкус? А ведь для этого достаточно было просто взглянуть на стены баржи, где висели шедевры...

Анна точно упивалась вырвавшейся наружу обидой. Слова, резкие, обидные, в большинстве несправедливые, срывались с ее губ, глаза сделались сухими. Она подбежала к окну, словно и в самом деле верила своим словам и хотела убедиться, что там, на улице, кто-то ждет его.

— Анна, прошу тебя, успокойся. Ты не знаешь, что говоришь...

— Нет, это ты, ты не хочешь слушать. И все оттого, что ты боишься правды, да-да, не пожимай, пожалуйста, плечами. Эти ужимки... Ты просто боишься, что я скажу... А я скажу, скажу, что ты бездарь, бездарь! Да, вы, маэстро, не талантливы, вы посредственность. Боже мой! Неужели ты сам не чувствуешь, что тобой играют, как куклой? Эти заметки в газете! Ах, новое имя! Ах, какая манера! Как бы мне хотелось знать, сколько Кордойя заплатил за рекламу.

Петер дрожал. Ему стало трудно дышать, кадык прыгал по худому горлу. Он сдерживался из последних сил.

— Анна, замолчи... — прохрипел он.

— Они просто будут плевать тебе в лицо, когда кончится вся эта комедия, вся эта...

— Ты просто обезумела, — закричал Петер. — Замолчи, или я убью тебя...

— Ха-ха-ха, он хочет меня убить, — истерически засмеялась Анна. — Так убей! Убей!

Она подскочила к нему, схватила за руки и потянула их к своей шее.

— Отпусти, дура, — закричал он и наотмашь ударил ее по лицу. Бросился вон из комнаты.

— Петер, Петер, подожди, — кричала вслед ему Анна. — Мне нужно тебе сказать...

Но догнать его было уже нельзя. Ни догнать, ни найти. Остаток дня и ночь он провел, перебираясь из бара в бар и выговаривая везде только одно слово: «Виски». Весь следующий день и всю ночь у него в номере звонил телефон.

Когда он наконец вернулся в гостиницу, ключей на месте не оказалось.

— Вас ждут в номере, — проговорила, пряча улыбку, девица за конторкой.

«Это Анна, — решил он. — Как хорошо...» Петер не чувствовал ни зла, ни обиды, только нежность.

Но вместо Анны в номере навстречу ему поднялся Мишель Кордойя.

— Недурное начало для будущей знаменитости, ха-ха-ха, — засмеялся он, но Петер почувствовал, что смех этот был какой-

то натужный. Он быстро поднял голову и увидел глаза адвоката — они были холодны и сердиты.

— Что-нибудь случилось? — спросил Петер.

— Случилось? Конечно, случилось! На носу выставка, масса дел, а их величество художник проводит время в дешевых кабаках.

— Почему же в дешевых? — обиделся Петер.

— А потому что из дорогих в таком виде не приходят. К тому же, — сухо улыбнулся Кордойя, — на дорогие заведения у тебя еще не хватит денег.

Горничная принесла кофе, который заказал Мишель, и, прихлебывая из чашки и поглядывая на адвоката, Петер пытался догадаться, зачем тот пришел — не затем же, чтобы устроить ему выговор.

— Так где же ты все-таки пропадал? — спросил Кордойя.

Но в ответ Петер только махнул рукой.

— Или ты уже завел себе новых подружек? Что же Жаклин? А она мне говорила, что вы так хорошо поладили. Впрочем, это пустяки... Тебе надо выпить чуть-чуть и, конечно, принять душ. На тебя больно смотреть. Что скажут знакомые? Марш в ванную. Марш, марш. А я налью тебе виски. Это не повредит. А потом, потом мы с тобой поедем завтракать в один очень забавный ресторанчик.

И, насвистывая веселую мелодию, адвокат зазвенел стаканами.

Петер, стоя под горячим душем, все время прислушивался к звукам в комнате. Ему казалось, что вот-вот придет Анна. Но ее шагов, таких знакомых, таких привычных, не было слышно. Из-за двери доносились только звуки музыки: Кордойя включил приемник. Потом он слышал, как адвокат говорил с кем-то по телефону, но слов за музыкой разобрать было невозможно.

Поглядев на себя в зеркало и потрогав пальцем ссадину на скуле, Петер улыбнулся. Ему вдруг стало легко и весело. Все это пустяки. Просто надо прийти и сказать Анне, что он ее любит, любит только ее, и больше никого на свете. И тогда все станет ясно, легко, и они переговорят обо всем, как в те дорогие и памятные вечера на барже. И он решил, что сейчас же распрощается с Мишелем, никуда не пойдет с ним завтракать, а пойдет прямым ходом к Анне, и они проведут вместе весь день, целый счастливый день в Париже.

Но все обернулось по-иному. Когда он вышел из ванны, Кордойя был уже в плаще.

— Выпей немного виски и скорее поехали, — сказал он, протягивая стакан.

— Я никуда не поеду, — опустил глаза Петер. — Мне обязательно надо увидеть Анну. Пока я ее не увижу, я буду неспокоен.

— Вот как? — саркастически заметил адвокат. — Господин Штейн будет неспокоен? А обо мне ты подумал? Ты подумал о том, что я уже назначил свидание и нас ждут? И заметь — не меня, а нас. Потому что я это делаю для тебя. Мы едем немедленно к Шарпантье, или я ни за что больше не берусь.

И Петеру пришлось согласиться. В вестибюле гостиницы его окликнули.

— Месье, вы получили письмо? — поинтересовалась барышня за конторкой.

— Письмо? Какое письмо?

— Ну как же, еще до вашего прихода я получила для вас письмо и сразу же отправила вверх с посыльным. Я полагала, что вы у себя в номере. Подождите секунду, я спрошу. — Фернан, Фернан, — закричала она кому-то.

— Нас ждут, — нетерпеливо теребя сигарету, проговорил Кордойя. — Неужели это нельзя отложить?

К конторке подскочил парнишка в светлой униформе с бордовыми нашивками на брюках и воротнике.

— Фернан, ты отнес письмо в номер господина Штейна?

— Да, давно... Разве господин Штейн не заметил? Возле телефона... на столике.

Петер обернулся к Кордойя.

— Вы не видели, Мишель? Вы, кажется, говорили по телефону? — в его голосе слышалось беспокойство.

— Не приметил, — равнодушно пожал плечами Кордойя.

— Я сейчас, мигом, — сказал Петер и хотел было вернуться, но адвокат неожиданно ловко и крепко схватил его за рукав.

— Подожди. Я обещаю, что ты через полчаса вернешься. А сейчас нам надо спешить. Нас ждут уже пятнадцать минут. Ты все испортишь... — и он силой потянул Петера за собой.

Однако ни через полчаса, ни через час Штейн в гостиницу не вернулся. В ресторане их и в самом деле поджидал Шарпантье. Но они даже не стали садиться за столик: выпили по рюмке коньяка за успех новой выставки и после этого поехали в салон Шарпантье. А потом откуда-то появилась Жаклин, свежая, румяная, соблазнительная, и заявила, что у нее день рождения...

Когда наконец к вечеру Жаклин подвезла Петера к гостинице, он едва держался на ногах. Она хотела подняться с ним, но он вдруг так яростно закричал «нет» и затопал ногами, что она тут же юркнула в машину и уехала. Поднимаясь в лифте к себе на этаж, он все шептал одно слово, словно боясь его забыть:

«Письмо, письмо, письмо». И когда вошел в номер, первым делом, пошатываясь и держась за стену, направился к телефонному столику. Но письма там не оказалось. Петер даже поднял телефонный аппарат, потом стал шарить рукой под столом — не упало ли? Но в это время у него так закружилась голова и все поплыло перед глазами, что он уже не мог ни думать, ни продолжать поиски.

Когда ближе к ночи горничная заглянула в номер, она застала постояльца спящим на ковре. Он спал в неудобной позе, обхватив голову руками и подобрав к животу колени. Она испугалась — не случилось ли беды. Но когда прибежали снизу швейцары и дежурный администратор, выяснилось, что жилец просто пьян. С него стянули пиджак, ботинки и уложили на диван, прикрыв покрывалом, и так он проспал до вечера следующего дня.

Об исчезновении Анны Петер узнал из утреннего выпуска газет.

* * *

Петер хорошо помнил ясное утро, когда он проснулся в просторном загородном доме адвоката, и ему показалось, что со дня исчезновения Анны прошла целая вечность. Он подошел к высокому окну, за которым виднелся просторный луг и вдалеке темнел еще не оживший лес. Небо чистое. Мокрая поляна залита пробившимся сквозь легкий туман солнцем. Казалось, трава позванивала капельками утренней росы.

Послышался шум шагов, дверь открылась, и Петер увидел Мишеля Кордойя, веселого, раскрасневшегося, в высоких жокейских сапогах, забрызганных грязью, в короткой куртке, с хлыстом в руке.

— Э-э, да ты, я вижу, совсем молодец, — радостно воскликнул он, подходя к Петеру.

Он обошел его кругом, похлопал по спине, смерил с ног до головы взглядом, точно хотел удостовериться, годится ли тот для верховой езды или нет. Нашел, что годится. Засмеялся довольно. От него пахло землей, лошадьми, прохладным утром.

— А говорят, медицина — пустое! Нет, вижу, что нет!

Кордойя несколько минут молчал, блаженно щурясь на солнце.

— Какой день! Первый по-настоящему весенний день. В такие дни хочется мечтать, строить планы. Я рад, очень рад, что ты наконец в полной форме. Мне надо с тобой поговорить. Кстати, как твое чтение?

— Читаю с большим удовольствием.

— Я так и знал. Читать Тургенева весной!.. Не знаю высшего наслаждения.

Несколько дней назад Мишель Кордойя неожиданно принес Петеру «Записки охотника», и Петер действительно испытывал радость и успокоение от чтения этой книги.

— Я уже позавтракал, и у меня есть кое-какие дела. Так что ты не торопись: поешь, походи, подыши... Часам к одиннадцати приходи ко мне в кабинет.

Кабинет был большой, отделанный темными резными панелями из дуба. Шторы на окнах были задернуты, и в кабинете царил полумрак. Кордойя сидел в массивном кресле возле горящего камина и перебирал бумаги.

— Заходи, заходи, — отозвался он, увидев Петера. — Подвигай кресло, усаживайся, я кончаю.

От его утреннего благодушия не было и следа. Он был сердит, даже угрюм.

— Я недоволен тобой, — неожиданно сказал он, закидывая ногу на ногу.

— Вы? Мною? — удивился Петер. — Почему?

— Мне не нравится твоя скрытность. Вот уже больше месяца, как мы знакомы, а я ничего не знаю о тебе.

— Но мне совершенно нечего скрывать... — растерянno оправдывался Петер.

— Хочу тебя предупредить, мой друг, — уже не так строго, а скорее, скорбно проговорил Кордойя, — что твоя скрытность, во всяком случае передо мной, может тебе повредить. Я понимаю твоё состояние и не хотел волновать тебя, но вижу, что напрасно.

— Что-нибудь случилось?

— Пока ничего серьезного. Но знай, что французская полиция очень внимательно интересуется сейчас неким Петером Штейном. Мои друзья в Париже намекнули мне, что речь идет о некоторых обстоятельствах исчезновения Анны Детоор. Следовательно почему-то выбрал себе в голову, что Анна не покончила с собой в отчаянии ревности, как об этом пишут некоторые газеты, а была с неясной какой-то целью выкрадена с помощью некоего Петера Штейна. Чистейший бред и фантазия, разумеется. Но их смущает, что труп Анны до сих пор не обнаружен. И я не исключаю, что, разыскав тебя, следователь Тиссье сможет причинить тебе массу неприятностей. Мне уже пришлось нажать на кое-какие рычаги, чтобы унять его прыть, и, видимо, придется вмешиваться еще и еще. Но для этого, рассуди же сам, я должен обладать информацией. Не далее как вчера один из моих очень близких друзей в префектуре спросил меня: «Послушай, а кто такой этот Петер Штейн, о котором ты хлопочешь?» Что я ему

мог ответить? Почти ничего. Я несколько раз начинал с тобой этот разговор, но ты всякий раз отнекивался. Я не настаивал. Но сейчас обстоятельства изменились. Хочешь ты того или не хочешь, я уже выступаю не как твой друг, а как адвокат. И это дает мне определенное право. Словом, я хочу знать о тебе все...

Адвокат встал из кресла, подошел сзади и положил руки на плечи Штейна.

— Петер, — повторил он тихо, — почему, например, ты скрываешь от меня, что ты русский?

Штейн медленно повернул голову, и его глаза встретились с глазами Кордойя. Они были темны, как черное зеркало, и в них отражались плясавшие в камине языки пламени...

— Так почему? — повторил Кордойя, и его костистые пальцы больно сжали плечо художника.

— Я ничего не помню...

— Перестань говорить ерунду, Петер. Это переходит границы.

— Но я в самом деле...

— Ну хорошо, хорошо, — раздраженно ответил адвокат. Было слышно, как он, похрустывая пальцами, ходит сзади него. — Хорошо... Если ты не хочешь рассказать, я надеюсь, ты будешь отвечать на мои вопросы.

— Я готов, Мишель. Вы же знаете, как многим я вам обязан.

— Скажи тогда, как звали твоего отца?

— Не могу, — покачал головой Петер.

— Мать?

Штейн сидел без единого движения, пристально глядя на огонь. Горячие языки пламени, отрываясь, улетали в пасть дымохода.

— Ты можешь, по крайней мере, сказать, где ты родился?

— Да, да... Мне кажется, я помню это место... Маленький двор, застроенный сараями, палисадник с желтыми цветами. К осени они валялись на заборы и висели так до самой зимы, постепенно буря. Потом было много снега...

— Это все, что ты помнишь? — спросил Кордойя.

— Все, — виновато проговорил художник. — Вы мне не верите?

— Не знаю, Петер, не знаю, — в замешательстве проговорил адвокат. — Все это очень странно. Почти полная потеря памяти... Если, конечно, ты не играешь со мной злую шутку. Берегись, Петер, если это так!

— Прошу вас мне поверить.

Штейн встал с кресла и, подойдя к адвокату, тронул его за рукав.

— После Патрика Кноррена вы человек, который больше

всего сделал для меня. У меня нет ничего, что бы я пожалел для вас. Но вы же видите... Старик Кноррен мало что рассказывал мне. Я знаю, что он взял меня из детского приюта. О подробностях он вспоминать не любил. О том, что я русский, я узнал, когда мне было уже лет двенадцать. Случайно... Я часто проводил время с приятелями в порту. Матросы — народ щедрый, и нам удавалось выцыганить то горсть мелких монет, то пачку сигарет, то банку консервов. Однажды в порт пришел большой иностранный пароход, и мы, как обычно, отправились попрошайничать. Когда мы подошли к группе матросов, я с удивлением заметил, что понимаю все, что они говорят. Когда же они нас спросили о чем-то, я, ни минуты не задумываясь, ответил им. Мои приятели не верили ушам своим. Они решили, что я попросту несу тарабарщину и разыгрываю их. Отлично помню, как один из матросов сказал своим:

— Эй, братва, а мальчонка-то, никак, русский.

И они стали звать меня к себе и расспрашивать. Но и им я ничего не мог сказать, кроме того, что я голландец и что отец мой, Патрик Кноррен, живет недалеко от порта.

— Откуда же ты знаешь наш язык, бесенок? — дивились они.

— Да я не знаю вашего языка...

Дома я обо всем рассказал Кноррену. Он долго молчал, курил трубку и потом признался, что я ему приемный сын, что взял он меня из сиротского дома, куда после войны привезли несколько сотен детей из Германии, и что я в самом деле русский. «Но об этом лучше не вспоминать. Так будет спокойнее», — пояснил он.

Я никогда и не вспоминал, хотя с тех пор старик Кноррен время от времени приносил мне откуда-то русские книги, и я довольно быстро наловчился читать. «Пригодится», — повторял Кноррен. Но я не знаю, что с моей памятью. Помню мельчайшие детали своей жизни на барже, но все, что было до этого, словно замуровано глухой стеной. Иногда во сне мне чудятся какие-то с детства знакомые звуки, туманные призраки встают передо мной, и тогда мне хочется плакать. Но утром я ничего не могу вспомнить. Вы мне верите, Мишель? Мне даже кажется, что вы что-то знаете обо мне, знаете, может быть, больше, чем я сам. Это верно? Что же вы молчите?

Маленькая эта исповедь, казалось, смутила Кордойя. Он уже давно в большом возбуждении ходил по комнате, время от времени резко останавливаясь против Штейна и пытаясь заглянуть ему в глаза.

— Да, да, Петер, — рассеянно бормотал он. — Я, кажется, тебе верю. Все это похоже, очень похоже на правду...

— Но вы мне так и не ответили, Мишель, — тронул его за руку художник. — Вы ведь знаете, кто я?

— Может быть, Петер, может быть, — в полной растерянности проговорил Кордойя.

— Так скажите же! — почти закричал Петер.

— Я скажу, скажу... Завтра... А теперь я должен... — и Кордойя поспешно пошел из кабинета. — Никуда не отлучайся из дома и не подходи к телефону, — крикнул он от дверей. — Я вернусь к вечеру.

Но в тот вечер Петер Штейн так и не дождался адвоката.

ГЛАВА 4

— Не азартный ты человек, ничем тебя не расшевелишь! — с иронической досадой говорил Анжелли. — А я-то думал, что в России охота — национальная страсть. Страсть украшает человека, а ученому она просто необходима. Что же, у вас в институте и охотников нет? Плохо...

— Есть, есть охотники, — оборачиваясь к Анжелли и улыбаясь, отвечал Голощеков. — Но больше спецов по грибам. Грибы — вот истинно русская страсть...

Машина с Голощековым и Анжелли уже больше получаса как выехала из Парижа. Мимо неслись поля с высокими озами, мелькали серые фермы, загоны для скота, разбегались по пологим холмам небольшие рощи.

Предстоящая охота, вид живой, отдохнувшей за зиму природы, видимо, волновали Анжелли, и он все пытался свести разговор к охоте. Начал вспоминать о своей поездке в Сибирь. Его возил туда Голощеков.

— Да помнишь ли ты, как в Сибири тогда? Медведище какой? Я думал, на него пуль не хватит.

— Помню, как не помнить, — односложно отвечал Голощеков.

Ему не давало покоя странное выступление на конференции делегата от одного из арабских эмиратов. Выступление было довольно интересным, и он сам ему аплодировал. Речь шла о бережливом отношении к природным запасам, о том, что нефтяные богатства не вечны и что-де уже теперь надо искать новые источники энергии. Все это не вызывало возражений. Несколько нарочитой показалась Голощекову концовка речи: оратор высказался за то, чтобы заморозить добычу на нынешнем уровне.

На следующий день несколько парижских газет подхватили именно эту часть выступления, причем одна из них вынесла на первую полосу броский заголовок: «Европа на нефтяном пайке!». Нет ли какой невидимой связи между этим выступлением и поднятой в газетах шумихой о возможном сокращении поставок нефти?

— А рэвиолли с медвежатиной были превосходны, — щелкал языком Анжелли. — Как это у вас называется?

— Пельмени, — буркнул Голощеков.

— Вот-вот, пельмени, — мечтательно протянул итальянец. — Да что в самом деле с тобой? — и он шутливо пихнул Голощекова локтем в бок. — Новости из дома нехорошие?

— Ты ничего не слыхал об этом Исмаиле Мулей, что выступал позавчера?

— А... Ты все об этом. Что вы за люди, русские? Ты о чем-нибудь, кроме нефти, можешь думать?

— Могу, могу, — понимая, что и в самом деле выглядит смешным, засмеялся Голощеков. — Обещаю говорить только о кабанах и куропатках, хотя ни черта в этом не понимаю. Но прежде все-таки скажи: это он всерьез о замораживании добычи? Они же там сидят на океане нефти. Может, ему просто аплодисменты сорвать хотелось?

— Причем тут аплодисменты, — принимая серьезный вид, ответил Анжелли. — Я же тебе говорю, что ты не азартный человек. А зря! Без азарта в нынешнее время в науке далеко не уедешь — обязательно обставят. Да, да — те, которые умеют рисковать, ловят момент удачи. Вот если бы ты был охотником, ты, может быть, быстрее понял, что за этим Исмаилом Мулей стоят азартные игроки. И ставки в этой игре не пустячные — десятки миллиардов долларов. Для тебя выступление Мулей — новость, а я еще полгода назад начал замечать, что под прикрытием заботы о матери-природе кое-какие газеты стали исподволь приучать общественное мнение к мысли о неминувости повышения цен на бензин и химические продукты, ссылаясь на возможное сокращение поставок нефти. Разумеется, когда начнутся протесты, всю вину свалят на арабов. Это испытанный прием...

— Но это же чистейшая спекуляция! Неужели серьезные экономисты не понимают? Сама нефть стоит нефтяным корпорациям копейки. Повышение цен на нефтепродукты не вызвано никакой экономической необходимостью. Это корысть МОНГа и ее "черных сестричек".

— Что же ты хочешь от них, Базиль? Тебе легко раскладывать экономику по полочкам: у вас нефть в одних руках, и все

распланировано на десять лет вперед — цены, поставки, доходы. А у нас биржа. И биржа определяет все — идеи, политику, мир, войну. Кто-то из мудрецов сказал, что политика есть концентрированное выражение экономики. Мне это нравится...

— Ленин это сказал. Владимир Ильич Ленин, — заметил Голощеков.

— Вот как? Я этого не знал, — изумился Анжелли.

* * *

— Кажется, сюда, — притормаживая, проговорил итальянец. Машина прошуршала по гравию и въехала в старинные ворота.

— Да здесь целый замок! — удивился Голощеков.

Впереди в просвете зеленоватых стволов старых платанов виднелось мрачное серое строение с башенками.

— Это теперь модно — покупать старые замки, крестьянские фермы и переоборудовать их под модерн.

Навстречу уже шел хозяин. Адвокат был в мягкой домашней куртке, в полусапожках, радушный и улыбающийся.

Голощекова и Анжелли провели в просторный салон с горящим камином, где уже сидели и курили несколько человек.

Разговор не клеился, как это часто бывает в компании мало знакомых людей. Все словно чего-то ждали. Голощеков стоял к камину спиной и курил. Он слегка прозяб в дороге, и теперь было приятно чувствовать, как сзади его охватывает живой жар. Кордойя куда-то пропал, видимо, отдавал последние распоряжения по ужину. Анжелли, выпив порцию виски, немедленно занялся двумя молодыми дамами, и до Голощекова долетали всплески смеха. Из присутствующих помимо Анжелли Голощеков знал только двоих — индуса в сигхском тюрбане и англичанина: профессор его хорошо запомнил по интересному сообщению о прокладке подводных нефтепроводов. Было здесь и несколько очевидных охотников — должно быть, соседи Кордойя. Они чувствовали себя как дома, громко разговаривали и были уже навеселе. Обратил на себя внимание молодой человек, сидевший в углу с книгой. В отличие от других присутствующих, он был рус и очень бледен.

Еще позднее, чем Голощеков и Анжелли, приехал средних лет человек, плотный, высокий, в сером свободном костюме. Профессор видел его среди делегатов конференции, но особого внимания на него не обратил: он не выступал ни с докладом,

ни с научным сообщением, но зато не пропустил ни одного приема и, судя по всему, был не прочь выпить. Он похлопал по плечу вошедшего в гостиную Кордойя, сказал что-то смешное Анжелли и теперь шел к Голощекову.

— А! Господин Голощеков, если не ошибаюсь! — прокричал он по-французски с сильным американским акцентом. — Меня зовут Патрик, Патрик Бич. Давно искал случая с вами познакомиться, да все никак не удавалось. Однажды был даже в Москве, пытался вас найти, но вы были, как мне сказали, где-то в бескрайних просторах Сибири.

— Вы бывали в Москве?

— О! И не раз! Чудесный город, просторный, чистый.

— Приезжали на научную конференцию?

— О нет, нет... Я вам как-нибудь расскажу. Это занятная история...

Но что это была за история, профессору так и не довелось узнать. Двери в столовую распахнулись, вышел дворецкий и объявил, что кушать подано.

Все прошли в столовую, начали есть, пить, и пошел легкий, ничего не значащий застольный разговор. Говорили о погоде, о предстоящей охоте, о последней парижской выставке сюрреалистов, о предстоящей свадьбе какой-то певицы, о которой Голощеков сроду не слыхивал, и когда сидящий напротив индус, склонившись вперед, спросил профессора что-то о бурении наклонных скважин, дамы сделали страшные глаза и даже Анжелли комично замахал руками и голосом капризного ребенка заверещал:

— Не надо, господа, ради бога, не надо. Помилуйте, вы испортите разговорами о нефти весь аппетит дамам...

Все засмеялись, и больше никто за столом не рискнул поднять эту тему...

Ужин подходил к концу. Гостей пригласили в диванную, где подавали кофе, коньяк, сигары. Беседа мало-помалу разошлась, и Голощеков разговорился с индусом: у них обнаружилось довольно много общих знакомых среди нефтегеологов. Голощеков неплохо знал нефтяную ситуацию в Индии и даже бывал там в командировках. Английские геологи заявили о бесперспективности поиска нефти на Индостанском полуострове. Индусы тогда обратились к Советскому Союзу, и в Индию была послана партия геологов. Через полтора года на западе страны забили первые нефтяные фонтаны. Разговор занимал обоих. Голощеков заметил, как мимо них несколько раз с озабоченным видом прошел Кордойя, и профессору даже показалось, что тот хочет что-то сказать. И в самом деле, через несколько

минут он подошел к ним снова и начал рассказывать, как несколько дней назад приобрел на аукционе чудесную индийскую миниатюру и что теперь ему не терпится показать ее гостю. Адвокат подхватил индуса под руку и, продолжая сыпать словами, повел в библиотеку.

Голощеков на минуту остался один, но к нему уже спешил американец.

— Я вижу, русские пользуются популярностью. К вам просто невозможно пробиться. А у меня к вам между тем маленький разговор.

Американец уже основательно выпил, и в руке у него был бокал, до половины наполненный виски.

— Вам нравятся командировки, г-н Голощеков? — спросил он и плюхнулся в кресло. — Я — обожаю! Свобода, независимость... О, вы не знаете американских жен. Это настоящие собственники! В Европе совершенно неверно представляют себе американскую семью. Американская женщина — это не демократ в юбке, а домашний диктатор. У вас диктатура про-ле-та-риа-та, — американец с трудом выговорил непривычное слово, — а у нас диктатура половника. Ха-ха-ха! — засмеялся он, довольный своей шуткой. — Будь моя воля, я бы плюнул на все и не вылезал бы из командировок. Ах, какие в Париже девочки! Неужели вас это не трогает? Не поверю! Нет, не поверю! Вы, русские, только притворяетесь, что женщины вас не интересуют...

«Чего он хочет? — соображал Голощеков, слушая болтовню американца. — Не ради же того он вертится около меня, чтобы узнать о моих взглядах на секс».

— Вы говорили, но я забыл, из какого вы института? — сыграл в наивного Голощеков.

— Из института? Ха-ха-ха... Кто вам это сказал? Я, г-н Голощеков, не из института. Институт что? Пылинка по сравнению с тем колоссом, на которого я имею честь работать.

Американец поставил стакан на низенький столик и взглянул на профессора совершенно трезвыми глазами. Он теперь не смеялся, а выжидательно и с любопытством поглядывал на Голощекова, вертя в пальцах длинную сигаретку.

— Так вы, господин Бич, как я понимаю, не ученый.

— Ну почему вы такого низкого мнения обо мне, — ухмыльнулся американец. — Моих знаний в области нефти вполне достаточно, чтобы поддержать приличную беседу. Я и в самом деле когда-то намеревался стать ученым. Но не повезло, а если проще, не хватило талантов. Вы ведь не станете осуждать меня за откровенность?

В тоне американца проскальзывали нотки иронии. «Уверен в себе, мерзавец», — подумал Голощеков, глядя на сморщенную, словно губка, физиономию своего собеседника. Иронический тон американца показался ему весьма удобным. «По крайней мере, надо выяснить, что их интересует. Это может быть полезно», — подумал он.

— Я так думаю, Бич — ваше условное имя? — с улыбкой спросил он.

Американец неожиданно рассмеялся:

— Я так и подумал, господин Голощеков, что вы примете меня за агента ЦРУ. Нет-нет, я вас не обвиняю. Основания, вероятно, у вас есть. Но в моем случае вы ошиблись. Патрик Бич — это именно то имя, которым меня нарекла мама при рождении. И чтобы уж окончательно развеять ваши сомнения, скажу прямо, что я действительно некоторое время работал в том почтенном учреждении. Но вы, видно, не совсем ясно представляете, господин Голощеков, о чем мне хочется с вами поговорить. Что меня в вас, коммунистах, всегда удивляет — так это полное отсутствие трезвого, практического взгляда на явления жизни. Вы идеалисты, присвоившие себе право владеть секретом материи. Вы сулите людям светлое царство, где нет ни бедных, ни богатых, вы придумали нового человека, которому хочется петь и работать и не нужно ни денег, ни женщин, ни власти. Неужели вы, человек широких знаний, не видите, что кругом ведется грызня за лишнюю пачку долларов, за кусок земли, за силу, за власть?

— Почему же, я это очень ясно вижу, когда пересекаю границу, — сыронизировал Голощеков.

Но американец, видимо, понял его по-своему.

— Вот видите! Это только принято говорить, что человечество стало мудрее, что на полях мировых войн родились какие-то новые, гуманные идеалы сосуществования. Да, я согласен: мир движется. Но это движение совсем другого рода, чем думаете вы. Родается новый хозяин. Да, да, господин Голощеков, в то время как правительства европейских стран ведут глупейшую возню в комиссиях и комитетах, утверждая какие-то отжившие национальные права, над их головами уже давно сомкнулись руки международных банкиров. Уже давно Европой правят не правительства, а биржа, а на бирже есть только один хозяин — всемирный капитал. О, это прекрасный пастырь, господин Голощеков. Расчетливый и бережливый. Вы, путешествуя по Европе, наверное, обратили внимание, что и мы строим для рабочих дома, и мы пускаем их в школы, и даже развлекаем их. Вы скажете, что я циник, но я просто открыве-

нен. Люди — это стадо овец, и, если мы хотим получать больше шерсти, надо, чтобы они могли сытно есть, спать, выгуливаться, плодиться и развлекаться. Дайте им все это — и вы станете хозяином. Вы мне скажете, что где-то зреют бунты, революции, где-то кричат голодные и стреляют в невинных. Это очень плохо, господин Голощеков. Это значит только, что еще не все овцы сыты...

Голощекову уже наскучила эта проповедь, которую в той или иной форме он слышал много раз. Почти на каждой конференции, где он участвовал, рано или поздно на трибуну поднимался какой-нибудь приличный господин и очень умело, значительно умнее и логичнее, чем Патрик Бич, начинал доказывать, что все беды людей состоят в том, что они верят в наивные идеи социального развития и не хотят слушать единственно верный голос — голос денежных отношений. Вступать в спор с господином Бич было бессмысленно.

«В конечном счете ему ничего не докажешь, — уговаривал он себя, чувствуя, как в боку под сердцем начинается нетерпеливая дрожь. — Ему уже все уплачено вперед... К тому же смешно: в гостях, пригласили на охоту... Может быть, для того и пригласили?»

Голощеков резко отодвинул стакан с остатками виски, спросил громко, с едва прикрытым вызовом:

— Что же вы от меня хотите, господин Бич?

— О, ничего, равным счетом ничего. Просто мы, деловые люди, хорошо знаем ваши труды... Что касается взглядов, они нас попросту не интересуют. Но нам досадно, что такой крупный специалист не имеет своей школы, своего института...

— И вы мне предлагаете... Как это у вас называется: «*Choisir la liberté*»? Избрать свободу? — спросил со злой иронией Голощеков.

— Речь не о свободе, господин профессор. Свобода... как бы это лучше сказать... — Это для газет, для беллетристов. В мире трезвых людей такого понятия не существует. В данном случае речь идет просто об ином уровне бытия.

— Но мне это уже предлагали, господин Бич. Два года назад во Франкфурте очень похожий на вас господин, только без американского акцента, убеждал меня, что мне совершенно необходимо завести «мерседес» и виллу на Сейшельских островах. Он был более откровенен, чем вы, и брался все это устроить.

— Зачем же вы отказались? — с простодушным смехом воскликнул американец, но в его голосе послышалась недобрая хрипотца.

— А вы, вы бы согласились оставить жену, детей, родину, друзей — все, чем вы жили эти годы?

— Это сложный разговор, господин Голощеков, — с какой-то новой, усталой интонацией проговорил Бич. — Речь идет не обо мне. Да мне никто и не предлагает такого.

— Рад за вас, — усмехнулся Голощеков, направляясь к двери.

* * *

Уже слышались голоса, стучали сапоги. Надо было вставать.

Вчера, после неприятного разговора с Патриком Бич, Голощеков собрался было немедленно уехать, но его уговорил остаться Анжелли. Голощеков кипятился, щеки у него подрагивали от нервного озноба. «Остаться под одной крышей с этим подонком, для которого нет ни родины, ни святыни?»

— Поезжай, — вдруг совершенно трезвым голосом устало проговорил Анжелли. (Еще несколько минут назад Василию Даниловичу казалось, что итальянец сильно навеселе.) — Поезжай, если хочешь выставить себя в глупом виде. Откуда у тебя эта гимназистская целомудренность? Идет война, война в условиях мира. Впрочем, что это я? Ты сам все понимаешь. К тому же американец уже уехал: я видел, как его провожал Кордойя. Я предполагал, что эта охота неспроста, только не стал тебя зря волновать. От этих господ трудно скрыться. Поставили точки над «i», и то хорошо. А мне хотелось с тобой поговорить... Жаль, если уедешь.

И Голощеков остался...

Возле дома сновали тени, носились с мокрыми спинами собаки. Дождь, что ли? Голощеков подошел к окну, из которого виден был фонарь: и в самом деле, в пучке желтого света сыпала водяная пыль. Этот дождь обрадовал Голощекова: повод отказать. Да, да, так будет разумнее, убеждал он себя. Еще предстоит серьезный доклад на конференции, надо быть в форме: со вчерашнего вечера он чувствовал озноб.

Василий Данилович натянул брюки, свитер и сошел вниз. В большом зале уже толпился народ. Многие прибыли прямо к охоте: вчера Голощеков их не видел. Большой пушистый ковер, украшавший вчера зал, был свернут трубой и стоял в углу. Вместо него на полу были настланы мешки. И не напрасно: уже наносили грязи. Под ногами крутились собаки — по случаю охоты их не выгоняли из дома.

Анжелли стоял возле столика с наливками и с кем-то разговаривал. Он был в сапогах, в охотничьей парусиновой куртке. Увидев Голощекова, удивленно вытаращил глаза.

— Ты что же, в таком виде и на охоту пойдешь? Иди, иди... Сходи подбери себе сапоги. Там, в комнате по коридору. Видал, какой оснасткой меня одарили?

— Да нет... Я останусь, — сказал Голощеков. — Что-то приближает.

— Ай-яй-яй, какая досада, — зацокал языком Анжелли.

Голощеков разыскивал глазами Кордойя: надо было предупредить хозяина, но в зале Мишеля не было. Наконец он появился на пороге — мокрый, решительный. Памятуя о том, что Кордойя провожал американца, Голощеков решил: разумнее всего сделать вид, что ничего серьезного не произошло.

— Дождь кончается, господа, — громко объявил Кордойя. — К рассвету, думаю, совсем развеет. Есть ветер, и это уже хорошо. Господин Голощеков? — Адвокат удивленно поднял брови, увидев профессора. — Вы еще не готовы?.. Жаль, жаль, — покачал он головой, выслушав ссылки на недомогание. На мгновение в глазах адвоката промелькнул тревожно-злой огонек. Но его поминутно окликали, требуя распоряжений, и ему было уже не до Голощекова. — Оставайтесь за хозяина, — сказал он, придерживая Василия Даниловича за спину. — В библиотеке есть удобное кресло... — и Кордойя заторопился к выходу: его уже ждали.

Уходили еще в темноте. Лишь на востоке чуть синело. В небе на горизонте обозначилась зубчатая полоска леса. Часть людей уехала на вездеходе, небольшой полугрузовой машине с брезентовым верхом. Остальные, громко переговариваясь и поминутно окликая псов, двинулись напрямик и через несколько минут скрылись в тьме. Слышен был лишь собачий лай.

Оставшись один в опустевшей зале, Голощеков от нечего делать съел бутерброд, лежащий на подносе, потом налил рюмку вина. Стало теплее. Он вернулся в свою комнату, взял плед и, укрывшись, сел в кресло. Минут через десять, убаюканный шелестом дождя, он заснул.

Проснулся, когда на улице было уже светло. О ночном дожде напоминали только лужи да отяжелевшие от влаги кусты под окном. Василий Данилович долго всматривался в уходящую вдаль пологую луговину, точно желая разглядеть следы ушедшей охоты, но так ничего и не разглядел.

Ему снова вспомнился вчерашний разговор с Патриком Бич. Кто он в конце концов? Похоже, что это просто подставной провокатор. Грубость, прямолинейность американца прямо-таки бросаются в глаза. Значит, его просто хотят сбить с толку, дезориентировать. Но какой интерес представляет личность профессора

Голощекова? Его труды? Они изданы и даже переведены на многие языки и никакого секрета, следовательно, не содержат. Знания, опыт? Но в Европе достаточно своих первоклассных специалистов в области нефтедобычи и нефтехимии, чтобы устраивать охоту именно за ним. Нет... все это не то. Дело не в личностях, и Патрик Бич лишь мелкая фигура в крупной игре. Но кто стоит за спиной этого подвыпившего американца? Мишель Кордойя? Или даже не он, а МОНГ? Вспомнилось, как Горцев незадолго до отъезда в Париж говорил ему, что, по некоторым сведениям, нынешний конгресс финансируется МОНГом. Случайные слухи? Едва ли... В кулуарах конгресса ходят разговоры о возможном создании организации стран — экспортеров нефти. Идея, впрочем, не новая. Попытка уже предпринималась несколько лет назад. Но тогда нефтяным монополиям с помощью ЦРУ удалось сорвать замысел. Однако идея не умерла. Более того, еще никогда она не была столь актуальна, как теперь. С нефтью связаны самые крупные притоки капиталов. Для МОНГа позволить создать организацию экспортеров нефти — значит согласиться на дележ прибылей. Все это более или менее понятно. Но причем здесь он, Василий Голощеков? Не связано ли все это каким-то образом с его знакомством с Анжелли, и, может быть, совсем не случайно их вместе пригласили на эту охоту? Значит, Кордойя известно об их отношениях? Но чего он добивается? Вбить между ними клин? Наивно и нелепо. Речь идет о крупных государственных интересах СССР и Италии, и их личное знакомство хотя и благоприятный, но, в сущности, малозначительный фактор...

Размышления эти волновали Василия Даниловича. Но оттого ли, что он хорошо поспал после рюмки целебной наливки, или просто оттого, что утро было солнечным, воздушным, он не чувствовал ни вчерашнего озлобления, ни ночной лихорадки.

В коридоре, когда он вышел, ему встретилась немолодая женщина в синем переднике, очевидно, служанка. Она сказала, что г-н Кордойя распорядился, если г-н профессор пожелает, подать ему завтрак в библиотеку.

— Профессор пожелает, — с улыбкой отвечал Голощеков.

Окна библиотеки выходили в сторону луга. Здесь было сухо, светло. Солнце, поднявшееся из-за леса, пронизывало его насквозь, и было видно, как в массивных шкафах золотились корешки старинных книг.

Служанка поставила на столик поднос с дымящимся кофейником и стояла в нерешительности, точно хотела о чем-то спросить и не решалась. Может быть, в это весеннее, сол-

нечное утро ей просто хотелось поговорить, а поговорить было не с кем.

— Какое славное утро, — сказала она, поглядывая с улыбкой на профессора. Она вытащила из кармана тряпицу и принялась стирать пыль с книжных шкафов.

— Если г-н профессор желает, я могу принести наливки. Хозяин говорил, что вы слегка простужены. Такая жалость... Ах, как я завидую мужчинам, — неожиданно проговорила она, видимо, выражая вслух свои, не известные профессору мысли.

От наливки профессор отказался. Кофе был превосходен.

— Вот если бы вы принесли еще несколько кусочков хлеба, — попросил он.

Хлеб был ночной выпечки, с хрустящей румяной корочкой. По французскому обычаю хлеба дали мало. Голощеков же хлеб, особенно хлеб свежий, любил.

Пока служанка ходила на кухню, Василий Данилович не спеша разглядывал кабинет. Книг было много, целое богатство, и он уже предвкушал, как, позавтракав, будет рыться в них. Но тут его внимание привлек женский портрет, висевший в проеме между шкафами.

Портретов в кабинете было немало: мужчины со звездами и атласными лентами, с породистыми лицами, в военных, судебных и статских мундирах. То были старые портреты, потемневшие от времени и местами потрескавшиеся. Портрет же дамы был сравнительно свеж, краски на нем блестели, и Голощеков несколько раз так и этак склонял голову, пытаясь лучше разглядеть холст. Изображена на нем была молодая и очень красивая женщина, но с лицом надменным и холодным. Это ощущение холодноватости еще более подчеркивалось высокой и бледной шеей. «Интересно, — подумал Голощеков, — была ли она добра, зла?»

— Г-н профессор должно быть из Скандинавии? — услышал он за спиной. То была служанка, принесшая хлеб.

— Из Скандинавии? Но почему?

— Г-н профессор говорит по-французски с небольшим акцентом... Кроме того, — несколько смутившись, добавила служанка, — у вас светлые волосы.

— Нет, я русский.

— Вот как?! — воскликнула женщина.

Профессору показалось, что вместе с изумлением в ее голосе проскользнуло что-то еще.

— Вы родились здесь, во Франции?

— Да нет же... Я из Советского Союза. А кто эта дама на портрете?

— Та, в сером платье? Я так и подумала, что вы об этом спросите.

— Интересно знать, почему?

— Когда вы сказали, что вы русский, я сразу же подумала об этом портрете. Ведь вы разглядывали именно его?

— Да, да... Очень любопытный портрет. Красоты редкой... и я бы сказал, не французской.

— Она русская, — со странной интонацией проговорила женщина. — Только еще из старой России.

— Ну, об этом не трудно догадаться, — усмехнулся Голощеков. — Только как она сюда попала? Разве это имение принадлежало кому-то из эмигрантов?

Профессор стал намазывать на хлеб повидло, вспоминая с улыбкой, как в Москве по утрам, чтобы не будить жену, он хозяйничал на кухне...

— Это один из особняков господина Детердинга, — услышал он голос служанки.

— Как, как вы сказали? — переспросил профессор. Ему показалось, что он ослышался.

— Этим домом владел господин Детердинг, — спокойно, не понимая волнения профессора, разъяснила служанка. — Только он сам редко здесь бывал: особняк был куплен на имя жены...

— Пойдите, пойдите, — всполошился Голощеков. Он встал и с несвойственной для него поспешностью подошел к портрету. — Уж не Лидии ли Павловны Кордояровой это лицо?..

— Да, это госпожа Кордоярова. Вы разве ее знали?

Профессор совершенно забыл про завтрак. Он напряженно вглядывался в глаза, холодно смотревшие с портрета.

— Нет, нет, знать я ее не мог... Дайте-ка вспомнить, — бормотал он. — Из России она уехала году, кажется, в девятнадцатом. Мне в то время было около семи лет. Где же я впервые услышал о ней?

Перед глазами встал в тусклом свете фонарей город, пропахший запахами моря и нефти. Этот запах висел над узкими каменистыми улочками, над волноломом, над кофейнями; даже базар, куда рыбаки свозили после улова рыбу, пропах нефтью. Нефтью этот город промышлял, ею жил, строился, болел. Баку...

В 1922 году по предложению нефтяного магната Генри Детердинга, стоявшего во главе англо-нидерландской нефтяной компании «Ройял-датч Шелл», в Лондоне собрались нефтяные короли. Идея была — «создать против России объединенный фронт: хитростью, посулами, увещеваниями, а если не поможет — силой добиться компенсации за национализированные нефте-

промыслы Баку. Особенно свирепствовал Вальтер Тигл, президент американской корпорации ЭККСО¹. После победы большевиков в Азербайджане, желая обойти своего соперника Генри Детердинга, он совершил роковую ошибку: перекупил у братьев Нобель половину акций бакинских промыслов. Оплотность обошлась ему в одиннадцать с половиной миллионов долларов. Это обстоятельство и делало его непримиримым врагом Советов.

Детердинг между тем вел свою политику. Подпевая Вальтеру Тиглу, он через подставных лиц вел переговоры с Москвой о закупке бакинской нефти, при помощи которой хотел подорвать позиции другой из «черных сестер»² — американской компании Рокфеллера «Мобайл». В 1923 году первые партии бакинской нефти стали поступать на рынки Западной Европы. Опыт Детердинга оказался заразительным, и в Москву потянулись черные котелки.

Примерно в то же время, когда в Лондоне заседали нефтяные короли, отец Голощекова был направлен в Баку для восстановления промыслов. Вопрос стоял чрезвычайно остро: надо было в ближайшие же месяцы наладить добычу и транспортировку нефти в Европу. Была крайне нужна западная валюта. Получить ее можно было только за нефть.

С инженером Голощековым приехала в Баку жена с маленьким Васей. Началась нелегкая, как и повсюду в то время, жизнь людей, которым предстояло поднять страну из разрухи. Инженер Голощеков почти не бывал дома.

В 1927 году Генри Детердинг неожиданно потребовал пересмотра условий уже подписанных контрактов. Для Москвы это не было сюрпризом, здесь уже знали о результатах конфиденциальных переговоров между ЭККСО и «Ройял-датч Шелл»: Тигл и Детердинг пришли к соглашению о дележе европейских рынков. Блокада красной России теперь уже обоим казалась важнее, чем распри по поводу цен. Началась долгая, затянувшаяся на несколько десятилетий борьба «черных сестер» против выхода Советской России на мировые рынки нефти.

В 1931 году Василий поступил в Азербайджанский индустриальный институт. Здесь на одной из лекций он и услышал впервые о Кордобяровой. Это была женщина чисто русской красоты, сильного характера. Ко времени революции ей было

¹ Ныне действует под названием ЭССО.

² «Черными сестрами» на Западе называют семь крупнейших нефтяных компаний: ЭССО, Тексако, Шелл, Галф, Шеврон, Мобайл и Бритиш петролеум.

года двадцать три. Она происходила из старинного дворянского рода и в революцию потеряла все. Но не только потеря имений вселяла в нее ярость против новой власти: в Крыму, в войсках Врангеля, у нее погибли почти одновременно оба брата и жених. Говорили, что в эмиграции она познакомилась с немолодым уже нефтяным королем Генри Детердингом и стала его женой. Все это было мало похоже на правду. И вот теперь...

«Так вот она какая была, эта Лидия Павловна, — думал Голощеков, всматриваясь в висящий на стене портрет. — Кордоярова... Кор-до-я-ро-ва... — несколько раз повторил он про себя. — Редкая фамилия...»

— Странно, что г-н Кордойя запрятал такой выразительный портрет между шкафами, — задумчиво проговорил профессор, делая вид, что внимательно рассматривает какую-то деталь: его беспокоила неожиданно появившаяся догадка.

— Г-н Кордойя считает, что это неудачный портрет, — откликнулась служанка. — Он сам велел повесить его сюда. Прежде он был в гостиной. Но у г-на Кордойя есть другой: миниатюра на слоновой кости. Вот там г-жа Кордоярова действительно хороша. Хозяин им очень дорожит...

— Да, — вздохнул Голощеков, — нынешняя молодежь уж так не ценит память родителей...

— Еще бы! — воскликнула служанка. — Г-жа Кордоярова вырастила его без отца, и он был к ней очень привязан. Шарль, старый камердинер, рассказывал, что этот... ну Детердинг, так и не признал г-на Мишеля за сына. Он ведь у нее еще до свадьбы родился, а старый Детердинг об этом даже и не знал. Оттого у г-на Мишеля и фамилия такая: Детердинг свою взять не позволил, так он фамилию матери переименовал — у русских, знаете, очень сложные фамилии. Кор-до-я-ров, — по слогам повторила она.

Где-то внизу зазвонил звонок. Долго, настойчиво. Профессор остался один. Он неспешно прошел в свою комнату, оделся и сошел вниз.

В нижней зале, где перед рассветом галдели охотники, рыскали собаки и пахло табаком, было свежо, солнечно. Голощеков хотел выйти на улицу и направился было к дверям, когда увидел на стуле возле стены человека. Человек этот сидел тихо, неприметно и с большим, как показалось Голощекову, любопытством, даже с беспокойством смотрел на него. Проходя мимо, профессор склонил голову, и человек, в свою очередь, тоже весьма вежливо поклонился. Он хотел даже привстать, но что-то его удержало. В руках он держал мягкую серую шля-

пу, и Василий Данилович успел заметить: руки у сидящего господина были белые, пухлые...

Голощеков вышел на улицу и пошел в сторону рощицы, взбиравшейся по склону пологого холма. Солнце светило ему в грудь и грело так сильно, что пришлось расстегнуть пальто. Влажное дыхание мокрой отдохнувшей земли охватило его. «А дома еще зима», — подумал он...

Когда через некоторое время профессор вернулся в дом, он нашел там полнейшую сумятицу. Едва он переступил порог, к нему бросилась служанка — та, что утром поила его кофе. Лицо у нее было встревоженным.

— Месье Голощек, месье Голощек, — от волнения она никак не могла выговорить его имени, — тот человек... вы его не видели?

— Что-нибудь случилось? Он сидел в зале на стульчике...

Откуда-то сверху, стуча сапогами по лестнице, сбегал мужчина. Вид у него был обеспокоенный. На лбу выступил пот.

— Ну, что, Жорж? — кинулась к нему служанка.

— Дверь в кабинет в самом деле открыта, но там пусто...

— Это прямо наваждение! Точно сквозь землю провалился. Куда он мог деваться? Не спрятался же он в самом деле...

Тот, кого служанка называла Жоржем, даже заглянул за тяжелые портьеры, висевшие по бокам высоких, в голландском стиле, окон.

— Ты в спальне смотрела? — спросил он служанку.

— Туда Сюзанна побежала. Да что ему делать в спальнях?

Было видно, что ищут пропавшего уже давно. Вид у служанки был измученный и, как показалось профессору, испуганный.

— Я думала, что он задремал, — словно оправдывалась она, — и пошла помочь Жоржу по кухне. С гостями так много дел...

От досады ли, от непонятного для профессора испуга она чуть не плакала.

— Да что вы, право, так расстраиваетесь? Не иголка ведь, — попробовал успокоить ее Голощеков.

В глазах женщины уже блестели слезы.

— Я хочу сказать... — начала она. Было видно, как у нее вздрагивают губы. — ... Я хотела вас просить... Не говорите г-ну Кордойя, что мы разрешили ему войти в дом. Но что можно было сделать? Двери были открыты. Не выставлять же человека на улицу после всего, что...

— Да кто же он наконец? — не вытерпел Голощеков.

— Как! Вы его не знаете? — в глазах служанки мелькнуло недоверие. — Разве вы не видели фотографий в газетах? Это же г-н Детоор. Отец той несчастной девушки...

«Вот те раз! — подумал профессор. — Как же я его не узнал? Анжелли показывал же мне его в газетах».

— Но почему он очутился здесь? — в изумлении спросил Голощеков.

— Я вам скажу, — почему-то оглядываясь на дверь, проговорила служанка. — Только обещайте, что вы ничего не скажете г-ну Кордойя.

— Обещаю...

— Г-на Детоора мы знаем давно, — начала служанка. — Всякий раз, как он приезжал из Амстердама в Париж, он навещался к г-ну адвокату. Не то чтоб они были друзьями, но у них были какие-то общие дела. Но после этого странного случая с дочерью все вдруг как-то переменялось. Г-н Детоор много раз звонил сюда, но хозяин приказал отвечать, что его нет дома. Вчера наконец они говорили, и я слышала, как г-н Кордойя почти крикнул в трубку: «Я увижу вас в понедельник, в понедельник, и не раньше...» Зачем он приехал теперь? Мне его так жаль... Бедный г-н Детоор...

Все, что узнал Голощеков, было в самом деле странным. Он не был любителем уголовной хроники, но в последнюю неделю не раз встречал имя Детоора в газетах. Заголовок в «Юманите» даже удивил его: «Кто стоит за трагедией Анны?». Связь между Детоором и Кордойя, которая теперь осложнялась принадлежностью адвоката к нефтяному семейству Детердингов, проливала новый свет на личность Мишеля Кордойя. Этот богатый особняк, охота, gobelены в залах, коллекция картин... Не слишком ли много даже для преуспевающего адвоката? А его неясная роль на конференции...

Голощеков даже втянул ноздрями воздух, точно почувствовал в этом доме столь знакомый ему запах нефти.

— Г-н Детоор знал о сегодняшней охоте? — спросил он.

— Не знаю, — рассеянно ответила служанка. — Он попросил, чтобы я доложила о нем г-ну адвокату, но когда я ответила, что г-на Кордойя нет дома, он, кажется, догадался об охоте... Эти мешки на полу, следы собак... Он сказал, что будет дожидаться возвращения хозяина, а я даже не могла предложить ему снять пальто. Г-н Детоор всегда был таким любезным, щедрым...

— Нигде нет, — послышался с лестницы голос Жоржа. — Мы носимся, как шальные, а он, наверное, уже подъезжает к Парижу, — раздраженно заметил он.

— Он приехал на такси, — ответила служанка. — Я видела, как машина развернулась и ушла.

— Значит, он пошел пешком до станции. Через мостик тут не больше получаса хода.

— Как же! Знает он про мостик.

— Тогда не понимаю... Надоели мне эти чудеса, — заключил Жорж. — Я иду на кухню: у меня своих забот хватает.

Чтобы скоротать время, Голощеков снова поднялся в библиотеку и принялся разглядывать книги.

«Зачем Кордойя все-таки пригласил меня на охоту? — думал он, переходя от шкафа к шкафу. — Не для того же, чтобы похвастаться имением, своей коллекцией картин... Может быть, ему просто надо было вытащить меня на время из Парижа? Я здесь, а кто-то сейчас роется в моих вещах в номере гостиницы?».

Профессор довольно хмыкнул: ему представилось, как Патрик Бич с покрасневшей от прилива крови физиономией стоит на карачках перед его чемоданом...

В первый же день приезда по совету встречавших его советских сотрудников он оставил все свои заметки в надежном месте.

— Ищите, ищите господ, — прошептал он и в это время услышал шум поспешных шагов.

В комнату вбежала служанка. Вид у нее был напуганный.

— Они возвращаются, — крикнула она с порога и заспешила к окну. — Вы что-нибудь видите?

— Ничего особенного, — проговорил профессор, пытаясь разглядеть, что в группе возвращающихся с охоты людей могло удивить или напугать служанку.

— Но они что-то несут, — прошептала та. — Вон там, в середине... Вот теперь положили... Вы видите?

Но у Голощекова от напряжения только набежали на глаза слезы.

— Должно быть, добычу... Подстрелили же они что-то...

Он вспомнил виденную им когда-то давно в книге об охотниках картинку: огромного, с клыкастой головой кабана несли на толстой жерди, продев ее меж связанными ногами.

«Нет, это что-то другое несут, — подумал он. — Это... это... человека несут...» — вдруг ударило ему в голову.

И в самом деле, теперь уже ясно было видно, что несли как-то странно, точно на носилках. «Неужто несчастный случай?..»

За окном послышался резкий скрип. На полном ходу примчалась и завизжала тормозами машина. Мгновенно послышались голоса. В библиотеке на столе у адвоката тихо тренькал телефон.

— Кто-то звонит из салона в город, — пробормотала служанка и опрометью кинулась вниз. Голощеков постоял с минуту и пошел вслед за нею.

То, что осторожно внесли и положили на разостланные мешки, было покрыто куском брезента с масляными пятнами, должно быть, вынутого из машины. Наружу торчали лишь ноги с подвернутыми штанинами. Ботинки были в непросохшей глинистой грязи...

Голощеков смотрел на эти ботинки, сохранившие местами следы гуталинного блеска, и силился вспомнить, на ком же он их видел. И вспомнил: эти из отличной шевровой кожи ботинки он всего лишь с час назад видел на господине Детооре, когда финансовый инспектор так смиренно сидел на стульчике, весь такой причесанный, ухоженный, пристойный...

В залу поспешно вошел, почти вбежал пухленький доктор, которого Голощеков видел вчера среди гостей. Помнится, он еще шутил, что по какой-то издавна заведенной традиции на большую охоту принято приглашать доктора, хотя за всю его практику лишь один незадачливый охотник угодил в яму и подвернул ногу.

Лоб у доктора был в испарине: видимо, ему было нелегко поспешать за остальной компанией. Прежде чем склониться над раненым, он долго и тщательно вытирал платком взмокшую шею, лицо...

— Ну что, доктор? — встревоженно спрашивал Кордойя.

— Еще дышит, — проговорил толстяк, пряча в карман носовой платок. — По совести сказать, надежды мало. Разворотило весь низ живота. Да и почка задета, судя по цвету крови...

На пороге послышались шаги, и в залу вошел молодой человек — тот, о котором вчера профессору шепнул Кордойя: «Художник, и очень талантливый».

Молодой человек едва держался на ногах. Увидев на полу пятна крови, он пошатнулся и зажал руками рот. Он бы, наверное, упал, не поддержи его один из охотников. Голощеков догадался, что он и есть виновник несчастного случая.

— Отведите его в ванную и дайте выпить чего-нибудь крепкого, — сказал адвокат. — Что надо делать, доктор? — обратился он к толстяку, всем видом своим показывая, что в подобных случаях он совершенно беспомощен.

— Думаю, надо все-таки вызвать из города группу реанимации.

— Считаете, что есть надежда? — быстро спросил адвокат.

— Надежды никакой нет, — сухо ответил доктор, — но это упростит последующие формальности.

— Да, да, вы правы, я позвоню, — и Кордойя заторопился к телефону.

— Следовало бы и в полицию позвонить, — подал голос один из охотников.

— Об этом не беспокойтесь, — заметил доктор. Теперь, когда на него, как на знатока, было обращено всеобщее внимание, он держался с большим достоинством и даже казался выше ростом. — Служба реанимации, получив сообщение о несчастном случае, оповещает полицию. Будьте покойны...

Кто-то предложил перенести раненого на кровать, но доктор воспротивился.

— Не на полу же человеку умирать!

— Тише, господа, тише...

В зале и в самом деле сделалось шумно. Первое волнение, первый шок от несчастья прошли, и теперь все громко и не стесняясь обсуждали событие.

— Минуточку тишины, — взывал доктор. — Он снова склонился над Детоором и стал прощупывать пульс. Когда он поднял лицо, вид у него был торжественный и мрачный.

— Кончено, господа... Пульса нет. Сердце остановилось.

Жорж принес простыню, чтобы накрыть тело Детоора, но она стала быстро пропитываться кровью, и сверху опять пришлось набросить брезент.

Голощеков стоял возле курившего Анжелли.

— Как это все произошло? — спросил он.

Анжелли пожал плечами и воздел глаза к небу.

— Толком никто не знает... Несчастный случай на охоте, — и он развел руками. — Но убей меня гром, никак не пойму, как бедняга очутился в лесу и попал под выстрел. Все шло безукоризненно. Я стоял рядом с доктором в ольховнике, на кабаньей тропе. Мы уже слышали гон псов... У меня от волнения даже задержало в ноге — ты знаешь, рана еще с партизанских времен, — я уперся спиной в ствол дерева и снял ружье с предохранителя. Казалось, я уже слышу, как трещат кусты. Кабан шел прямо на меня. И вдруг грянул выстрел. «Опередили! — подумал я. — Какая досада!» Ко мне подбежал доктор. Мы постояли несколько минут: собаки голосили уже где-то сбоку. Мы пошли на выстрел...

Щека у итальянца дернулась, он выбросил недокуренную сигарету и тут же вытащил другую.

— Ну и что? — тронул его за рукав Голощеков.

— Остальное уже совсем плохо, — морщась, проговорил Анжелли. — И кому только пришла в голову идея взять на охоту этого Штейна? Рисовал бы себе и рисовал. Оказывается,

он и ружья-то отроду не держал. Как все это нелепо... Теперь начнется следствие... Понятно, Кордойя все уладит, но нервы, нервы. Хорошо, что вас не было с нами...

Послышался сигнал приближающейся сирены, и через несколько мгновений синий пульсирующий огонек уже вспыхивал за окном. Вошли санитары. К одному из них, очевидно, старшему, засеменял доктор. Что-то шептал на ухо. Тот понимающе кивнул, но все-таки подошел к телу Детоора, приподнял накидку, посмотрел.

— Сейчас прибудет полиция. А мы здесь больше не нужны. Санитар сел за столик и стал быстро писать на бланке.

Голощеков склонился к Анжелли и спросил:

— Может, нам лучше уехать?

— Да, да, я тоже об этом подумал. Надо сказать Кордойя.

Минут через пятнадцать они уже шли к машине. Навстречу им попался торопящийся молодой человек с грустными, чуть косящими глазами. Он бросил на выходящих настороженный взгляд и заспешил в дом. «Следователь, что ли? Быстро...»

Всю дорогу до Парижа Голощеков и Анжелли не перемолвились ни словом.

ГЛАВА 5

— Не понимаю, чего ты добиваешься? — досадливо морщась, спрашивал комиссар. — Даже если у тебя и есть какие-то подозрения, на чем они основаны? Предчувствия? Догадки? Этого к делу не подошьешь. Любой мало-мальски опытный адвокат в десять минут посадит тебя в лужу. В газетах и без того полно намеков на беспомощность полиции. Не хватает еще, чтобы нас обвинили в некомпетентности. Честное слово, жалею, что дал себя уговорить на арест этого мальчишки. Кто, скажи ты мне, доказывал, что этот слабак (так ты, кажется, говорил?) расколется в два счета, стоит лишь припугнуть? А теперь ты мне ладишь, что веруешь в его невиновность...

— Но вы же видели письма Анны Детоор к нему из Амстердама, — с виноватым видом возражал следователь.

— Те, что нашлись в номере? Это ничего не доказывает. Скорее, наоборот: от любви до ненависти, милый друг, не так уж далеко.

— Но вы их читали?

— Ну читал, читал... Просмотрел... — неохотно поправился комиссар. — Точно у меня других забот мало! Никак не закроем этого дела с наркотиками... Мне старший комиссар всю плешь проел: ему, видите ли, министр звонит... Вот над чем работать надо. А ты хочешь, чтобы я по ночам читал письма иностранцев, да еще в идиотском переводе...

— Как хотите, комиссар, но мне эти письма многое открыли. Во всяком случае, в характере этой девчонки. Смейтесь или нет, а то была настоящая любовь. Такая теперь редко встречается...

— Я же говорю тебе, что я по уши в дерьме с этой лабораторией наркотиков, — начиная испытывать нетерпение, проговорил комиссар. — И давай прекратим этот ненужный спор. Не хочу из-за твоего упрямства иметь неприятности. Кордойя — человек с огромными связями. Знаю я этих международных адвокатов. Их только тронь. Мой тебе совет: ты получил Петера Штейна, вот и занимайся им. А Кордойя не трогай. Кстати, поторопись с художником: мы не можем держать его до бесконечности, не предъявив конкретного обвинения. А твои улики пока не тянут. Иди.

Габриэль уже направился к двери, но комиссар его вдруг окликнул. Он глядел теперь прямо в глаза Тиссье и в нерешительности жевал губы. Потом вздохнул, начал выковыривать скрепкой пепел из трубки. Тиссье угрюмо поглядывал на шефа.

— Не пойму, чего ты взъерился, — спросил тот как-то устало, по-домашнему. — Подумаешь, письма его поразили. Любовь... Все это смахивает на самую банальную историю, замешенную на ревности. А эта девчонка, Анна Детоор... Вот ее-то я очень понимаю! Она вытащила этого подонка из грязи, а он добрался до Парижа и вцепился в первую попавшуюся шлюху...

— Да дело-то все в том, — без всякой деликатности прервал комиссара Тиссье, — что художника вытащил в Париж Мишель Кордойя. Тут Анна ни при чем. Но зачем? Зачем? Вот где ключ к разгадке!

— Опять ты за свое... Ну что тебе дался Кордойя? Последний раз тебе говорю: пиши заключение по делу о самоубийстве. Я завтра же подмахну его у старшего комиссара — и в архив... Я хочу подключить тебя к делу о наркотиках. Вот где настоящая работа! Ты меня понял?

— Где уж не понять, — буркнул Тиссье.

Габриэль вернулся в закуток, отгороженный от общей комнаты двумя шкафами, окрашенными, как и стены, в серый цвет. Хорошо еще, что у него есть окно и виден кусок набережной с узкими, точно нарезанными ломтями, домами по ту сторону реки. У других следователей, тех, что пришли после него,

нет и этого. Так что ему еще повезло: месяца три назад старого инспектора, пришедшего в уголовную полицию еще до войны, перевели в архив, и ему досталось это место с окном.

«Может быть, старик Корню и прав, — размышлял Тиссье, поглядывая на улицу. — Дело с наркотиками на виду... Сам министр интересовался. А тут что ж? В лучшем случае бытовое убийство. Даже если здесь чувствуется коготок Кордойя, его все равно не зацепишь. Почему Петер Штейн молчит? Боится адвоката? Так некстати это их вчерашнее свидание. Только было у него с Петером начал устанавливаться какой-то контакт, проблески взаимного доверия, и вот тебе — все насмарку. Какого черта адвокату дали разрешение на встречу? Наверху легко быть щедрым. А ему теперь начинать все сначала...»

Вчера без ведома Габриэля Тиссье Мишель Кордойя явился в тюрьму «Санте» и предъявил разрешение на свидание со Штейном. Разрешение было выдано канцелярией префекта полиции. Протестовать, естественно, было нелепо. «Да, да, старик Корню тысячу раз прав. Против Кордойя, кроме каких-то пустяков, ничего нет».

Тиссье почти с ненавистью швырнул на стол протоколы допроса свидетелей. Вчера вечером вместе с письмами Анны Детоор он все передал комиссару, но тот к ним даже не притронулся. «Какая-то блошинная возня, — чувствуя недовольство самим собой, подумал он. — Какие-то мелочи».

Но через минуту рука следователя снова потянулась к папке. Морщась, точно от зубной боли, Габриэль вытащил исписанные листки протоколов.

Вероника Дидье, служанка в имении Кордойя:

«Он появился так неожиданно. Никто его не звал. Господин Кордойя условился с ним о встрече в понедельник. Да, да, я слышала разговор по телефону... Но г-н Детоор почему-то приехал без предупреждения и стал ждать. Потом неожиданно исчез. Больше я его не видела живым...»

Жорж Буланже, повар:

«Точно помню, что дверь в кабинет г-на Кордойя была открыта. Но г-на Детоора там не оказалось. Я поинтересовался у Вероники (меня удивило, что дверь была нараспашку), но она уверена, что после уборки, как обычно, плотно закрыла дверь».

Мишель Кордойя, адвокат:

«Это сплошная мистика. Просто прислуга забыла прикрыть дверь. Не представляю, что г-ну Детоору могло понадобиться в моем кабинете. Он воспитанный человек. Мы много лет работали вместе в Амстердаме и до самого последнего времени продолжали поддерживать добрые отношения. У меня от него никогда не

было секретов: мы работали ради общего дела. Разумеется, после всех этих разговоров и мистических рассказов об открывающихся дверях я просмотрел все бумаги: смею вас уверить, ничего не пропало. Думаю, все объясняется проще. После исчезновения дочери г-н Детоор, как бы это получше сказать... потерял душевное равновесие. Его приезд ко мне, каким бы он ни казался неожиданным, вполне понятен и естествен: мы с ним старые знакомые, он знает, что я опытный адвокат. Вероятно, хотел посоветоваться или просто облегчить душу. В Париже он чужак... Следует заметить к слову, что у г-на Детоора было предвзятое и совершенно необоснованное мнение о Петере Штейне, этом весьма порядочном, смею вас уверить, молодом человеке. Он почему-то считал его косвенным виновником несчастья дочери. Но это чистейшая фантазия. Именно об этом я и хотел с ним поговорить при встрече в понедельник. Я вообще считал, что самое лучшее для г-на Детоора было уехать в Амстердам, поручив все дела адвокату. Среди знакомых, за работой, он быстрее успокоился бы. Скажу, если вы не знаете, что это был очень ценный работник, и компания сделала бы для него все. Не могу понять, что толкнуло его приехать в тот роковой день».

Филипп де ля Гранж, доктор, сосед Кордойя:

«Я не впервые участвую в охоте в имении г-на адвоката. После войны в этих местах развелось много кабанов. Настолько много, что местные крестьяне жаловались на потравы посевов. Г-н Кордойя превосходный охотник, опытный, хладнокровный. Все, что произошло, — нелепая, трагическая случайность. Все было организовано как нельзя четче. Каждый знал свое место. Были приняты все обычные меры предосторожности. Люди были расставлены так, что случайность исключалась... Да, я был на месте несчастья. Я и г-н Анжелли, тоже опытный охотник, оказались ближе других и прибежали через несколько минут после выстрела. Г-н Детоор лежал на земле. Я, понятно, сразу же осмотрел раненого. Дышал он ровно, но было ясно, что рана смертельная. Да, к тому моменту, как мы подбежали, на месте происшествия были г-н Штейн и г-н Кордойя. Оба были так поражены случившимся, что на них было больно смотреть».

Мишель Кордойя:

«Во время этого ужасного выстрела я был в нескольких шагах от Петера. Верно, что у него не было опыта охоты. Но бедняга так переживал потерю Анны Детоор, что мне хотелось его хоть как-то отвлечь. Это я настоял, чтобы он шел с нами. Мы условились, что он не будет отходить от меня, чтобы в случае нужды я мог подстраховать его. Вы же знаете, кабаны весьма

свирепы... Откровенно говоря, я надеялся, что ему и стрелять не придется, и рекомендовал ему не снимать затвора с предохранителя, пока я не велю. Тем не менее я все время был настороже, и как только услышал хруст веток, бросился к Петеру, чтобы быть рядом. Мне сразу же хруст показался подозрительным. У кабанов, знаете, очень специфический треск. Я страшно перепугался и даже что-то крикнул... Что? Не могу припомнить, но, очевидно, что-то вроде: «Не стреляйте!» Но было уже поздно. Раздался выстрел...»

Все это было уже знакомо, почти заучено наизусть. Тиссье уже, наверное, в десятый раз перечитывал протоколы, и картина происшествия в целом была ясна. Вот если бы не показания г-на Дюбонне, владельца небольшого собачьего питомника в окрестностях имения адвоката. Станным представлялось и поведение дворецкого адвоката — г-на Лармино.

Что касается владельца питомника, то он рассказал такую историю.

По его словам, он специально попросил, чтобы ему выделили место на опушке леса. Г-н Дюбонне впервые вывел на охоту молодую собаку в надежде натаскать ее в общей своре, но в последний момент понял, что совершил ошибку и что в такой сложной охоте ей еще рано участвовать. Молодой пес мог испортить все дело, и он оставил его при себе, держа на поводке.

«Откровенно говоря, я скучал и клял себя, что взял неуча с собой. Чтобы не терять времени (охота слышалась где-то далеко в стороне), я решил повторить с Бертой кое-какие команды: "Апорт", "лежать..." Ну, вы знаете, дело обычное... Тут-то я и увидел идущего навстречу мне человека. Я было решил, что это кто-то из опоздавших охотников. Но когда человек подошел ближе, я был крайне изумлен: одет он был совершенно негоже к охоте: в шляпе, ботинках — словом, по-городскому. Представьте мое изумление, когда этот человек, подойдя, спросил, где ему найти г-на Кордойя. Я было принялся объяснять, что место для свидания выбрано не вполне удачно, что идет охота... Но он настаивал, ссылаясь на то, что у него известия важности чрезвычайной и что г-н Кордойя будет жалеть, если его вовремя не оповестить. Что прикажете думать? Я знал, что у господина адвоката очень важные дела... И мало ли что могло случиться. И в самом деле, господин этот, как я потом узнал, господин Детоор, был в большом возбуждении... Накануне именно я (я прекрасно знаю окрестности) и господин Кордойя разметили, где кому стоять. Лес в этой части довольно круто забирает на холм, и с опушки хорошо виден большой старый дуб. Он был еще совсем черным, даже не тро-

нулся зеленцой и выделялся на фоне леса. На этот дуб я и направил его. По распорядку господин Кордойя и молодой человек, не помню его имени, должны быть именно возле этого дуба. Больше, — заключил свои показания господин Дюбонне, — я этого человека не видел...»

В общем ничего особенного в этом рассказе не было, и Габриэль сомневался даже, прочитал ли его комиссар. Больше его занимал другой человек — дворецкий адвоката Поль Лармино, личность мрачная, молчаливая. Из него с большим трудом удалось вытянуть три слова, и эти три слова были «ничего не знаю».

Допрашивая повара, Тиссье выяснил, что по понедельникам он вместе со служанкой ездит на машине на местный рынок. Вспомнив об этом на следующий день, Тиссье подумал, что было бы недурно поговорить с ним в другой обстановке и расспросить о дворецком.

Повар Жорж, утративший вне адвокатского имения свое величие, оказался веселым, разговорчивым человеком, и Габриэлю без труда удалось уговорить его пропустить по рюмочке винца. Жорж по-мальчишески подмигнул Веронике, отдал ей несколько распоряжений по закупке продуктов и, насвистывая, повел следователя в уголовной бар, где у него оказалась масса знакомых. Очевидно, подобное распределение обязанностей между поваром и служанкой практиковалось нередко. В баре все знали о случившемся и начали было допытывать Жоржа вопросами, но тот, сделав страшную мину, сказал, что дал подписку о гробовом молчании.

Уселись они в конце длинного зала рядом с входом в туалет. Здесь было совсем пусто: день был ясный, солнечный и посетители гнездились на открытой террасе. Жорж с большими подробностями, с видимым удовольствием пересказал вчерашнюю историю, но ничего нового, по сути дела, не добавил. Тиссье уже начал жалеть, что потратил столько времени на эту поездку, когда повар неожиданно спросил: «Ну, а что рассказал вам этот Квазимодо, дворецкий?»

Уже по выражению лица повара было ясно, что он терпеть не может этого человека. Как выяснилось из дальнейшего разговора, дворецкого не любил весь дом, кроме, разумеется, Кордойя. Он был самым старым служителем в имении, и никто не знал, как давно он здесь и откуда явился. Лармино был въедлив, прижимист и, самое неприятное, считал своей обязанностью обо всех мелочах докладывать хозяину. По его наущничеству недавно прогнали шофера. Но следователя заинтересовали не эти подробности, а вопрос повара.

— Что же сказал вам дворецкий, куда он таскался на своем мопед?

Тиссье отрицательно замотал головой.

— Я вообще не знал, что кто-то из слуг выходил из дома.

— Так я и подумал...

— Что же вы раньше-то ничего не сказали? — досадовал следователь.

— Раньше... Много вы от нас хотите, — усмехнулся повар. — Нас до вашего прихода предупредили, чтоб поменьше болтали...

— Почему же вы говорите сейчас?

— А мне все равно! Меня в любом ресторане возьмут...

Так совершенно случайно Тиссье узнал, что, в то время как повар и горничная тщетно искали г-на Детоора в доме, дворецкий участия в этом розыске не принимал, а куда-то исчез, воспользовавшись мопедом.

— Скуп, как ростовщик, — презрительно вставил повар. Он все никак не мог успокоиться после своего рассказа. — А туда же, на Веронику глаза пялит... Денег полно, а ездит, как студент, на старом мопеде...

— А куда он мог ездить, вы не догадываетесь? — спросил следователь.

— Может, и догадываюсь, — задумчиво проговорил повар. — Но лучше об этом не гадать. Одного человека уже убили... Так что сами загадывайте и разгадывайте, — и с этими словами повар подмигнул Габриэлю...

Из всех показаний более или менее ясно вырисовывалось, что господин Детоор пошел в лес на розыски Кордойя импульсивно, без заранее обдуманного решения. Не ясно было другое: был ли приезд Детоора неожиданным для адвоката. Более того, не предупредил ли его дворецкий о том, что Детоор вышел в лес на его поиски.

В самом деле, куда и почему с такой срочностью этот Лармино умчался из дома, когда его личное присутствие было, казалось, столь необходимо? Разве он сам несколькими минутами раньше не приказал слугам и даже повару обыскать весь дом? У Тиссье по этому поводу вертелась в голове одна догадка: дворецкий видел, что Детоор пошел в лес, и счел необходимым предупредить об этом хозяина. Мопед для этой цели чрезвычайно удобен, на нем можно проехать и по лугу, и по лесным тропинкам. После разговора с поваром Тиссье еще раз внимательно осмотрел место, где был смертельно ранен Детоор, и убедился, что если сделать круг и подъехать с другой стороны, то на мопеде довольно быстро можно подобраться к этому самому нераспустившемуся дубу, о котором рассказывал Дюбонне. А если так?

Если так... — при этой мысли у Тиссье даже перехватило дыхание, — если так, то господин Кордойя знал, что на него может выйти человек... Знал, и тем не менее... Это была уже довольно крепкая версия, но беда в том, что под эту версию Габриэль не мог подвести ни одного сколько-нибудь существенного доказательства. Он не сомневался, что дворецкий наотрез откажется подтвердить, что ездил на встречу с Кордойя. Скажет, например, что катал в город или ближайший поселок и уж, разумеется, позаботится о том, чтобы в случае необходимости свидетели это подтвердили. Едва ли какой-нибудь аптекарь или торговец из города откажется оказать столь пустячную услугу человеку, от которого зависят регулярные и щедрые заказы из имения господина адвоката. Повар Жорж тоже следствию не помощник — без всяких экивоков и достаточно твердо он заявил, что при свидетелях своих показаний не повторит. Что же остается? Этот художник Петер Штейн, в показаниях которого за каждым словом кроется пугливая недосказанность? Но он молчит, замкнулся и не хочет говорить даже об очевидностях. А ведь сам факт его неожиданного появления в Париже окутан странной, непроницаемой тайной...

Сомнения в том, что это Петер Штейн разделался с Анной Детоор, начали закрадываться в сознание следователя вскоре после того, как он привез художника на набережную Орфевр¹.

Здесь следователь имел наконец возможность как следует разглядеть обвиняемого. Петер Штейн оказался щуплым, нервным типом с очень худыми длинными руками. Первое впечатление было не из лучших. Из предыдущего опыта Габриэль Тиссье уже достаточно хорошо знал, что такие вот бессильные, безвольные личности в припадке истерии, особенно под влиянием наркотиков, способны совершить самое мерзкое злодеяние. Но первый же серьезный разговор с Петером произвел на Тиссье иное впечатление. Может быть, оттого, что к этому времени он уже успел прочитать несколько писем Анны, написанных, судя по штемпелю, еще из Амстердама. То, что между Петером и Анной существовала сильная привязанность, любовь, носившая со стороны Анны прямо-таки материнский характер, сомневаться не приходилось. Ясно стало и то, что потеря Анны явилась для Штейна большим ударом, утратой, невозместимость которой Петер сам, судя по всему, осознал, лишь очутившись в тюрьме. Во время всего разговора со следователем он непрестанно, словно его преследовала навязчивая идея, возвращался к одной и той же фразе. «Анна была права». При этом он несколько раз начинал плакать. Но в

¹ Здесь расположены префектура полиции и Дворец правосудия.

чем была права Анна? Ответа на этот вопрос, в котором, быть может, крылась разгадка всего преступления, Тиссье никак не удавалось добиться.

Была и еще загадка. При первой же встрече Петер спросил следователя, не может ли тот вернуть ему письма Анны. Габриэль ответил тогда, что сделать этого не имеет права. Но на следующий день, вспомнив, как его отказ расстроил обвиняемого, снял несколько фотокопий и принес в камеру. Петер так бережно взял их из рук следователя, словно то были не самые обыкновенные письма, а какой-то волшебный талисман.

— Как жаль, что здесь нет ее последнего письма, — заметил со вздохом Штейн.

— Какого письма? — насторожился следователь.

— Анна прислала мне еще одно письмо, уже из Парижа, — спокойно пояснил заключенный. — То письмо, которое она написала после нашей последней ссоры. Я так и не узнал, простила она меня или нет...

— Куда же оно делось?

— Если бы я мог знать... — задумчиво проговорил Петер.

— Но вы уверены, что оно было? — спросил Тиссье.

Тогда-то Штейн и рассказал подробности того странного дня.

— Посыльный твердо сказал, что отнес письмо мне в номер, — несколько раз повторил Петер.

— Ошибки быть не могло?

Заключенный пожал плечами. Потом добавил поспешно, словно боялся, что следователь не поверит в его искренность:

— Знаете, мне было так плохо. На другой день Кордойя увез меня к себе в имение и настоял, чтобы я не ездил в Париж. Но я попросил, чтобы он сам обязательно заехал в гостиницу и узнал еще раз: вдруг письмо нашлось... Я ждал до самого вечера.

Петер спрятал лицо в руки и просидел так несколько минут, тихо покачиваясь из стороны в сторону, точно хотел себя убаюкать. Габриэль подумал, что он тихо плачет. Но когда Штейн отвел руки, глаза его были сухи.

— Я все еще надеялся, что письмо найдется, что его просто по ошибке занесли в другой номер, — успокоившись, продолжал Штейн. — Но Мишель приехал без письма. Он сказал мне, что письма, скорее всего, и не было: дежурная, по его словам, сомневается, а мальчишка-посыльный уже не может вспомнить, действительно ли это было письмо мне. Оказывается, пояснил Кордойя, писем было несколько, на разные этажи, и подобные путаницы происходят нередко, особенно летом, когда в Париж наезжает много иностранцев.

Петер помедлил, потом вдруг сказал тихо, словно для самого себя:

— Но мне почему-то кажется, что письмо от Анны все-таки было.

— Где же оно? — поспешно, может быть, слишком поспешно спросил следователь. Но художник не ответил, лишь едва заметно пожал плечами, точно дело касалось не его, а кого-то другого, совершенно постороннего человека.

И опять странным образом вырисовывались за всеми этими загадками контуры Мишеля Кордойя. По какой непонятной причине мог он утаить от Петера письмо Анны? Что там могло быть? Обиды, упреки, банальные обвинения в неверности?

— Вы не думаете, что Кордойя мог взять письмо? — спросил Габриэль.

Петер вздрогнул. Его почему-то напугал этот вопрос.

— Вы шутите?

— Вовсе нет.

— Тогда я вас не понимаю.

— А я не понимаю другого, — более уверенно проговорил следователь. — Каким образом вы, например, очутились в Париже? Ведь, судя по письмам Анны, вы не были не только богачом, но и попросту мало-мальски обеспеченным человеком. А Париж требует денег. Помните эту фразу из письма Анны: «Я знала, что тебе давно мечталось побывать в Париже, и надеялась, что к лету нам удастся собрать немного денег на дорогу и недорогую гостиницу». Вы это помните?

— Да, да... — со слабой улыбкой проговорил Штейн. Точно ему приятно было это воспоминание.

Идея съездить вместе в Париж пришла Анне еще зимой, во время болезни Петера, и она стала убеждать его, что ему как художнику просто необходимо побывать в этом городе. Она всегда умела и знала, как его успокоить.

— И я начал верить, что наша поездка в самом деле может состояться. Ведь, если рассудить, от Амстердама до Парижа не бог весть сколько езды, всего несколько часов. Билет второго класса стоит недорого.

— Недорого! — хмыкнул Габриэль. — Но к этому времени у вас не было и этой суммы. Откуда же вдруг авиационный билет первого класса, который мы обнаружили в ваших бумагах, дорогая гостиница, деньги? За какие, интересно, услуги Париж не благотворительное заведение.

Художник молчал несколько минут, точно ему впервые пришлось задуматься над таким вопросом.

— Я думаю, что у Кордойя, конечно, была своя задняя мысль. Мне кажется, он хотел сделать мне хорошую рекламу, а потом заработать на продаже картин. Ведь он купил у меня уже около десятка полотен и обещал, что купит еще. Как-то со смехом он сказал, что отпускает мне деньги в кредит под будущую славу.

— И вы в это серьезно поверили? Вы говорите, что он хотел на вас заработать, но у меня не создалось впечатления, что он нуждается в приработке.

Петер Штейн угрюмо молчал. Слышно было, как по тюремному коридору прошел надсмотрщик. Зазвенела связка ключей. «Неужели он и в самом деле верит, что Кордойя сделал на него крупную финансовую ставку? Что это — игра в наивность, житейская неопытность или самообольщение художника?» — размышлял следовательно, поглядывая на фигуру заключенного.

* * *

По Сене напротив префектуры прошла баржа. Гудок у нее был густой, сиплый. Габриэль взглянул на часы. За воспоминаниями незаметно прошло больше часа. Он выглянул в окно и увидел хвост уходящей баржи с выцветшим флагом. Площадь Сен-Мишель, часть которой хорошо видна из окна, была запружена народом, возле фонтана с фигурой архангела Михаила на асфальте сидели молодые парочки.

Неодолимо потянуло на улицу, и Тиссье почти с ненавистью отодвинул от себя папку с бумагами. Все его попытки докопаться до истины показались ему пустыми и никчемными. «Какая польза, если я докажу, что Анну убил или похитил Штейн, а в смерти Детоора повинен Кордойя? — размышлял он. — Художника засадят в тюрьму, и еще одной изломанной жизнью будет больше. Адвокат, конечно же, найдет способ отвертеться. Выходит, вся эта возня нужна вроде бы только ему, Габриэлю Тиссье, чтобы доказать, что он не даром ест хлеб и получает жалованье.

Тиссье не заметил, как очутился на улице. Солнце приятно грело лицо. На берегу Сены пахло водой, разогретым гудроном. Габриэль заглянул вниз через парапет: несколько человек с голыми спинами возились возле котла с растопленным варом — готовились заливать щели у разошедшейся яхты. Неподалеку от моста у яхт-клуба торчали мачты, повизгивали заржавевшие за зиму лебедки, плескались на слабом ветру новенькие, только что поставленные паруса.

На набережной перед мольбертом стоял художник в испачканной красками блузе и рисовал. Тиссье вдруг пришла в голо-

ву мысль сходить на выставку этого самого Петера Штейна. Может, он и в самом деле будущий Пикассо? Черт их разберет, этих художников! Сегодня он — впроголодь, а завтра, глядишь, весь мир о нем говорит.

Несколько лет назад, случаем, прячась от дождя, Тиссье забежал в «Отель Дрюон», где проходили аукционы. Пережидая, когда кончится дождь, Тиссье присутствовал при продаже одной маленькой картины. На очень темном фоне виднелись почти черные линии и штрихи, напоминавшие, если вглядеться, стремительно летящую птицу. Его поразила объявленная цена — что-то около пятидесяти тысяч франков. «Это за эту-то черноту?» — спросил он у стоявшего рядом господина. Тот взглянул насмешливо, а увидев казенные ботинки, стал объяснять наставительно: пятьдесят тысяч — это лишь начало торга, окончательная же цена будет много выше. «Это, дорогой мой, Брак-художник, под которого одно время писал даже Пикассо». И, очевидно, не удержавшись, ехидно спросил: «Месье ажан¹ интересуется искусством?».

Тиссье зашел в попавшееся по пути кафе, выпил пива и позвонил знакомому художнику — когда-то были соседями.

— У меня в предварительном сидит один парень, — пояснил он. — А у него в это время выставка в Париже. Вот и хотелось бы взглянуть — в самом деле он что-то стоит или нет...

— Э-э, дружище, это дело сложное, — начал отнекиваться художник. — В искусстве совета не проси, — но в конце концов подъехать согласился, и они условились о встрече.

* * *

— Ну, что тебе сказать? — раздумчиво выговаривал художник, переходя с Тиссье от картины к картине. — Неплохо... Некоторые пейзажи прямо-таки превосходны. Настроение... Свежесть... Простота... Но профессионализмом ныне никого не удивишь. Ты спрашиваешь, талантлив ли он? Пожалуй, да. Но такой талант нередок, особенно у нас, во Франции, где традиции подвижничества художников чрезвычайно сильны. Поехали со мной на Монмартр или в поселок художников Рюш, и я тебя познакомлю с дюжиной художников, не менее способных, чем твой Штейн. Только у них нет денег, чтобы организовать такую выставку. Талант, дружище, это не просто определенная степень способностей: талант надо открыть. Одного заметили — и он ходит в гениях, другого не разглядели, а то и намеренно

¹ Полицейский (фр.).

замолчали — и он до конца дней своих может просидеть в холодной мансарде. Возвращаясь к твоему подопечному, скажу, что в серьезный успех не верю. Нет у него дерзости, новизны...

— Словом, — перебил приятеля Тиссье, — ты бы не советовал вкладывать в него капитал?

— Капитал? Ну, это надо поискать чудака...

Серьезное и поистине неожиданное ждало следователя, когда он вернулся в префектуру. На столе лежала записка, оставленная соседом по комнате. В записке говорилось, что звонили из института судебной медицины, куда отвезли тело господина Детоора. Вскрытие, разумеется, было чистой формальностью. Никаких сюрпризов Тиссье не ждал. Телефонный звонок удивил его.

Время было обеденное. «Раньше двух не вернутся», — подумал он. Им неожиданно овладело нетерпение, предчувствие чего-то важного. Он побегал по пустой комнате, пытаясь скоротать время, рассматривал в окно прохожих, но через пять минут понял, что эти полчаса будут длиться вечность и что проще всего дойти до института пешком. Это было недалеко, возле моста Аустерлиц.

Габриэль медленно брел по набережной вдоль зоологических магазинчиков и лавок, торгующих рассадой и саженцами. Ему не хотелось прийти раньше времени и торчать в пустом, похожем на грязную станцию метро, коридоре.

В клетках, выставленных на улице, теснились голуби, горланили, почуяв весну, молодые петушки. Пахло точно на старом крестьянском рынке — навозом, соломой, землей от кадок с цветами. Кролики доверчиво высовывали носы из клеток и тыкались в ладони.

В кабинете куратора, отгороженном от общей комнаты стеклянной перегородкой, заклеенной афишами (куратор коллекционировал афиши старых кабаре), даже сквозь табачный дым (большинство работников института, как уже давно заметил Тиссье, были страшными трубокурами) пробивался приторно-душиноватый запах хлороформа. Габриэль сразу же полез за сигаретами: сколько он ни бывал здесь, всякий раз его начинало мутить. Он сдавленно кашлянул.

— Выпей-ка вот этого, — понимающе засмеялся Даниэль, наливая ему в медицинскую мензурку немного спирта. Они оба задымили — один трубкой, другой сигаретой — и вышли в длинный подвальный коридор.

— Может, все это не стоит и су, — говорил, размахивая руками, Даниэль, — я, признаться, не стал разглядывать, но раз нашли, счел за лучшее позвонить. Разбирайся сам. А меня изви-

ни, жду звонка, — с этими словами куратор ввел Габриэля в один из боковых залов и указал на немолодого щетинистого человека. — Он тебе расскажет, а я побежал. — Куратор подмигнул Габриэлю и скрылся.

Служитель, буркнув: «Подождите», пошел в другой конец зала, где во всю стену стояли разделенные на несколько уровней ящички с запирающимися дверцами. Видимо, это были холодильные камеры, потому что в зале было холодно, заметно холоднее, чем в коридоре. Тиссье решил, что сейчас ему будут показывать тело Детоора. Но служитель притащил пластиковый ящик, в котором, как оказалось, хранилась одежда финансового инспектора.

— Что же вы так плохо смотрели? А еще полиция! Идите работать на мое место. Ха-ха-ха, — засмеялся детина. Зубы у него были желтые, прокуренные.

— Да в чем дело? — раздраженно спросил Габриэль. Тон служителя ему не нравился, но ссориться с ним не хотелось. При работе следователя всякое знакомство может обернуться пользой. Поэтому он добавил самым беззаботным, на какой только был способен, тоном: — Неужели проглядел что?

— Проглядели. Ручки не хотели пачкать...

Тиссье не хуже других знал свое ремесло, и уж, конечно, не этому обросшему забулдыге учить его вести дела: прежде чем отправить тело финансового инспектора в институт судебной медицины, он тщательно осмотрел его бумаги и все приобщил к делу. Проверены были и карманы. «За исключением разве что одного», — вспомнил Тиссье. В самом деле, один из карманов пиджака, тот, что ближе к ране, был весь пропитан кровью, и Габриэль туда не полез. «Неужели именно там что-то оказалось?» — подумал он.

— Может, и был грешок, — признался следователь. — Что там?

— Вот бумага... Похоже на письмо, — сказал детина, указывая желтым пальцем в угол ящика, где рядом с засохшей окровавленной рубашкой господина Детоора валялся скомканный, с бурыми пятнами листок. Тиссье наладился было его взять, но служитель без церемоний отстранил его.

— Ручку запачкать можете, — сказал он, нагловато ухмыляясь.

Тиссье со вздохом полез за бумажником. Глаза детины стали приветливее.

— Я сейчас, я в один миг, — ловко подцепляя протянутую купюру, прохрипел служитель и, прихватив бумажку, скрылся за боковой дверью.

Через несколько минут он вернулся. Листок был расправлен, отглажен и уже не производил такого жуткого впечатления, как прежде. «Обслуживание...» — с горькой иронией подумал Тиссье, пряча бумажку в карман.

С чернеющего по ту сторону реки вокзала Аустерлиц несло железнодорожной гарью. И этот запах гари теперь показался следователю приятным. Сразу за Сеной начинался Ботанический сад, тянувшийся до новых корпусов Сорбонны. Здесь было пустынно. Несколько мамаш прогуливались с колясочками. Габриэль отыскал пустынную аллею и сел на скамью. Только теперь он взялся за бумагу. Это и в самом деле было какое-то письмо.

«...ата, что не сказала раньше, — начал он читать, не понимая еще, кто и о чем ведет речь. — Мне, как и тебе, хотелось верить, хотелось надеяться... Твой отъезд, как похожий на бегство, застал меня врасплох. Я думала бог весть что. Я потеряла голову, не могла думать ни о чем, кроме того, что ты в Париже без меня и что, может быть, рядом с тобой другая...»

Несколько строк далее были зачеркнуты. Видимо, мысли писавшего путались, перескакивали с одного на другое.

«...Эта странная фраза Самюэля, о которой я тебе говорила, совершенно выпала у меня из головы. Я вспомнила о ней лишь несколько дней спустя и ужаснулась. Ведь он упомянул имя Петер. А вдруг речь шла о тебе?..»

«Да ведь это же письмо Анны, Анны Детоор. — У Тиссье от волнения сильнее забилось сердце. — То самое письмо, о котором ему говорил Штейн и которое таким странным образом исчезло из гостиницы. Да, это оно... Но как, как оно попало к отцу Анны? И почему в письме нет начала — всего-то один листок?».

Габриэль торопливо перевернул страницу. Да, это был последний листок письма. Внизу значилась дата отправки и росчерк Анны. Сомнений не оставалось: это то самое письмо, которое было написано перед исчезновением Анны и пришло в гостиницу, где жил Петер Штейн, на следующий день после их ссоры.

От волнения Тиссье стало жарко, и он стянул с шеи шарф. Да, все становилось на места: и открытая дверь кабинета Кордойя, и эта путаница — было письмо или не было. Конечно же, эта странная забывчивость посыльного и дежурной в гостинице многое объясняет. Она с самого начала показалась ему неправдоподобной: у гостиничных служителей профессионально цепкая память. Значит, письмо было...

Тиссье с живостью, точно смотрел кино, представил себе Кордойя в номере Штейна. Вот он увидел письмо, повертел в

руке, догадался, что это от Анны Детоор. Почему-то это взволновало его. Может быть, он... Нет, об этом не сейчас... После... Письмо взволновало Кордойя. Он его вскрывает и обнаруживает, что в нем содержится что-то неприятное для него самого. А может быть, и вовсе нет? Опять домыслы. Ясно одно: в этой истории прощупываются какие-то пока еще не ясные связи. Связи, которые неизвестно куда приведут. Как много во всем этом странного...

Неизвестный художник и известный в Европе адвокат ходят в друзьях... Финансовый инспектор нефтяного треста едет за своей дочерью в Париж, а она, эта дочь, ютится в гостинице с сомнительной репутацией...

...Итак, Кордойя забирает письмо, адресованное Петеру, и на следующий день, приехав (может быть, специально) в Париж, подкупает дежурную и посыльного, и те отказываются от прежних слов. Кордойя доволен. Он настолько спокоен, что не считает нужным уничтожить неприятное для него письмо. А может быть, он специально сохранил его, чтобы использовать позднее для каких-то своих целей? В любом случае он проявляет неосторожность и оставляет письмо в кабинете... И тогда... Тогда финансовый инспектор... Боже мой! Неужели г-н Детоор, этот разбитый горем отец, которого все и он, Тиссье, среди других считали сумасшедшим, неужели он догадывался обо всем? Уже видел, чья рука протянулась в этот страшный вечер к Анне? И он, не веря тому, о чем трубят газеты, не веря мне, шел сам по следу на свой страх и риск. Его подозрения падают на Кордойя, и, воспользовавшись суматохой в доме, он проникает в кабинет адвоката и ищет, сам еще не зная, может быть, что... Обнаруживает это письмо... Все начинает понимать и тогда, пренебрегая осторожностью, бросается на розыски Кордойя — навстречу смертельному выстрелу...

Но что, что нашел он в том письме?

«...опомнившись, я понеслась к Самюэлю Хигеро, все ему рассказала и просила разузнать, что можно. Через два дня он мне позвонил. Ты же знаешь этого человека: для друзей он готов на все. К тому же он умеет помнить услуги. Мы встретились с ним в баре «У маяка», и он мне рассказал и о связях Кордойя, и о том, зачем тот приезжал в Амстердам. Я была страшно перепугана. Первой моей мыслью было немедленно сесть в поезд и ехать за тобой. Но это только взволновало бы отца. Пришлось ловчить и уговаривать его ехать в Париж. Боже, как я ругаю себя за нелепую вчерашнюю ссору. Но ведь это теперь позади? Не могу писать в письме всего, что рассказал мне Самюэль. Приду к тебе в гостиницу, и мы все обсудим и все обговорим.

Посылаю письмо пневматической почтой. Надеюсь, через несколько часов оно будет у тебя. Будь умницей, мой дорогой, берегись Кордойя и ничего не предпринимай до нашей встречи. Еще раз прости. Твоя Анна».

Тиссье откинулся на спинку скамьи и с удивлением посмотрел на дроздов, разгуливающих по перекопанному цветнику. Эта обыденная деталь весенней жизни теперь показалась ему странной, неуместной. Перед глазами стояла Анна... Облупленная тумбочка возле кровати — в номере даже не было стула, — и ей, видимо, пришлось стоять на коленях, когда она писала. В самом деле, письмо чем-то похоже на коленопреклоненную молитву.

Подумалось вдруг, что многое могло быть по-иному, получи Штейн вовремя это письмо. Случай... Как много в жизни он решает...

Ветер трепал в руке листок с расплывшимися и уже успевшими потускнеть пятнами. Тиссье сложил его, подумал, глядя на крупный детский почерк Анны: «Это письмо тебя и погубило, девочка»...

Габриэль еще около часа шагал по аллеям. Гуляющим по садику могло показаться: вот бродит рассеянный человек, не знающий, чем себя занять. И в самом деле, он долго стоял, разглядывая оторванную ветром афишку, потом смотрел, как садовники выкатывают из оранжереи кадки с зацветающими кустами, потом перешел в другой конец сада и, облокотившись на изгородь, следил за тем, как в тесном бассейне плавают и переваливаются с боку на бок морской лев. Он даже купил у старушки с корзинкой половину подсохшего батона и, отщипывая, стал бросать гусям. Старушка, получив франк, долго кивала головой, точно китайский болванчик: мерси, мерси, мерси. Тиссье зачем-то забрался на холм в дальнем конце сада и долго смотрел оттуда на разбегающиеся внизу аллеи, на темное здание палеонтологического музея, в огромных окнах которого виднелись черные скелеты доисторических гигантов, и все думал о неожиданном повороте этого казавшегося сначала столь простым дела. Смерть Анны, так похожая на исход бытовой драмы, оборачивалась чем-то иным, очень запутанным, и за всем этим угадывались еще не известные участники трагической истории...

Было уже начало пятого, когда Тиссье вышел из сада. На углу улицы Жоффруа Сен-Илер он сел в автобус и поехал в сторону бульвара Араго, где находилась тюрьма «Санте». Ему хотелось немедленно переговорить с Петером Штейном.

Когда-то тюрьма со странным названием «Санте» («Здоровье») считалась пригородной. Построена она была в середине прошлого века для особо опасных преступников. Строилась тюрьма, как и большинство зданий, из подручных материалов (а таким в Париже испокон веков считается белый ракушечник) и получилась белой, нарядной. В сравнении с прокопченными домами рабочих предместий она и в самом деле являла собой что-то чистое, здоровое. Словом, «Санте».

Тюрьма эта со временем приобрела известность еще и тем, что удостоилась чести быть одной из немногих тюрем, где, завершая акт правосудия, действовала гильотина. Здесь, за стенами «Санте», под ударами косога ножа скатились в корзину головы последних оставшихся в живых участников знаменитой, наводившей ужас на весь благочестивый Париж, группы анархистов, известной более под именем «банды Бонно». В старинных парижских кабаках о них до сих пор распевают веселые песенки...

По нынешним понятиям о расстояниях, тюрьма «Санте» находится сравнительно неподалеку от центра, и на автобусе туда минут пятнадцать езды от собора Парижской богородицы. Теперь это — черное, мрачное здание, окруженное со всех сторон домами, унылое, как казарма. Уже несколько раз тюрьму хотели снести и построить на ее месте что-нибудь более приятное для глаз, но всякий раз оказывалось, что мест для заключенных не хватает, и она все стоит и стоит.

Прежде чем войти в маленькую дверцу массивных, окрашенных в зеленое, ворот, когда-то кованых и ажурных, а впоследствии зашитых от глаз любопытствующих стальным листом, Габриэль заглянул в бар напротив, который по имени тюрьмы, но с оттенком иронии, называется «За ваше здоровье» («À votre santé»). Бар этот весьма известен в Париже.

Хозяин этого небольшого заведения, невысокий толстяк — приятель Тиссье. Зовут его месье Додо. Зовут так за то, что в ожидании посетителей он имеет обыкновение дремать, положив голову на медную стойку. Сон его так сладок, что посетителям приходится расталкивать его, и часто весьма не деликатно.

Додо одинок, жена его умерла от угара лет десять назад (как утверждают злые языки, при варке самогона). Делу свое-

му он отдается с душой: стойка у Додо всегда сияет, стаканы и рюмки звенят чистотой, пиво отменное, первейших английских сортов. Поскольку других занятий у Додо нет, то он и торчит за стойкой с утра до ночи — что очень удобно и для следователей, и для посетителей, и для охраны, и даже для тюремного начальства, которое не почитает за вред пропустить кружечку-другую доброго английского пива.

Ясно, что за годы работы за стойкой старина Додо завел бесчисленное множество знакомств по обе стороны, как он любит выражаться, справедливости. Не только инспекторы, следователи и адвокаты балуются пивком в тесном зале «За ваше здоровье»; заходят сюда и людишки «milieu» — уголовного, попросту говоря, мира. Одни завернут по пути на свидание к засевшему сотоварищу, другие — чтобы «случайно» встретить нужного следователя, третьи — испросить у старика Додо совета, ибо последний, хоть и не имеет образования, может дать очень и очень дельный совет. Во всяком случае, в вопросах взаимоотношений между «охотниками» и «дичью» он эксперт. Взаимоотношения же эти таковы, что, внимательно следя друг за другом, полицейские и milieu в иных случаях не могут обойтись без взаимных услуг. Понятно, что услуги такие оказываются на самых джентльменских условиях. И вот когда возникает потребность в таких неафишируемых договорах, помощь Додо неоценима. Додо много слушает и очень мало говорит. Вот почему забубенные воры и налетчики запросто заходят к нему в заведение и, испросив стаканчик анисовой, пьют за здоровье хозяина. Пьет с ними и Додо, зная, что, пока он умеет держать язык за зубами, ни один волос не упадет с его седой головы...

У стойки было пусто. Лишь за столиком в углу сидел незнакомый Габриэлю полицейский и вполголоса говорил с дамой в шляпке с вуалькой. Додо по обыкновению восседал на высоком табурете с газетой, изучая результаты и прогнозы скачек.

— А, Габ! — приветливо кивнул он следователю. — Что не вовремя?

Габриэль и сам знал, что пришел в неурочное время: тюремная администрация не любила, когда приходят в пересменок.

— Надо... — вздохнул он.

— Опять к художнику? Ну-ну, — ухмыльнулся Додо и в этом «ну-ну» Тиссье уловил понятный лишь для старых клиентов бара намек на то, что старина Додо что-то держит на уме.

Габриэль мигом причалил к стойке: надо было «профилактировать» это невзначай брошенное замечание. Не исключено, что Додо попросту заскучал и ищет собеседников. Такое случается...

— Тогда давай пива, — проговорил Габриэль, намекая этим «тогда», что остался не просто так, а именно из-за оброненного «ну-ну».

— Пива так пива, — с безразличием буркнул хозяин, пряча в складках жирного лица едва приметную улыбочку.

— Может, поддержишь? Угощаю... — бросил Тиссье.

Это тоже был проверенный ход. Если Додо принимал угощение, это означало, что он и в самом деле что-то знает.

— Разве что рюмочку кальва, — протягивая руку к бутылке с яблочной водкой, проговорил хозяин.

Выпили. Додо уселся поудобнее и завел обычный, теперь уже показавшийся Габриэлю бесконечным, разговор о скачках. Тиссье терпеливо поддакивал, поглядывая украдкой на часы. Пара, что сидела за столиком, ушла. Додо сходил за пустыми стаканами и неторопливо мыл их.

— Ну, мне, пожалуй, пора, — вздохнул Тиссье.

Оба помолчали. Было слышно, как в руках Додо поскрипывает стекло.

— А подопечный твой, я смотрю, — птица, — неожиданно обронил бармен. — Опять к нему адвокат приходил. Проторчал не меньше часа.

— Кордойя приходил сюда? — воскликнул Тиссье.

— На твоём месте минут пятнадцать просидел...

Додо замолк, неожиданно легко повернулся и плеснул себе в стаканчик порцию кальвадоса. Заговорил с деланным равнодушием:

— Дело твоё, принимать это на свой счёт или нет, но он мне вот какую птаху подпустил: есть, говорит, молодые следователи, которые излишне суетятся... Как бы, мол, шею не сломать. Ты, Габи, поймей это в виду. Кордойя — темная лошадка...

Неожиданный приход Кордойя к Штейну и эти странные речи старика Додо не то чтобы напугали (запугивание следователя — дело весьма обыденное), а, скорее, насторожили Тиссье. Дело становилось все сложнее и сложнее.

«Надо серьезно поговорить с Корню, — подумал он. — Без его помощи такого клубка не размотать». И вдруг Габриэль отчетливо вспомнил, как несколько дней назад, подписывая ордер на арест Петера Штейна, комиссар как-то странно поглядывал на него. А этот сегодняшний утренний разговор? А раздражительность шефа, всегда такого спокойного? Не побывал ли и там достопочтенный адвокат Мишель Кордойя?

Темный коридор был длинен и гулок. Его недавно побелили, и он имел госпитальный вид. Только запахи сохранились старые-старые — затхлые, вызывающие тоску.

Штейн встретил следователя неприветливо. Это было заметно сразу. «Кордойя поработал, — с досадой подумал Тиссье. — Если разговор получаться не будет, — решил он, — то козырять найденным письмом Анны не следует». Но знал он и другое: времени у него осталось очень немного. Если Кордойя начал действовать поверху, то очень возможно, что уже через пару-тройку дней Петер может быть на свободе. И тогда Кордойя его так припрячет, что и собаками не сыскать.

Заклученный сидел на покрытом казенным одеялом топчане — колени к подбородку. При входе следователя он даже не шевельнулся.

— Никак не привыкните к жилищу? — попробовая пошутить Тиссье, но художник не отозвался. В прошлый раз он был разговорчивее.

Следователь сел на кровать, достал сигареты. Оба закурили.

— Напрасно вы меня так встречаете, — выпуская дым, неспешно начал Тиссье. — Если кто и виноват в том, что вы здесь, так уж никак не я. Впрочем, теперь это уже не надолго...

— Когда же? — спросил заключенный, но прилива радости в его голосе Тиссье не уловил.

— Лично я не вижу повода для вашего дальнейшего пребывания в «Санте». Если комиссар согласится с моими доводами, не исключаю, что завтра к вечеру вы будете на свободе.

— Комиссар согласится, — вырвалось у Штейна. Но он тут же осекся. — Что же ему не согласиться, коли против меня ничего нет, — добавил он.

— Я вижу, г-н Кордойя вам много наобещал, — сухо заметил Тиссье. — Но имейте в виду: даже если завтра вас освободят, то адвокат ваш тут ни при чем... А я побывал на вашей выставке, — неожиданно повернул разговор следователь.

— Вы?!

— Что же тут удивительного?

— И вы разбираетесь в живописи?

— Ни на мизинец! — несколько искусственно рассмеявшись, повинился следователь. На исхудалом, посеревшем лице Штейна впервые за все время разговора промелькнуло некое подобие улыбки.

— Что-нибудь понравилось?

— А мне все понравилось, — принимая простодушный вид, ответил Тиссье. — Только ведь мое мнение не много стоит. — Тиссье помедлил, отвернулся и, кося взглядом на Петера, неожиданно добавил: — Но я был не один...

— С комиссаром? — с горечью пошутил заключенный.

Было, впрочем, заметно, что настроение его несколько изменилось. «Возможно, на него все-таки подействовала весть об освобождении», — подумал Тиссье.

— Комиссар такой же знаток, как и я. А был я с приятелем, художником, как и вы, — добавил он.

Следователь смотрел на Петера и думал о том, что они с ним почти ровесники. «Это он из-за худобы выглядит моложе». Ему вдруг стало жалко этого человека. Со своей вытянутой шеей, костистыми плечами, тонкими запястьями он казался беззащитным, хрупким.

— Мой приятель в восторге от ваших картин, — скорее из сочувствия, чем из расчета, солгал следователь.

— Это правда? — тихо спросил Петер, и глаза его ожили.

— Какой мне смысл врать, — уже почти раскаиваясь, что сказал неправду, ответил Тиссье. Но деваться было некуда, надо было продолжать начатую игру. И он сказал: — Вы только возгордитесь и не станете разговаривать с не известным никому следователем.

— Ну, что вы... — одними губами пролепетал художник. Улыбка у него была стеснительной, доверчивой, и следователю снова стало стыдно за ложь. Но другая мысль уже покрыла стыд: не без тщеславия он подумал, что ему удалось-таки разбить стену недоверия.

— Мне нужна небольшая помощь с вашей стороны, — осторожно начал Тиссье. — Если хотите знать, лично я убежден, что вы ничего не имели и не могли иметь против бедняги Детоора. Но в этой трагичной случайности есть что-то не ясное для меня. Есть детали, которые никак не согласуются... Я уже рассказывал вам о странном поведении самого г-на Детоора. Но есть еще один человек, чьи поступки не находят объяснения. Хотите, расскажу вам свою версию того, что произошло на охоте? Буду просить вас лишь об одном: дайте мне знать, если я ошибаюсь...

И следователь начал неторопливо, стараясь не упускать деталей, рассказывать все, что уже знал об охоте. Он несколько раз останавливался, чтобы уточнить ту или иную мелочь. Когда рассказ подходил к концу, Тиссье неожиданно спросил:

— Скажите, Петер, у вас были с собой часы?

— Я не совсем понимаю, почему это так важно, — пожал плечами художник. — На мне были те же часы, что и сейчас.

Заключенный вытянул из грязного манжета руку и показал свои старенькие, с поцарапанным циферблатом часы.

— Я это тем более хорошо помню, — добавил он, — что устал от долгого ожидания и частенько поглядывал на стрелки. А почему вы об этом спросили?

Следователь встал с постели, несколько раз прошелся по узкой камере. Он точно еще раз хотел проверить самого себя. Тисье подошел к оконцу — небо было выцветшим, не голубым и не серым. Не было ни облачка, ни просвета — точно то было не живое небо, а затертая клеенка. «Тоска, тоска...», — подумал он и повернулся к Петеру.

— А спросил я вас потому... Видите ли, Петер, в вашем первом рассказе (помните, в имени адвоката?) получается, что вы и г-н Кордойя (который, как он утверждает, неотступно был подле вас) спокойно дожидались появления кабана до тех самых пор, пока не грянул тот роковой выстрел...

— Но так оно и было! — воскликнул Штейн.

— В общих чертах так, — мягко поправил следователь. — Скажите-ка, во сколько это произошло?

— Где-то в половине одиннадцатого... Время тянулось медленно, и я как раз перед этим взглянул на часы.

— Так вот... Около десяти часов... — следователь теперь смотрел на художника не отрываясь... — около десяти часов к вам кто-то подходил. Ведь так?

— Та-а-а-ак, — протянул Штейн. В его глазах промелькнуло удивление, сомнение. — Но... что же в этом такого. Этого никто не скрывает...

— Но и никто не говорит об этом, — в тон художнику отозвался Габриэль.

— Меня не спросили, я и не стал... Что это меняет?

— Во время нашего первого разговора я вас не мог об этом спросить, — спокойно проговорил следователь. — Я многого еще не знал.

Тисье говорил мягко, вкрадчиво, но внутри него начал подниматься нервный озноб. Он бросил в угол недокуренную сигарету, достал другую и, когда прикуривал, заметил, что зажигалка у него в руке вздрагивает. Он покосился на Петера, и ему показалось, что его волнение передалось и художнику. Тот вдруг встал, сделал движение рукой, точно хотел что-то спросить, но тут же снова сел и подсунул под себя руки. Тисье подумал, что и он сам делает точно так же, когда хочет скрыть дрожь, — руки всегда выдавали его.

— Дайте-ка и мне сигаретку, — попросил Штейн, и в его тоне промелькнул намек на понимание. Петер несколько раз с жадностью затянулся, поглядел на тлеющий огонек, сказал с хрипотцой: — Я вначале решил, что это кто-то из охотников...

— Но у него не оказалось ружья... Так? — быстро вставил Тисье.

— Его и не могло быть. То был дворецкий Мишеля — Лармино. Просто в низине была такая глушь и темень, что я не сразу его признал. Лармино оставался дома, чтобы все подготовить к обеду. Мишель почему-то придавал этому обеду большое значение. Впрочем, вы знаете: у него были важные гости...

— Так, — удовлетворенно кивнул головой Тиссье. — Теперь слушайте дальше... Дворецкий подошел и отозвал адвоката в сторону. Вы, как я понимаю, не слышали, о чем они говорили, да и Кордойя вам об этом не сказал.

— Отчего же? Сказал... Похвалил дворецкого: тот, оказывается, специально приходил оповестить, что к обеду все готово. Меня, надо сказать, это мало интересовало...

— Я так и думал, что он скажет что-нибудь в этом роде, — прошептал следователь.

— Так вы знаете, зачем приходил дворецкий? — удивился Штейн.

— Да, знаю, — проговорил следователь, поднимаясь с койки.

— Зачем же? — едва слышно спросил художник.

— Затем, чтобы предупредить адвоката, что на вас выходит г-н Детоор.

Тиссье показалось, что в какой-то момент рассказа художник уже догадался, что он хочет сказать, и все-таки слова его произвели на Штейна впечатление новости ужасной: кровь отхлынула от лица, и оно приобрело синюшный оттенок. Но через несколько секунд на его скулах стали прорисовываться неровные красные пятна.

— Кордойя знал об этом? — силло спросил он. — Но почему...

Штейн задыхался. Язык не слушался его, глаза странно закосили, и Тиссье испугался, что с ним приключится припадок. Он схватил Петера за запястье и крепко сжал.

— Что, что произошло в этот момент? — быстрым шепотом спросил Габриэль, все сильнее сжимая руку художника.

— Стреляйте! Стреляйте же, черт возьми! — каким-то не своим, срывающимся голосом прокричал Штейн. Лицо у него было потным, и рука, сжимаемая следователем, мелко дрожала.

— Это слова Кордойя?

Художник судорожно закивал головой. Плечи его затряслись. Тиссье не пытался его успокоить. Но Петер неожиданно быстро пришел в себя. Когда он отнял руки от лица, оно было неприятно злым, точно окаменелым, и лишь губы нервно вздрагивали.

— Вы врете! Вы все это врете! — резко выкрикнул Штейн и вдруг презрительно хмыкнул: — Хорошо, что Кордойя преду-

предил меня. Он знал, что вы придете хитрить и мести хвостом. Что? Что вы можете сделать для меня? Что вам от меня надо?

— Я вытащу вас на волю... — проговорил Тиссье. Он был растерян и не знал, что предпринять. Такого конца разговора он никак не ожидал.

— Ха-ха-ха, — затрясся в нервном смехе художник. — Вы теперь хотите выпустить меня на волю! А зачем меня здесь столько держали? Я... я подам на вас в суд. Я буду жаловаться! Вы дорого заплатите! — почти визжал он. — Все вы из одной шайки. Вам на все наплевать. Для вас люди — не люди, а кусок дерьма. Что плохого вам сделал Мишель Кордойя? За что вы его ненавидите? За то, что он богаче вас, за то, что он свободен и ему наплевать на все ваши крючки? Да, да, он свободен, потому что богат, и это не дает вам покоя. Вам хотелось бы всех, всех засадить за решетку... Уходите! Зачем вы пришли?

Маленькие, костлявые кулачки Петера Штейна тряслись возле самого лица следователя, губы дергались. У него была истерика, и, наверное, он кинулся бы с кулаками на Тиссье, если бы тот не был так спокоен. Сколько он уже видел подобных истерик, мнимых и настоящих, разыгранных по всем канонам актерского искусства и наивных, которых потом заключенные сами же и стыдились, униженно прося забыть, простить. Обычно Тиссье выходил за дверь — это действовало успокаивающе: для истерики нужна публика, без нее она быстро угасает. Но сейчас, глядя на Петера, он не чувствовал ни обычного в таких случаях раздражения, ни неприязни. Болезненное, жгучее сочувствие сдавило ему горло. Он отступил на шаг и отвернулся...

Через несколько минут он услышал, как скрипнула кровать. Габриэль обернулся. Художник сидел на постели, зажав ладони меж колен. Глаза его были тоскливы, как крик чаек на пустынном берегу.

— Что же вы не уходите? — спросил Штейн, но уже едва слышно, как бы сомневаясь в самом праве задать такой вопрос.

— Уйти я могу, — проговорил Тиссье. — Но перед этим я хотел бы показать вам одно письмо...

Следователь помедлил, ожидая ответной реакции заключенного, но тот не отозвался ни словом.

— Помните, вы говорили мне, что ждали одного письма... но что оно бесследно исчезло...

— Письмо Анны?

Тиссье кожей почувствовал, что от того, как Штейн произнес эти два слова, в камере стало точно холоднее. Не говоря ни слова, он протянул Петеру листок.

— Это оно... Это оно, — услышал он через минуту молитвенный лепет.

Художник был так поражен появлением письма, что даже не заметил потускневших пятен крови. Он прочитал письмо раз, потом другой. Губы его двигались, потом вдруг сжались.

— Но это конец... Где же другая страница? — вопросительно глянул он на следователя.

— Другой страницы у меня нет.

— Так где же она?

— Не знаю... Возможно, у г-на Кордойя, — как можно спокойнее проговорил Тиссье. В его поединке со Штейном наступил решающий момент. Или он сейчас скажет ему все, или окончательно замкнется, и тогда можно будет считать, что победа досталась Кордойя.

Тиссье с каким-то безразличием, с неким даже ожиданием облегчения подумал о втором варианте. Ему впервые пришлось столкнуться с таким делом. Он очень устал, издергался. «Действительно, — мелькнула мысль, — можно будет сегодня же выйти из этой небезопасной игры... Даже взять пару дней отпуска...»

— Как — у Кордойя? — не понял заключенный. — А... а...а... откуда у вас письмо? — спросил Штейн и только теперь заметил, что листок запятнан подтеками крови. Ужас изобразился на его лице. — Это... кровь?..

— Листок нашли на теле г-на Детоора в морге. При осмотре на даче адвоката его пропустили. Карман был весь залит кровью.

— У кого? — все еще не мог понять Петер. — У Детоора? Но как оно попало к нему?

Тиссье усмехнулся.

— А вы до сих пор не догадались... Вспомните... — Следователь подошел к койке и сел совсем близко к Петеру. — Вспомните, я рассказывал вам об обстоятельствах охоты и о неожиданном появлении в доме г-на Детоора. Я упомянул тогда об изумлении слуг: дверь в кабинет адвоката, которая, по всем свидетельствам, была прикрыта, оказалась отворенной насчет. Никто не придавал этому большого значения. В том числе и я. До того ли было? Мало ли случайностей? Сквозняк, просто забывчивость... Но теперь все выглядит по-иному. Финансовый инспектор уже догадывался о чем-то, подозрение его пало на адвоката и... воспользовавшись сумятицей в доме, он проник в его кабинет. Там-то он и обнаружил письмо...

— Значит, тогда в гостинице письмо все-таки было?

— Было. Но его перехватил Кордойя. Вначале, вероятно, из любопытства, из предчувствия, может быть, из какого-то

тайного опасения. Вы ведь ему рассказывали о своих отношениях с Анной Детоор?

— Я действительно как-то сказал ему, что Анна не верит в затею с выставкой. Может быть, говорил еще что-то... Теперь не вспомню. Я был тогда как во сне. Все эти приемы, рестораны, новые знакомства. Все было так неожиданно...

—... Словом, у Кордойя были основания опасаться влияния Анны. Он вскрывает письмо и обнаруживает там что-то такое, что его сильно напугало, и он делает все, чтобы письмо не попало к вам. Вспомните, как служащие гостиницы один за другим стали отказываться от своих прежних слов.

— Но что Анна могла знать такого, что могло испугать Кордойя? — спросил с жаром художник.

— Вот это мне пока не известно. Ясно одно: адвокат почувствовал, что Анна Детоор не просто вздорная девчонка, обиженная неверностью, но что опасна для него.

Следователь осторожно взял письмо из рук Петера Штейна, нашел нужное место и прочитал:

— «Мне стало страшно, я поняла, что обязана тебя предупредить, что они замышляют...»

— Вы понимаете, о чем идет речь? — спросил следователь.

Художник пожал плечами — жест, который еще полчаса назад можно было бы истолковать как «мне все равно», но теперь на его лице было беспокойство, почти испуг.

— Речь шла, и это ясно, — продолжал следователь, — о чем-то серьезном. Это письмо... К сожалению, мы не знаем, что было на первой странице... Но у меня почти нет сомнения, что именно оно поставило Анну под удар.

Тиссье положил руку на спину Штейна, точно желая предупредить об ударе, который ждет и его. И почувствовал, как под рубашкой вздрогнуло и одеревенело тело Петера.

— Вы думаете... Вы считаете... — прошептал он.

— Да, Петер, да, Анна Детоор была выкрадена и, возможно, даже убита... И если вы хотите, чтобы негодяй был найден, мы должны узнать почему...

Они долго сидели молча. Из коридора доносились звуки, вначале казавшиеся Габриэлю странными, а теперь, после многих посещений «Санте», такими обыденными — звуки тюремной жизни: гулкий звук шагов, грохот ботинок по металлической лестнице, ведущей на верхние этажи, иногда звон ключей и лязг отодвигаемого засова. Смена надзирателей уже прошла, и это время было самым спокойным в тюрьме: почти не слышалось голосов, и только с улицы, приглушенный толстыми стенами, доносился стук отбойного молотка — еще подходя к

тюрьме, Тиссье видел, что на бульваре Араго ремонтируют дорогу.

— С чего же нам начать? — спросил едва слышно Петер.

— Наверное, с самого начала. С вашего неожиданного приезда в Париж, — спокойно, как говорил бы со старым знакомым, ответил Тиссье.

— Вы считаете, что этот приезд не случаен?

— Боюсь, что так, Петер. Давайте уж будем до конца откровенны, хотя...

— Хотя это может быть и больно? — с улыбкой, в которой было больше горечи и тоски, чем улыбки, спросил Штейн.

— Да, может быть, больно... — как бы раздумывая, проговорил следователь, и вдруг ему захотелось рассказать этому почти незнакомому человеку о том, о чем он сам думал уже давно и что отравляло ему жизнь: о своих собственных сомнениях в доброте этого мира, мира, который рождает так много художников, поэтов, просто добрых и славных людей, и из которых потом, корежа и ломая спины и сердца, жизнь делает жалкие человеческие отбросы, ту грязную, зловонную пену, которая по ночам кипит и выползает из мрачных, промозглых подворотен городов, носящих самые красивые имена земли. И он заговорил несвязно, путаясь и забывая, о чем говорит, забывая даже о том, что он в тюремной камере и что перед ним не исповедник, а человек, о котором еще несколько дней назад он думал как о негодяе и убийце...

— Я не знаю, талантливый ли вы художник. Но сколько я их уже видел... талантливых... Поверьте мне, я уже почти пятнадцать лет в этом городе и из них около десяти — в полиции. Я вам скажу, что художникам значительно чаще, чем об этом можно подумать, приходится иметь дело с полицейскими. Просто об этом мало говорят. Куда интереснее расписывать ограбление банка или налет на игорный дом, как недавно в Довиле. Да и кого удивишь в Париже, если бедный художник выбросился из окна, открыл ночью газ или вскрыл себе вены. В этих тихих, как полет ангелов, смертях нет даже романтики воровского мира, которая так привлекает молодых следователей. Это серая, самая обыденная и самая настоящая жизнь. Большинство из тех, кто в семнадцать лет провозглашает себя гениями, талантами, искателями нового слова, к тридцати годам превращаются в заурядных обывателей или гибнут, не успев осветить даже переулочка, в котором ютятся. И знаете, почему? Потому что они никому не нужны, их никто не ищет, никто не замечает... — Тиссье перевел дух, посмотрел в лицо Штейна, ища встречи с его глазами, точно хотел испросить молчаливого извинения за свои слова. Потом добавил спокойнее: — Вот по-

чему я не перестаю задавать себе вопрос: зачем господин Кордойя вывез вас из Амстердама?

— Он коллекционер...

— Да кто же возражает против этого? Но знаете ли вы, что его коллекция — это не те картины, которые он вывесил у себя в замке? Настоящая его коллекция хранится в банковских сейфах Ротшильда на улице Сюфрен. Полиции, Петер, бывают известны многие факты... Хотите знать, кого собирает ваш покровитель? Ватто, Фрагонара, Буше. Исключительно тех, кто имеет твердую и все растущую котировку. Если господин Кордойя и игрок в мире искусства, то игрок очень расчетливый.

Тиссье замолчал и поудобнее уселся на кровати. В камере было сыро, холодно, и он подсунул под себя руки.

— Я этого не знал...

Эти сведения о коллекции Кордойя, которым следовательно не придавал особого значения, произвели на художника неожиданно сильное впечатление.

— Он всегда говорил мне, — в голосе Петера звучала обида, — что его истинная страсть — современная живопись... Это верно, что вы говорите? — все еще сомневаясь, переспросил он.

— Так же верно, как и то, что за недавно купленного Ватто он отвалил триста тысяч франков.

В коридоре стало шумнее. Слышались скрипы, звон замков. Тиссье взглянул на часы. Как долго они просидели! Лязг послышался и около камеры Штейна: принесли еду. Легкий парок вился над помятой миской. Тиссье потянул носом. Пахнуло прелью. Тиссье вспомнил, что перед тем, как уйти из бара старика Додо, он попросил его сделать пару бутербродов с колбасой. За разговором он совсем забыл об этом. Он вытащил сверток и протянул один бутерброд художнику. Правилами внутреннего распорядка тюрьмы это запрещалось, но администрация на такие мелочи смотрела сквозь пальцы. Поглядывая друг на друга, Тиссье и Штейн жевали.

— Я бы не хотел, чтобы Кордойя приходил ко мне завтра, — вдруг проговорил Петер.

— Он что, обещал?

— Нет, но он является так неожиданно...

— Хорошо, я позабочусь об этом, — пообещал следовательно.

Они доели бутерброды, стряхнули крошки и, посмотрев друг на друга, улыбнулись.

— Ну, двинулись дальше? — спросил Тиссье.

Петер кивнул головой. Его лицо заметно оживилось. В глазах появилась жизнь. Он встал и заходил по камере.

— ... Все время речь шла только об одном — об организации моей выставки. Но занимался всем Кордой: договаривался об аренде зала, о цене, вел переговоры с декоратором, осветителем. Я при всем этом только присутствовал. Время от времени он советовался со мной по какому-нибудь пустяку, но я чувствовал, что он делает это больше для моего удовольствия.

— И за все это время он вас ни о чем не просил? Не делал никаких намеков?

— Это-то меня и смущало... Вы напрасно думаете, что у меня не было сомнений. Были, все было... Но его бескорыстие, щедрость меня увлекли. В самом деле, размышлял я, ну что я ему, зачем? Ни имени я не имею, ни состояния. Я пытался найти хоть какую-то корысть. Но ведь ничего!

— Никакой странности? Ничего необычного ни в поведении, ни в словах?

— Право, ничего... Разве что...

— Что? — насторожился Тиссье. Но и здесь его ждало разочарование. То, что сказал ему Петер, не имело никакого отношения к расследованию.

— ... В последнее время, — пояснил Штейн, — он стал подсовывать мне русские книги: Чехова, Тургенева, кого-то из современных...

— Но почему?

— Вероятно, потому, что я русский...

Видимо, на лице Тиссье появилось такое глупое выражение, что художник не мог удержаться от улыбки. Несколько мгновений следовательно, не мигая, смотрел на него.

— Вы?.. Не может быть... — наконец промолвил он.

— Может, — усмехнулся Петер.

И он в самых кратких словах рассказал следователю то немногое, что знал о себе.

— И вы ничего не помните из своего детства? — с недоверием спросил Тиссье, выслушав исповедь Петера.

Штейн задумался и, чуть покачиваясь, долго смотрел в потолок, точно хотел разглядеть в разводах отсыревшей штукатурки знаки своей прежней, выпавшей из памяти жизни.

— Так... какие-то мелочи. Иногда что-то всплывает во сне, — продолжал Петер, — но днем я ничего не помню. У вас так не бывает? Знаете... когда смотришь в окно и на улице идет сильный дождь, по стеклам текут потоки воды, и кажется, что на улице что-то есть, что-то движется, смотрит на тебя. Иногда так ясно, точно осветилось молнией, увидишь какую-то деталь, но потом опять все застилает дождем.

— Да, да... это бывает, — кивал следователь, думая о странной: и теперь уже менее понятной судьбе человека по имени Петер Штейн. «Вот и еще одна загадка, — пронеслось в голове. — И уж этой-то мне, наверное, не разгадать».

— Книги, которые давал вам Кордойя, были на русском или в переводе? — спросил Тиссье, вспоминая о своей роли следователя.

— Только на русском. Ему почему-то хотелось, чтобы я оживил русский язык. Он сам, когда мы оставались наедине, все старался говорить по-русски. А потом, за несколько дней до охоты, вдруг сказал мне, что хочет познакомить меня с одним интересным человеком. Вы его не видели? Он был в имении во время охоты. Русский профессор, господин Голощеков.

— Художник, как и вы?

— Ну что вы! Вовсе нет. Он нефтяник. В Париж приехал на конгресс.

— На конгресс? Какой конгресс? Он что, советский?

«Нет, это черт знает что! Это какой-то лабиринт. Чем дальше идешь, тем больше плутаешь!» — чертыхнулся про себя следователь.

— Вот видите, — услышал он голос Штейна. Впервые за все время разговора он залился нервическим смешком, — вот видите, и я вас чем-то удивил.

— Не понимаю! Ничего не понимаю, — развел руками Габриэль...

Домой, в свою холостяцкую каморку, Габриэль вернулся совершенно разбитым, с тяжелой головной болью. Дело, которое, как он думал, уже близилось к завершению, приобретало совершенно иной масштаб, точно кучка земли, оставленная на поверхности кротом, вдруг стала расти, расти и превратилась в огромный холм, а за этим холмом уже вставали другие, еще более высокие холмы, и где-то на горизонте еще чуть приметно синели горы. Всплывали совершенно не известные следствию лица. Кто этот профессор Голощеков, почему он знает Кордойя, почему о нем известно Петеру Штейну? Что это за таинственная личность из Амстердама — Самюэль Хигеро — тот, о котором так расплывчато говорится в письме Анны Детоор? Почему Анна возлагала на него какие-то надежды? При разговоре с художником почти никаких подробностей об этом Самюэле выяснить не удалось. Петер знал только, что он испанец, что после победы Франко обосновался в Голландии, был дружен с Анной. «Кажется, он работал с ее отцом в одном учреждении — в этом МОНГе», — добавил Петер.

«К дьяволу! К дьяволу! Выбросить все из головы и завтра же заняться наркотиками», — убеждал себя Тиссье. Приняв несколько успокоительных пилюль, он завалился на диван и вскоре уснул.

ГЛАВА 6

В разгар конференции Кордойя получил телеграмму от Хоорста. Срочность, с какой его вызывали в Амстердам, а более того, сам тон директорской депеши, сухой и холодный, насторожили адвоката. У него были некоторые основания предполагать, что им недовольны в правлении МОНГа. Предчувствие надвигавшихся неприятностей усиливалось и оттого, что он знал: в штаб-квартире корпорации уже несколько дней идет секретное совещание директоров и консультантов. Его, Мишеля Кордойя, на совещание не пригласили. Неприятный симптом. Конечно, о причинах секретной встречи можно догадаться: в прессе все настойчивее муссируются слухи о стремлении нефтедобывающих стран к объединению. Вероятно, разрабатываются контрмеры. Но это лишь догадки. Может быть и другой повод. Например, в связи с советскими нефтяными делами.

Несколько дней назад Кордойя присовокупил к своему обширному «русскому» досье вырезку из еженедельника «Петролеум уикли».

«Россия обладает огромными природными богатствами, — писалось в статье, — и это ставит ее в ряд крупных производителей нефти. А советский опыт освоения ресурсов на основе государственной монополии и планирования является опасным искусом для других стран».

Это звучало предостережением.

Поджидая Хоорста, Кордойя старался предугадать возможный ход разговора. Его собственные акции и положение в МОНГе всецело зависели (и на этот счет адвокат не строил иллюзий) от ценности той информации, которую он мог добыть о русских нефтяных делах. До сих пор ему удавалось быть на высоте. Сейчас он опасался только одного: как бы сведения директора Хоорста о советской нефти не превосходили его информированности, которая зиждилась на давних, еще довоенных связях с американской разведкой.

Вид у директора был озабоченный.

— Поступают сведения, — без обиняков начал он, — что итальянцы ведут предварительные переговоры с русскими по по-

воду покупки советской нефти. Французы тоже проявляют интерес: к нам попала копия меморандума одного из ответственных работников министерства энергетики. Не высказывая своего личного мнения, он приводит весьма неприятные для нас данные: закупка нефти в Советском Союзе сможет улучшить платежный баланс Франции. Конечно, от бумаги даже крупного чиновника до решения правительства путь долгий. Но вы же знаете темперамент генерала де Голля и его отношение к России. Если подобная бумага попадет к нему на глаза, ручаясь, что нам придется потесниться на нефтяных рынках Франции.

Директор нервно ходил по кабинету. Кордойя хотел подняться, но тот сделал ему знак сидеть.

— Нам стало известно, что находящегося в Париже советского специалиста по нефти приглашали для беседы к заместителю министра энергетики. Что это за человек?

— Профессор Голощеков? Известный ученый-нефтяник. Один из тех, кто теоретически обосновал возможность залегания нефти в Сибири. Сам принимал участие в развитии многих нефтеносных районов. Работал по разведке нефти в Индии. Читал лекции в Сорбонне. Сейчас делегат конференции по нефти от Советского Союза. Очень активен...

— Да, да, я слышал, что советские часто используют своих видных граждан для установления контактов на Западе. Что ж, — вздохнул Хоорст, — ничего не могу сказать: умно, и еще раз умно. Это дает возможность свести к минимуму чиновничью осторожность, нерасторопность и начать дело сразу на хорошем уровне.

Директор подошел к столу и нажал на кнопку. Вошедший молодой человек почтительно склонил голову, и директор что-то зашептал ему на ухо. Через минуту секретарь вернулся с папкой в руках.

— Я хочу вам показать, дорогой Мишель, — принимая ласковый тон, проговорил Хоорст, — во что нам могут обойтись визиты таких вот профессоров, как Голощеков. Полюбуйтесь-ка.

И директор протянул адвокату несколько листов бумаги. На верхнем типографским способом была отпечатана шапка — «Национальный совет по нефти» (Вашингтон).

— Эти цифровые выкладки — плоды усердия американских экономистов. Хочу заметить в скобках, что такой подсчет следовало бы сделать и нам, и не сегодня, а несколько лет назад. Наша вина в том, что мы все еще находимся под очарованием столь приятных для нас довоенных концепций. У нас

еще немало чудаков, которые принимают Россию за ребенка, только начинающего шевелить ножками, тогда как это уже взрослый детина. Как вам нравится эта цифра? — и с этими словами директор сунул свой белый с аккуратно подстриженным ногтем палец в одну из колонок.

То, на что указывал г-н Хоорст, были выводы анализа экспортных возможностей СССР по нефти.

— Да-а-а, — вздохнул Кордойя. — Боюсь, что скоро нам придется потесниться.

— Очень тонко подмечено, — иронически заметил директор. Он отошел к окну и долго смотрел на простиравшееся внизу море, точно хотел найти успокоение в его тяжелой, величавой безбрежности. Его сутулая спина воплощала скорбь и усталость.

— Собственно, я вызвал вас не для этого разговора, — оборачиваясь, проговорил Хоорст. — Мы ведь с вами старые нефтяные волки и видали не такое. Но благодумствовать теперь не время. . .

Хоорст пожевал губами, подозрительно поглядывая на Кордойя. Он словно пытался оценить, следует ли ему доверять то важное дело, о котором он не переставал думать в последние дни. Кашлянул, сказал сухо:

— Я только что получил данные, подтверждающие, что г-на Анжелли назначат главой итальянской государственной компании нефти и газа. Вы об этом слышали?

— Разумеется! — поспешно отозвался Кордойя. — Анжелли сейчас как раз в Париже, и днями я охотился с ним и с профессором Голощековым на кабанов в моем имении в Нормандии.

— Вот как? Похвально. . . — пробурчал директор, — тогда вы, конечно, знаете, что Анжелли активный сторонник сотрудничества с русскими. . .

— Я так понимаю, г-н директор, — медленно, словно взвешивая слова, проговорил адвокат, — что вы хотели бы мне поручить это дело? Анжелли действительно пора заняться более основательно. Его флирт с русскими слишком затянулся. . .

Брови директора взметнулись. Он, казалось, был удивлен столь вульгарной интерпретацией его слов.

— Друг мой, — директор подошел к Кордойя и положил ему руку на плечо, — друг мой, с тех пор, как вы числитесь в штате нашей корпорации, у меня нет ни права, ни возможности давать вам поручения. Вы вольная птица, летаете, где хотите. Завидую, честное слово, завидую. . .

Директор взглянул на часы.

— Вы ведь к вечеру снова в Париж? Да. . . Париж. . . — вздохнул он. Я слышал, у вас там неплохие связи: художники,

писатели, журналисты. Кстати, о журналистах. Почему бы вам не разместить в прессе несколько полезных для нас статей по проблемам нефтяной торговли? Международный конгресс — это как будто неплохой повод.

— Вопрос, о чем писать, — заметил Кордойя. — Дела с арабской нефтью столь запутанны и сложны, что их лучше не трогать: только подольем масла в дискуссию на конгрессе.

— Н-да... — пожевал губами директор. — В отношении арабской нефти вы, пожалуй, правы: тут лучше действовать за кулисами. Впрочем, я имею в виду другие публикации. Послушайте-ка... Мы вот с вами озабочены экономической как бы стороной дела: интересы акционеров, рынки, условия налогообложения и прочее...

— Но это логично, г-н директор. Это наша работа, — осторожно заметил Кордойя, не совсем понимая, куда клонит его собеседник.

— Это только часть работы, мой друг. К сожалению, у нас не всегда хватает времени заглянуть за графики и колонки биржевых ведомостей.

— Но там начинается политика, г-н директор, — проговорил Кордойя и едва приметно улыбнулся. Ему показалось, что он разгадал ребус Хоорста, и задача теперь состояла в том, чтобы удачнее подыграть в начатой директором игре.

— Мыслите правительно, Кордойя. А вот нам, людям кабинетным, иногда не хватает воображения. Вот почему мы так ценим ваши связи с миром искусства. Воображение — великая сила. Даже и в политике...

— Я так понимаю, что мне следовало бы поработать с журналистами... в сторону, так сказать, воображения?

Короткий, сухой смешок сорвался с губ г-на Хоорста.

— Вопрос серьезный, Кордойя. Серьезный потому, что таит в себе риск вызвать ответную реакцию со стороны общественности. Но и ставки велики, так что риск оправдан. К тому же в случае необходимости всегда можно сослаться на излишнее усердие журналистов. К этому пресса привыкла. А теперь, собственно, к делу... — Директор прошелся по кабинету, потирая маленькие выцветшие ручки. — Несколько дней назад у меня случилась забавная беседа на приеме в американском посольстве. Ну, разумеется, речь шла о нефти. Такова уж моя судьба: нефть, нефть, нефть... Представьте себе такую ситуацию. Я говорю, разумеется, гипотетически: русские не просто хотят восстановить свои прежние коммерческие очаги в Западной Европе, создать разветвленную и мощную сеть снабжения нефтью и газом. Ситуация вместе с тем далеко не фантастическая:

ученые уже сейчас полагают, что будущее грузового транспорта, в том числе транспорта газа, нефти и даже угля, — это мощные транснациональные трубопроводы. Так вот, я и думаю: почему бы нам не пофантазировать на эту тему вместе с учеными? Русские вскрывают свои подземные кладовые и, предлагая самые льготные условия, подключают европейскую энергетическую систему к своим мощным трубопроводам и таким образом...

Хоорст несколько мгновений помедлил, как бы желая удостовериться в том впечатлении, какое его слова произвели на адвоката. Но Кордойя промолчал и только легким наклоном головы дал знать, что идея схвачена и что если он не говорит о ней, то оттого лишь, что слова здесь неуместны, ибо он все представляет ясно и без слов.

— И таким образом, — завершил свою мысль директор, — кран от всей системы западноевропейской энергетики оказывается в руках красных! Как вам нравится картина?!

— Думаю, что на обывателя она произведет впечатление...

— Вот и прекрасно! Считаю, что мы поняли друг друга. Что же касается обывателей, мой друг, то я не стал бы уж так иронизировать по их адресу. Обыватель — это миллионы избирательных голосов. Кто владеет воображением обывателя, тот владеет властью.

— Все это так... — задумчиво, и точно не во всем соглашаясь с директором, проговорил Кордойя.

— Вас что-то не устраивает в наброске моей картины, — шутливо заметил Хоорст. — Но я ведь не художник. Тут, мой друг, все карты в ваших руках.

— Нет, отчего же, картина превосходная, — подхватил Кордойя, легко подстраиваясь под иронический тон директора. — Я уверен, что на фондовой бирже ее оценили бы по достоинству. Но у искусства свои законы и своя логика...

— Вы видите какие-то сложности? Вас волнуют расходы? Но разве мы когда-нибудь возвращали вам счета?

— Речь, насколько я понимаю, идет о серьезной кампании в прессе, — переходя на серьезный тон, заметил Кордойя. — Но если начать с места в карьер: нефть, трубы, энергетический кран — все это может произвести дурное впечатление. Левая пресса быстро раскусит игру. Надо иначе: бросить обывателю сочную кость, поманить скандальчиком, лишь слегка замешанным на запахе нефти, и только потом, когда наживка будет основательно проглочена, дать подсечку.

— Ну, уж тут я, мой друг, пасую. Это выше моего понимания. Приманки, подсечки, — засмеялся Хоорст. — Впрочем,

почему бы вам не потолковать на эту тему с Альфредом Глюком? Я по неосторожности проговорился, что вы будете у меня... Словом, он очень, очень просил вас заглянуть на минутку.

* * *

Альфреда Глюка адвокат знал давно. Познакомились они в Америке году в пятьдесят первом — пятьдесят втором, когда тот отрабатывал в Центральном разведывательном управлении кое-какие из своих нацистских грешков. Из-за грешков этих он чуть было не угодил на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса, но каким-то таинственным образом вначале оказался в числе свидетелей по известному делу «Лебенсборн» (к этому делу мы еще вернемся), а потом и вовсе исчез. Выплыл он уже в Соединенных Штатах Америки.

О прошлом своем г-н Глюк вспоминать не любил. Если же обстоятельства и вынуждали говорить о былом, то выражался он всякий раз очень туманно. Суть прошлой жизни Глюка, если верить собственным его словам, сводилась к «заботам о сиротках». Слушатели при этом могли видеть, как на его серые, несколько навывкате глаза набегала прозрачная слеза.

Словом, г-н Альфред столь же скромен, тих и неприметен, как и само строение № 7, в котором он обитает. Что же касается того факта, что малоприметный флигелек этот обнесен двумя рядами сетчатого забора и охраняется верзилами в униформе, то сотрудники МОНГа не видели в этом ничего предосудительного: служба информации, по нынешним понятиям, — дело серьезное.

Увидев входящего адвоката, г-н Глюк странным образом изменился, и надо признать, в лучшую сторону: его малоподвижные глаза ожили, на губах затрепетала улыбка. Глюк встал из-за стола и таким манером пошел навстречу гостю (широко расставив руки), что всякий бы подумал: какой радушный, гостеприимный и веселый человек!

— Какая радость! — заворковал он. — Признаться, жаждался. Как там Хоорст? Все щепетильничает? Наверное, кучу советов надавал?

— За советами отослал к тебе, — принимая шутливый тон хозяина, отвечал Кордойя.

— Хе-хе-хе, я так и знал. Хочет, чтобы душа была чиста, когда предстанет перед господом богом. Врут, каналы! Где большие деньги, там грязи не миновать. В Калифорнии меня

научили добрым словам: нефтяная дружба всегда пахнет дерьмом. Вот как! Ха-ха-ха!

Если бы кто из Службы оперативной информации увидел или услышал Альфреда Глюка в этот момент, то, верно, немало бы подивился происшедшей в нем перемене. Даже голос его, обычно монотонный, сочувственно-вялый, точно у исповедника, стал звонче. Но что же в том удивительного?

Для своих сотрудников г-н Глюк был добрым начальником, любителем птиц и природы. Большого они о нем не знали. Мишель Кордойя знал об Альфреде Глюке все или почти все.

Организация, где начинал карьеру г-н Глюк, была создана еще до войны. Для большинства немцев она была всего лишь одним из новых благотворительных учреждений, призванных проявлять трогательную заботу о сиротках. Расцвету легенды о новом богоугодном обществе способствовало и его название — «Лебенсборн», что значило «источник жизни». Мало кому было известно, что покровителем этого нового «филантропического» общества была не святая дева Мария с трогательной улыбкой на устах, а сам Генрих Гиммлер, шеф гестапо.

Немецкие газеты с вдохновением писали, что наконец-то впервые в истории созданы бесплатные родильные дома, где расово чистые женщины, не имеющие мужей, могут достойно и гигиенично рожать будущих тевтонцев.

Идея Гиммлера состояла в том, чтобы населить великую Германию ста двадцатью миллионами чистокровных арийцев, закаленных, выносливых, идейно выдержанных «детей фюрера».

Однако с началом войны против Советского Союза «политика роста населения» трещала по всем швам. На Восточном фронте терялось столько нордической крови, что ее не могли восполнить никакие усилия «Лебенсборна».

Было уже не до чистоты расы. Годилась и славянская кровь. Секретная инструкция Гиммлера предписывала воинскому командованию обеспечить сбор (кражу) и отправку детей из стран Восточной Европы в рейх. На запад пошли вагоны с поляками, русскими, украинцами, югославами, белорусами.

В специально созданных сортировочных лагерях проводился предварительный просев «детского материала». Детей «с хорошими показателями» отправляли в центры «Лебенсборна», а тех, у кого показатели были нехороши, — в концентрационные лагеря в качестве рабочей силы.

Среди этих украденных детишек находился и русоволосый мальчик с живыми серыми глазами. Ему в одном из домов

«Лебенсборна», расположенном в местечке Штейнхеринг, неподалеку от Мюнхена, сердобольная сестра, которой приглянулся сероглазый белоголовый паренек, чем-то похожий на погибшего при бомбежке сына, придумала имя Петер Штейн. Петер — потому что настоящее имя мальчика было Петр и он его хорошо помнил, а Штейн — по имени местечка Штейнхеринг. Сестра хотела было дать фамилию полностью (это так благородно звучит — Петер Штейнхеринг), но начальство не одобрило, сказав, что довольно и просто Штейн.

Молодого начальника детского дома «Лебенсборн» в уютнейшем городке Штейнхеринг, со столь похвальным благоразумием пресекавшего ненужную инициативу почтенной сестры, сотрудники сиротского дома называли господин Глюк. Говорили, что он лично знаком с самим Гиммлером и даже состоит с ним в переписке. По мнению всех, это был хороший и рачительный хозяин, немало сделавший для того, чтобы штейнхерингский приют стал одним из лучших в Германии. «Наш Адольф Глюк», — называли его некоторые из молодых сестер.

* * *

Кабинет Альфреда Глюка, несмотря на то что находился под землей, выходил окнами в небольшой садик, у которого вместо неба было стеклянное матовое покрытие. Единственным недостатком этого очень милого и ухоженного садика было отсутствие птиц, на что господин Глюк не преминул подосадовать Кордойя.

— Немного коньяку? — спросил Глюк, ловко выуживая из бара тонкую рюмку с вензелем «Н». Вопрос был, впрочем, риторическим, поскольку он был прекрасно осведомлен о вкусах своего друга, и, не дожидаясь ответа, отлил на донышко темного, душистого напитка.

— Что там мой воспитанник? Не подвел? — спросил он игриво.

— Боюсь, что его придется вернуть в Амстердам, — брезгливо скривил губы Кордойя.

— Отчего? Что-нибудь случилось?

— Ни черта с твоим Петером не стряслось. Просто я угробил на него кучу денег и боюсь, что напрасно.

— Он что же, отказывается сотрудничать?

— При чем тут отказывается? — с раздражением заметил адвокат.

— После того что я для него сделал, он у меня вот здесь. — И Кордойя выставил бледный костистый кулачок.

— Не понимаю, чем же ты недоволен? — обиженно поджав губы, спросил Глюк. — Ты мне сказал, что у Голощекова был сын, что он вывезен во время войны сотрудниками «Лебенсборна» и осел где-то в Германии или Голландии. Я тебе его разыскал. Чего же ты еще хочешь? Большого не смогли бы сделать даже ребята из ЦРУ. Если бы не мое знание «Лебенсборна», никому бы и в голову не пришла эта блестящая идея. Кто помнит сейчас о «Лебенсборне»? Почти все архивы в Америке, а «они» не очень расположены делиться своими сведениями, особенно бесплатно.

— Товарец-то с изъязном...

— Пьет, что ли? — с добродушно-наивной улыбочкой уточнил Глюк.

— Если бы! — воскликнул адвокат, успокаиваясь и размышляя о том, что нет никакого резона портить отношения с шефом СОИ: «Глюк может пригодиться»... — Если бы пил, все было бы проще.

— Что же?

— Он ни черта не помнит из своей жизни в России. И ты хочешь, чтобы я доказал Голощекову, что это его сын? Поверь мне, профессор не такой простак, как кажется. Он принимает к каждому моему слову.

— Но документы! Документы, которые я тебе дал! — воскликнул Глюк.

— Что документы?! Мне нужно, чтобы он сам, сам что-нибудь рассказал. Это был бы лучший документ. Но ему точно отсекли память...

— Ах, это... Это бывает... — каким-то вялым голосом проговорил Глюк, и на его глаза набежал налет сентиментальной влаги. — Это бывает, — со вздохом повторил он.

— Вы что-нибудь с ним делали? — спросил Кордойя. Ему вдруг сделалось неуютно и холодно, точно в кабинете Глюка вместо мягких кресел и расписных экзотических ширм были голые стены, тусклый свет и кафельные столы с беззащитно оголенными телами.

— Это была не наша забота, — в голосе Глюка снова появились игривые нотки. — Гигиеной умственного развития занималась служба Грегора Эбнера, доктора Эбрена, как его называли в системе «Лебенсборна». Слыхали о таком?

— Не приходилось, — мрачно пробурчал Кордойя.

— Бедняге не повезло после войны, — вздохнул Глюк. — До сих пор не пойму, почему от него отказались американцы: Гиммлер его очень ценил...

— Пачкаться не хотели, — неожиданно для самого себя вернул Кордойя и тут же пожалел о сказанном. В глазах добрейшего Альфреда Глюка на короткое мгновение мелькнул свинцово-холодный отблеск. Но он предпочел все свести в шутку. Через минуту в комнате уже раскатисто гремел его смех.

— Пожалуй, ты прав, — покатывался Глюк. — Эбнер не отказывался ни от каких дел. Но мне было его жаль. Когда в 1947 году я видел его на скамье подсудимых в Нюрнберге, он очень неважно выглядел.

— Осудили? — полюбопытствовал Кордойя.

Глюк улыбнулся наивности адвоката. Пояснил:

— Ты же знаешь, что после «Лебенсборна» осталось очень мало документов. Беднягу оправдали за отсутствием серьезных улик. Ты мне не поверишь, но доктор Эбнер, одно имя которого заставляло трепетать слабонервных, тишайше доживает свой век неподалеку от Старнбердерзе¹. О, это был умнейший человек. Умнейший! По сути дела, вся система идеологического воспитания детей в «Лебенсборне» была придумана им.

— Какого же черта Петер Штейн ничего не может вспомнить?

— Издержки поточного производства, друг мой. Один из особых случаев, — вздохнул Глюк. — Ты же знаешь, да и в газетах об этом часто пишут, что бывают особо трудные дети. Я, помнится, тебе рассказывал, что одним из условий содержания детей в «Лебенсборне» было ускоренное обучение немецкому языку. Русским, полякам, югославам запрещалось говорить на родном языке. Заслушание наказывали. К сожалению, это действовало не на всех. Непослушные дети говорили по ночам. Когда это обнаруживалось (а что ты хочешь? приходилось иметь маленьких информаторов), наказание было еще более строгим. Ты же понимаешь, Майкл, — делая беспомощный жест руками, пояснил Глюк, — что при таком потоке детей либеральничать было нельзя. Словом, если второе и третье наказания не давали результатов, к таким детям применяли метод, разработанный доктором Эбнером.

— Операция на мозге?

— Ну что ты! В военное-то время? Хирурги нужны были во фронтовых госпиталях. Да и слишком дорогое удовольствие. Просто детям в течение какого-то времени давали сладенькие пилюльки. Им говорили, что это глюкоза. Детям нравилось...

¹ Грегор Эбнер, один из ближайших друзей шефа гестапо Гиммлера, умер своей смертью в 1972 году в тихой деревеньке Вольфратшозен в ФРГ.

— И что же?

— Ничего страшного... Через неделю они были очень послушны. Несколько вялы, надо признаться. Но в некоторых случаях дети начисто забывали прошлое... Очень возможно, что с Петером Штейном приключилась именно такая досадная история. Его, что же, совсем нельзя использовать?

Альфред Глюк откинулся в кресле и поднес к губам рюмку. Его ноздри нервно дрогнули.

— А вообще, я не понимаю, какого дьявола ты так носишься с этим профессором? Поручили бы это дельце мне. В былые годы такие вопросы решались радикальнее...

— В былые годы, старина, — возразил Кордойя, — твой славный, добрый доктор Эбнер ходил, выпятив грудь колесом, а не жил в провинциальной глуши, как мышь. В мире кое-что изменилось. Ты слышал, что левая пресса в Париже открыто требует выхода Франции из НАТО, а сам генерал де Голль подумывает о поездке в Москву? Можешь себе представить, какой поднимется шум, если к советскому профессору Голощекову применить радикальные меры. Уж оставь это дело мне. Для твоего тевтонского желудка у меня есть другой деликатес...

— Кто же? — любопытствовал Глюк.

— Самюэль Хигеро.

— Хигеро? Чем он тебе не угодил? В моей службе его очень ценят. Это серьезный доверенный работник. Я с ним нередко встречался у Детооров. Кажется, он был неравнодушен к дочери финансового инспектора.

— Он мог что-нибудь знать о наших планах относительно Анжелли или Голощекова?

— Разумеется, мог: он ответственный сотрудник СОИ.

— Значит, это он выболтал все Анне Детоор. Ну, а та, понятно, понеслась спасать своего гениального дружка Штейна. Они, Анна с отцом, на меня как снег на голову свалились в Париже. Если бы я вовремя не перехватил письмо девчонки к Петеру, мог бы разразиться скандал. Пришлось действовать быстро и, как ты говоришь, радикально. Меня до сих пор мороз по коже дерет, как вспомню, что она могла натворить. Пришлось торопиться...

— Читал, читал... — глядя сквозь рюмку на свет, проговорил Глюк.

— Ты что же, сам ее прикончил? — с насмешкой спросил он.

— Ну, ты эти шутки брось, — кисло морщась, проговорил Кордойя. — У меня руки чисты. Девчонка жива и припрятана у одного надежного человека в Марселе, он из бывших алжирских

легионеров. Когда шум в прессе утихнет, можно будет ее отпустить, как следует припугнув. Но пока она мне нужна как заложница. — Кордойя не без удовольствия оглядел свои длинные, холеные ногти с белыми ровными дужками на концах, легонько побарабанил ими по рюмке. Звук получился нежный.

— Эта старая перечница Эрнест Детоор совершенно спятил, — сказал он. — Стал обвинять меня, что я повинен в злоключениях его дочери. Держи он язык за зубами — был бы жив. Представляешь, этот тихоня начал меня шантажировать: он-де расскажет о трюках корпорации с налогами во Франции. Нашел чем пугать! Кто бы его стал слушать? Но этот болван обнаглел до такой степени, что выкрал из моего стола письмо Анны к Петеру. Он стал опасен, как бешеная собака.

— Кстати, где письмо? — спросил Глюк. — Любопытно взглянуть.

— Письма нет, — ответил адвокат, пытаясь скрыть за резкостью смущение.

— То есть как — нет?

— Исчезло...

— Ты уверен? Такие бумажки редко исчезают сами. Их или уничтожают, или они... Не хочется говорить...

— Все это не так важно, как ты представляешь, — отмахнулся Кордойя. — Давай-ка поговорим о деле.

Адвокат редко попадал в ситуации, когда ему приходилось оправдываться, и такой поворот разговора был для него неприятен. Он встал и несколько раз прошелся по комнате. Плечи у него нервно подергивались. Альфред Глюк, напротив, был в самом веселом расположении духа и с усмешкой поглядывал на адвоката. Ему точно доставляло удовольствие видеть своего обычно надменного приятеля в затруднении.

— Поговорим серьезно, — заговорил после продолжительного молчания Кордойя. — Я в тот же день заставил своих людей облазить все окрестности, где шатался Детоор во время охоты. И не напрасно: первый листок письма удалось найти. К счастью, именно в нем содержалось самое для нас неприятное.

— Для тебя, — с улыбкой поправил Глюк.

— Ну, хорошо... хорошо... Этот листок я уничтожил. Но вторая половина письма! Ничего конкретного, конечно, там не было, но в нем упоминалось имя Самюэля Хигеро, говорилось, что именно он рассказал Анне Детоор все. Для въедливого следователя это немало. К счастью, делом занимается мальчишка. Никаких улик у него, насколько мне удалось узнать, нет.

Не думаю, чтобы упоминание о каком-то Хигеро показалось ему важным.

— Ты рассуждаешь так, точно вторая половина письма уже лежит у следователя в кармане.

— Предпочитаю строить расчеты на возможности неблагоприятного поворота. Если следователь начнет искать Хигеро...

— Словом, тебе хотелось бы, чтобы испанец исчез? — без обиняков спросил Глюк.

— Ну да, да... — недовольно отозвался Кордойя. — Любишь ты эти выражения. Все никак не забудешь?

Глюк раскатисто рассмеялся.

— У меня нет юридического образования, мой друг. Я учился, как говорится, из-за плеча.

— Ну, хорошо... Называй, как знаешь... Важно, чтобы не возникло никаких подозрений.

— Ах! — со вздохом заметил Глюк. — Раньше все было проще... Такие дела не расследовались или расследовались нашими же людьми. Вся эта пролетарско-студенческая голь имела страх. А теперь и с полицией приходится играть в прятки. Но я вижу, мы слишком вдаемся в детали. Есть чудесное местечко неподалеку от порта. На углях там жарят великолепных лангустов...

ГЛАВА 7

— Господин Голощеков?

— Я слушаю.

— Это Мишель Кордойя. Наша последняя встреча закончилась столь несуразно... А мне бы хотелось с вами о многом поговорить. У нас есть время? Насколько мне известно, ваше выступление на конгрессе назначено на послезавтра, — голос адвоката был мягок, спокоен. — Кроме того, у меня есть кое-какие новости для вас...

— Новости? — удивился профессор.

Он и в самом деле ожидал новостей, но не от Кордойя, а из Москвы. Его встреча с французами оказалась успешной. В министерстве проявили конкретный интерес к поставкам газа и нефти. Более того, французы сами предложили, чтобы нефть доставлялась на советских танкерах: своего нефтеналивного флота не хватало. Это было вдвойне выгодно. По этому вопросу Голощеков и запрашивал через посольство Москву и теперь со дня на день ожидал ответа. Голощекову дали понять,

что, если СССР согласится на предоставление танкеров, французская сторона пошлет в Москву торговую делегацию для конкретных переговоров о ценах и объеме закупок.

Дела с Анжелли тоже как будто обстояли неплохо. Правда, от конкретных разговоров он пока воздерживался, намекая, что ожидает важного назначения. Тут надо было подождать. Несколько дней назад профессор проинформировал об этом Москву, и ему посоветовали еще на недельку задержаться в Париже после конгресса.

Но от адвоката никаких вестей профессор не ожидал.

Кордойя, против обыкновения, оказался на редкость настойчивым, и, чтобы не портить с ним отношений, Голощеков нехотя согласился на встречу. «В конце концов, — справедливо рассудил он, — если Мишель хочет со мной о чем-то переговорить, этого не избежать, так что чем скорее, тем лучше».

Выйдя, как и условились, минут через двадцать из гостиной, Голощеков увидел стоящий чуть в стороне белый «мерседес» адвоката и самого Кордойя, который уже шел навстречу, радушно протягивая руки.

— Какое солнце, профессор! Жаль, что из-за этой конференции мы не можем хотя бы на пару дней отлучиться из Парижа. Представляете: час полета — и мы на Лазурном берегу Средиземного моря. В маленькой стране есть маленькие преимущества. Или Биариц! Рядом Испания... И уже двадцать пять градусов тепла.

— А в Испании генерал Франко, — буркнул в ответ Голощеков. Про себя же подумал: «Только Лазурного берега мне и не хватает».

Кордойя предложил пообедать в ресторане, но Голощеков отказался: это затянуло бы встречу.

— Давайте-ка выпьем кофе в «Клозери де лила», — сказал он.

Профессор Голощеков уже не раз бывал в Париже и неплохо знал город. «Клозери де лила», уютное и тихое в дневное время кафе в самом конце бульвара Монпарнас, он обнаружил давно и теперь, приезжая во Францию, всякий раз заходит туда.

Кафе было интересным еще и оттого, что здесь в начале века собирались русские революционеры. За одним из столиков официант показал профессору табличку: на медной дощечке было выгравировано: «В. Ульянов».

И теперь, сидя на открытой терраске и любясь на молодую зелень, сквозь которую просвечивало солнце, Голощеков думал о том, как, в сущности, неотделима наша история от се-

годняшнего дня, как она еще близка к своим истокам. Сорок с немногим лет назад здесь собирались люди и спорили, и думали о том, какой быть будущей России, как вывести ее из мирового захолустья. А теперь он, профессор Голощеков, приезжает сюда, в Париж, в интеллектуальный центр старой Европы от имени великой державы, без которой в мире уже ничего нельзя, уже ничего невозможно...

— Вы когда-нибудь слышали название «Лебенсборн», господин профессор? — донесся до него голос адвоката.

За размышлениями Голощеков забыл, что он здесь, рядом...

— Простите, вы сказали?..

— Название «Лебенсборн» вам что-нибудь говорит? — повторил Кордойя.

— Нет, нет... — рассеянно отозвался профессор. — Что это? Какая-нибудь фирма? Новый нефтяной трест?

— Организации этой больше не существует, — загадочным тоном проговорил Кордойя, помешивая ложечкой кофе. — Но во время войны она была очень известна в Германии.

— «Лебенсборн»? Это, стало быть, по-немецки? Лебен, если не ошибаюсь, — жизнь, а вот борн... что-то затрудняюсь...

— Это старогерманское слово, — пояснил Кордойя. — Ныне почти не употребляется. Означает — источник, фонтан.

— Следовательно — фонтан жизни? Что ж, в известном смысле нефтяной фонтан тоже можно назвать фонтаном жизни, — заметил Голощеков, полагая, что Кордойя клонит разговор к нефти.

Вся жизнь Голощекова была так или иначе связана с нефтью, и разговор о ней он считал если и не самым веселым, то вполне естественным для себя. Он и теперь подумал, что Кордойя позвал его, чтобы «проветилировать» кое-какие проблемы нефти. И, естественно, связал название «Лебенсборн» с нефтяными интересами.

— Но, позвольте, в Германии, по нынешним понятиям, и нефти-то нет. Разве что в Нижней Саксонии, но это крохи...

— Речь идет не о нефти, профессор, — тихо, но очень отчетливо проговорил адвокат.

— Тогда не понимаю...

— Организация «Лебенсборн» занималась вывозом детей из Восточной Европы в Германию...

Голощеков почувствовал, как при этих словах у него похолодела спина. А голос адвоката вкрадчиво вползал в него вместе с этим зловещим холодком.

— Помните, несколько лет назад, кажется, в Вене, вы говорили, что ваш сын пропал без вести, что его вывезли в Германию? После войны розыски ничего не дали.

— Да, да, помню... — хрипло проговорил Голощеков. В горле у него вдруг пересохло...

Перед глазами всплыл перрон Белорусского вокзала: сновали носильщики, милиционер в белой летней форме стоял в тени возле палатки, торгующей квасом. Молодые офицеры с чемоданчиками, девушки с букетами чуть привядших пионов — летний, легкий вокзальный день. Все было окутано утренней прозрачной дымкой.

Сын Петька, только что окончивший первый класс и счастливый от того, что наступило наконец лето и он едет к бабке в деревню, шептался с дворовым дружкой Левкой, увязавшимся за ними на вокзал. Петька был горд, что едет в поезде, едет впервые без папы и мамы, а с дальним родственником из деревни, который и должен сдать его с рук на руки бабушке Пелагее из Больших Дубков. И только когда проводник попросил пассажиров в вагон, в глазах Петьки на мгновение мелькнула растерянность. Но через минуту, высунувшись из раскрытого окна подле молчаливо-степенного родственника, он уже снова смеялся, отбрасывая набок непослушную челку.

— По деревьям не лазай! — напутствовала мать. — Пей парное молоко! Слышишь? Обязательно...

Но поезд уже тронулся, и Петька с растерянной улыбкой махал рукой до тех пор, пока состав не скрылся за вокзальными пакгаузами. Больше они его не видели. Через несколько дней началась война. Деревня Большие Дубки находилась всего в сотне километров от границы...

Всю войну ни от сына, ни от бабки Пелагеи не было известий. Но как только Белоруссия была освобождена, жена (сам Голощеков был еще в действующей армии) отправилась в Большие Дубки. Деревни, по сути дела, не было. От прежнего большого и просторного села осталось два-три дома да мрачный часток кол обгорелых печных труб. В соседнем селе удалось найти погорелицу из бывших Больших Дубков, которая припомнила, что и в самом деле перед войной к бабке Пелагее приехал маленький москвич. Она же рассказала, что бабка Пелагея умерла, а про мальчонку ничего определенно не знала: у самой было четверо, и после пожара пришлось перебраться в соседнюю деревню в братнин пустующий дом. «Вся семья его, — пояснила женщина, — ушла в партизаны. Может, и твой с партизанами ушел, — выставила она до-

гадку. — В то время много детишек по лесам пряталось: немцы за ними шибко охотились...»

Не удалось найти Петеньку и позднее, когда розысками занялся вернувшийся с фронта Василий Данилович. Все свои отпуска они теперь проводили в Белоруссии: ездили по детским домам, рылись в уцелевших архивах, расспрашивали бывших партизан из окрестных сел.

Появилась малая надежда, когда из Германии пошли эшелоны с увезенными в неволю детьми, но и эта надежда скоро исчезла: Петеньки среди них не было. И вот теперь...

— Мы отыскиали вашего сына, господин Голощеков, — услышал он голос адвоката. И лицо Кордойя, казавшееся еще секунду назад размытым, вдруг обрело резкость и точно придвинулось к Голощекову.

Профессор сидел за столом, сгорбившись и наклонившись вперед, словно хотел подставить под удар свой большой, с глубокими бороздами лоб. Он точно оглох: смотрел на лицо Кордойя, видел, как у того шевелятся губы, но сам пребывал в утратившем звуковую окраску мире. Его руки были под столом, возле колен, и он сцепил их и накрепко сжал, будто надеясь обрести в этом силы.

— Вы меня слышите, господин профессор? — повторил Кордойя. Он, видимо, не ожидал столь странной реакции Голощекова.

И в самом деле, лицо профессора окаменело: на нем не было видно ни удивления, ни радости, ни смутения. «Не плохо ли с ним?» — подумал Кордойя и стал наливать в стакан воды.

Голощеков все видел: как потянулась к горлышку графина белая рука Кордойя, как он поднял и брезгливо оглядел стакан, слышал, как забулькала вода и как адвокат молча придвинул к нему стакан. Видел, как в дверь вошла пожилая дама с маленьким пуделем и что у этого пуделя к ошейнику прикреплен маленький колокольчик: с каждым движением собачки он тихо позванивал — динь-динь-динь...

С Голощековым происходило то, что происходит с каждым нормально устроенным и душевно здоровым человеком, на которого вдруг обрушивается сильная беда. На какое-то мгновение он точно отстранился от потрясшего его известия, точно прикрыл себя глухим щитом. Когда же лицо адвоката стало совершенно ясным, он спросил:

— Вы нашли Петра?

В горле профессора пересохло. Голос был хриплым. Он видел стоящий перед ним стакан, но что-то не срабатывало в его

сознании, и он не мог догадаться протянуть руку и выпить глоток.

— Выпейте воды, профессор...

Кордойя хотел дотронуться до Голощекова, вывести его из оцепенения, и профессор увидел, как тонкие пальцы потянулись к нему, и в этот момент он расцепил сомкнутые под столом руки — словно разорвал замкнутый круг, — взял стакан и, крепко сжимая его, выпил несколько глотков.

— Где же Петр?

— Он здесь, в Париже...

Василий Данилович вдруг очень ясно представил себе Петьку таким — вихрастым, длинноногим, белобровым, — каким он был тогда, в свои восемь с месяцем лет. Он чуть было не спросил: «Когда же я смогу его взять?» — представлял, как он поднимет и прижмет к себе его худенькое тело, но вдруг умолк. Вся невероятная сложность положения встала перед ним: кто он? Какой? Чем живет? Что думает? Эти вопросы, о которых в первый момент он не подумал, теперь нахлынули на него, и он чувствовал себя совершенно потерянным среди этой лавины мыслей и чувств. Но вдруг пробилось одно, главное, захватило всю душу: «Петька! Петька жив! Жив... жив...»

Голощеков почувствовал, что больше не в силах сидеть: все тело дрожит, вибрирует той радостной, нервной дрожью, которая охватывает нас, когда вдруг сбывается что-то совсем немыслимое, невозможное, на что уже не было никаких надежд.

Вдруг вспомнилось, как однажды, лет через пять после войны, он отдавал на вешалку тете Паше промокший плащ, на улице был страшный ливень, а она со вспухшими, странно веселыми и заплаканными глазами сказала ему: «А у меня-то что, Василий Данилович!.. У меня-то ведь Колька мой сыскался...»

А он пошел от раздевалки в конец вестибюля, к лестнице со следами еще не отмытой победы и стоял там, скрывшись за колонной, оцепеневший, точно околдованный, и все слушал, как тетя Паша, смеясь и всхлипывая, докладывала каждому проходившему: «У меня-то ведь сын... сын Колька сыскался. Ведь жив! Жив!..» И это слово теперь билось, повторяясь бесчисленное число раз, в мозгу Голощекова.

— Как же это случилось? Где он был?.. — спросил Василий Данилович.

А Кордойя, уже радостно и счастливо улыбаясь, доставал из кармана платок и картинно-растроганно прикладывал его к глазам. Говорил тоже дрожащим от волнения голосом:

— Я так рад, так рад за вас, профессор... Сейчас расскажу... Дайте успокоиться... Не каждый день, знаете...

Смешок у Кордойя был сухой, кашляющий, и от него у Голощекова снова кольнуло сердце. «А вдруг ошибка? Вдруг не он, не Петька?» И снова в горле стало сухо.

— Они... Вы не могли ошибиться? — испуганно спросил он. — Ведь я столько искал, и через Международный Красный Крест...

— Не волнуйтесь, господин Голощеков, — уже успокаивал его Кордойя, — есть все подтверждающие документы, свидетельства, переписка между домами «Лебенсборн». А Красный Крест — ерунда. У них лишь крохи оставшихся после войны архивов. Я же не зря говорил вам об организации «Лебенсборн»...

— Когда же все это выяснилось?

— Да еще до вашего приезда.

— И вы молчали?!

— Но, профессор... — оправдывающимся тоном, но с улыбкой говорил адвокат, — дело деликатное, серьезное... Могла быть ошибка, неточность. Я должен был сам все проверить, уточнить. Признаться, до последнего времени оставались сомнения...

— А теперь?

Но Кордойя оставил без ответа вопрос Голощекова. Вместо этого спросил:

— Вы заметили, что я пропустил несколько заседаний конгресса?

— Да, я обратил внимание...

— Но вы, вероятно, не знаете, где я провел эти два дня. Я ездил в Амстердам для встречи с человеком, которому удалось разыскать... Петера Штейна...

Адвокат замолчал и впился глазами в лицо Голощекова, но оно оставалось неподвижным. Глаза профессора были полуприкрыты, уголки губ опущены, и это придавало его лицу сердитое выражение.

Самому же Голощекову казалось, что его веки налились тяжестью, будто он не спал несколько ночей подряд. Он с усилием приоткрыл их...

За окном по-прежнему сияло солнце, и статуя маршала Нея со сломанной шпагой на углу показалась Голощекову черным силуэтом. Профессор точно с удивлением обнаружил, что он все еще в Париже, в славном кафе «Клозери де лила» и что напротив него сидит человек, говорящий ему о сыне. Было такое ощущение, что он вернулся из путешествия в дав-

ние, почти забытые времена. Профессору все еще казалось, что он слышит жалкие слова жены, видит ее мокрые щеки; затянувшаяся рана вдруг открылась, и это было так больно, что он тихо застонал сквозь зубы.

— Вашего сына ведь звали Петр? Что касается Штейна, то эту фамилию ему дали в детском доме «Лебенсборн». Это обычная практика. Но документы сохранились...

Кордойя заметил, что губы профессора шевелятся, но слов не было слышно. Он склонился к Голощекову и не столько по звуку, сколько по движению губ догадался, что он шепчет:

— Петер, Петер Штейн... — несколько раз повторил профессор. — Петер Штейн? — спросил он вдруг громко. — Тот художник? Это о нем писали газеты в связи с делом Детоора?

В глазах профессора была растерянность.

— Да, это он, — ответил Кордойя и тут же поспешил добавить: — Но с делом Детоора его не следует связывать.

Поспешность, с которой адвокат стал успокаивать Голощекова, была обусловлена тем, что приходилось считаться с возрастом профессора. Все психологические ходы этой игры были рассчитаны адвокатом наперед, и он не хотел перешагивать через этапы. И без того он уже был недоволен собой и, пожалуй, еще больше профессором: реакции того были неожиданными. Кордойя хотелось, чтобы при первом известии о сыне Голощеков испытал бы восторг, безграничную, неконтролируемую радость. Но радость, которая и в самом деле в первый момент захлестнула Голощекова, неожиданно перешла в странное состояние, которое он никак не мог понять.

— Я могу видеть сына? Где он? Он здоров?

— О, вполне, вполне... — торопливо заговорил Кордойя. — Конечно, вся эта история с Детоором подействовала на него. Особенно неожиданное заключение в тюрьму... Но против него нет...

— Он в тюрьме? — воскликнул Голощеков.

— Вы только не волнуйтесь, профессор, — пытался успокоить Голощекова адвокат. — Петеру не повезло со следователем: попался, знаете ли, этаким въедливый крючок. Но вы не должны ни о чем беспокоиться, я все беру на себя...

— Я совершенно спокоен, господин Кордойя, — очень внятно проговорил Голощеков. Их глаза встретились, и адвоката поразил холодный блеск в глазах профессора. — Когда я могу его видеть?

Кордойя не спешил. Шины барабанили по брусчатке бульвара Ройяль. До тюрьмы не более пятнадцати минут езды, адвокату же необходимо было, перед тем как профессор встретится с Петером, показать ему документы, подтверждающие, что Петер Штейн и Петр Голощек одно и то же лицо. Но самому соваться к Голощекову с документами не хотелось: поспешность могла только насторожить профессора. Поэтому-то адвокат и не спешил, рассчитывая воспользоваться первым мало-мальски удобным поводом. Может быть, профессор сам спросит о документах. Но Голощек задумчиво сидел рядом, ни о чем не спрашивал и, похоже, не намеревался спрашивать.

Мимо тянулись унылые, покрытые копотью дома. В этой части бульвара мало магазинов, еще меньше кафе. Лишь изредка попадались крошечные лавочки мясников и бакалейщиков, но и они не оживляли общего скучного тона. Кордойя несколько раз пытался возобновить разговор, но профессор либо не отвечал вовсе, либо отделялся односложными «да-нет». Они уже почти подъехали к тюрьме, а дело еще не было сделано. Хотя надо было ехать прямо, Кордойя свернул в боковую улочку, чтобы удлинить путь. Он остановился возле табачной лавки, сказав, что хочет купить сигарет. Темную из крокодиловой кожи папочку, в которой находились документы, он оставил на сиденье. Однако, когда он вернулся, профессор сидел все в той же позе, отвернувшись к окну, и на папочку не глядел. Тогда Кордойя спихнул ее на пол и, подбирая рассыпавшиеся листки, сказал будто невзначай:

— Не узнаете, профессор?

Адвокат протянул Голощекову небольшую, поблекшую от времени фотографию, изображавшую белобрысого мальчугана с упавшей на лоб челкой. На заднем плане виднелся угол дома, деревья, сооружение, похожее на турник, и мачта, на которой развевался темный флаг с двумя изломанными линиями — символ фашистских СС. Мальчик был в коротких штанишках и светлой рубашонке с открытым воротом.

Голощек всматривался в лицо мальчугана, и у него темнело и плыло в глазах. До этой минуты он верил и не верил Кордойя: все, о чем тот рассказывал, было слишком неожиданным, невероятным. Про «Лебенсборн», о котором толковал адвокат, он никогда прежде не слыхивал. Но эта фотография... С таким ясно всплывшим в памяти выражением, со знакомым «голощековским» прищуром на него смотрел Петя, сын...

Тюремный двор, коридор, ожидание возле застекленной конторки — адвокат улаживал какие-то формальности, — пустая комната без окон. Стол, стул... — все это Голощеков почти не помнил, и потом, много позднее, когда он в воображении своем проделывал путь от славного кафе «Клозери де лила» до этого казенного стула с затертыми надписями и царапинами, все это представилось ему одним долгим ожиданием. Но он четко помнил, как вдруг скрипнула дверь, как приоткрылась и он увидел перед собой бледного молодого человека с худой шеей и тревожными глазами. Тот вошел и остановился, прикрыв за собой дверь.

Голощеков подумал, что сейчас, должно быть, придет наблюдатель и будет глядеть на них, но никто не пришел. Слышны были лишь чьи-то отдельные шаги, хлопанье дверей, металлические звоны, стуки.

Голощеков встал и стоял неподвижно, придерживаясь рукой за стул. Он не мог сделать ни шага, так у него вдруг ослабли ноги. Сына он представлял себе не таким. Этот был слишком худ. Голощеков, не отрываясь, смотрел на его беспомощную шею, на которой билась от волнения жилка, и при виде этой высохшей шеи у него внутри закипели горькие, невыплаканные слезы. Он хотел что-то сказать, сделать шаг вперед, но ноги его не слушались, и он едва смог проговорить:

— Сядем... пожалуй...

При этих словах Петер шагнул вперед, подошел очень близко к нему и, встретившись глазами, сказал тихо по-русски:

— Господин Кордойя сказал мне, что вы мой отец. Это правда?

Голощеков вздрогнул от дрожавшего звука его голоса.

— Вы... — Голощеков хотел сказать «ты», но не осмелился... — Вы этому верите?

Рука Петера шевельнулась: он сделал движение, точно хотел дотронуться до Голощекова, убедиться, реально ли он существует, и от этого легкого движения руки профессор сжался.

— Я ничего не знаю, — сказал молодой человек, оглянувшись на дверь и снизив голос до шепота: — А вы верите господину Кордойя?

— Я вижу, что вы русский, — не отвечая на вопрос, сказал Голощеков, тоже невольно переходя на шепот. — Нам надо многое обсудить...

Он медленно протянул руку, и она тяжело легла на стол, большая, жилистая, темная — совсем не профессорская рука.

— Дай мне твою руку, — не замечая, что стал говорить «ты», попросил Голощеков.

Петер на мгновение застыл, точно размышляя, следует ли это делать, потом положил свою узкую руку на стол, и она медленно, опасливо поползла к руке профессора. Когда эта маленькая рука была совсем близко, Голощеков накрыл ее ладонью и осторожно сжал. Он боялся сделать больно.

— У тебя рука... как у матери, — проговорил он. — Когда ты был совсем малышом, твоя рука была такой крошечной...

Голощеков замолчал, ему будто стало неловко от собственной сентиментальности. Он крепко сжал руку Петера и почувствовал, как эта холодная рука теплеет, забирая его тепло. Следующую фразу Голощеков сказал нарочно грубовато:

— Кордойя показывал мне твою детскую фотографию... Ту, что сделали в доме... где тебя держали. Я тебя узнал...

Ему вдруг стало трудно говорить, он отвернулся, чтобы не показать слезы, и только сильно и, видимо, больно сжал руку Петера.

— Ты мой сын... Ты Петр Голощеков, — прохрипел он.

ГЛАВА 8

Нет ничего более унылого, чем голландский пейзаж ранней весной. Небо жидко-голубое, точно размытая акварель; могучие облака, которыми так любили украшать свои полотна фламандские мастера, не разнообразят ленивого пробуждения природы. Серость земли, деревьев, каналов и ветряных мельниц, наплывающих одна за другой из-за горизонта, навеивает скуку. Все это лучше выглядит зимой, когда равнина придавлена тяжелым небом, и от этого тени кажутся глубже, гуще, и вся эта украденная у моря земля, и все, что стоит на земле, представляется основательнее, грубее, весомее. Весна точно отнимает у голландских равнин вес, и они прячут в небе и от этого кажутся неживыми. Может быть, поэтому на картинах старых мастеров редко встретишь изображение весны: они предпочитали писать осень, бурю, деревья с согбенными спинами, луга под грозой — природа, как и люди, скучна при затяжном штиле.

Поэтому даже такое короткое путешествие из Парижа в Амстердам, занимающее всего-то несколько часов, ранней весной кажется утомительным.

Не прошло и получаса с отхода поезда, а журнал, который Габриэль Тиссье прихватил в вокзальном киоске, шурша, сполз на пол, а сам следователь присовокупил свое ровное посапывание к похрюкиванию и присвистыванию других пассажиров.

В силу этого обстоятельства остается лишь признать, что за все время следования поезда от Парижа до Амстердама ровным счетом ничего не произошло: ни скандала, ни неудовольствия, ни даже умного разговора, о котором было бы полезно поведать читателям. События, достойные внимания, начались позже, когда, отправившись с вокзала на розыски Самюэля Хигеро (того самого, что был упомянут в письме Анны Детоор), Габриэль Тиссье обнаружил, что Хигеро исчез.

Не ведали о его местонахождении ни жильцы дома, ни хозяин мясной лавки по соседству, и лишь чистильщик улиц на вопрос Тиссье о жилье дома № 81 по набережной Спинозы удивленно сказал: «Ах, и в самом деле, куда же он запропастился?»

В полиции, в управлении кадрами корпорации МОНГ, где работал Самюэль Хигеро, в муниципальных больницах никаких сведений о господине Хигеро сообщить Тиссье не смогли. Он было взялся смотреть подшивку газет (случается, что иногда газеты пишут об исчезновении людей), но и там ничего относящегося к испанцу не обнаружил.

Таким образом, через несколько часов поиска Габриэль Тиссье был в самом натуральном тупике.

«Если тебе придется работать в портовом городе и если у тебя нет зацепки — иди к рыбакам в порт, потришь возле кофеен — что-нибудь да подцепишь...» — вспомнил он слова старого инспектора Бланшара. Вспомнив это, Тиссье вспомнил и другое, выуженное из письма Анны к Петеру Штейну упоминание о том, как тот жил на старой барже. Баржа эта носила имя «Анна».

Долго и безрезультатно ходил он среди обросших зеленью причалов, но баржа с именем «Анна» не попадалась, и тогда он стал спрашивать у всех, кто встречался на пути, и наткнулся наконец на парня, который помог.

— «Анна»? — переспросил парень (он возился с якорной цепью, обмазывая ее какой-то маслянистой жидкостью), — как же, знаю...

И принялся объяснять, как лучше добраться до баржи. Говорил он по-французски не совсем уверенно, и Тиссье несколько раз переспрашивал.

— А вы не из Парижа случаем? — с любопытством посмотрев на Габриэля, спросил парень. — Не по делу ли Анны Детоор? У нас в газетах об этом писали...

Тиссье кивнул головой.

— Что ж, Анну мы хорошо знали, — неожиданно приветливо сказал парень. — Давайте-ка я вас провожу.

У причала на заржавленной цепи болталась небольшая лодочка. Зачихал мотор, и они понеслись мимо чернеющих остовов старых кораблей, просмоленных барж, тральщиков, обвешанных по бортам автопокрышками. Лодочка ворвалась в узкую протоку, которая шла уже прямо по городу, и на проплывающих мимо набережных толпились люди, покрикивали продавцы цветов. Лодка то ныряла под горбатый мост, то резала поперек широкий канал и потом снова втискивалась в такую узкую канавку, что, казалось, дома, встающие чуть ли не из воды, можно тронуть рукой. Здесь, в путанице узких черных каналов, гнездились десятки маленьких рыбных базарчиков, и, когда лодочка проскакивала мимо них, до Тиссье доносился остро-йодистый запах рыбы и водорослей, на которых торговцы раскладывали товар. Словом — Амстердам! Северная Венеция, как утверждают знатоки.

Мотор затих, и стали слышны крики чаек, прогуливающих по кромке причалов.

— А вот и «Анна», — сказал парень, указывая на черную баржу, из бортов которой торчала местами свежая, еще не успевшая почернеть пакля.

— Там кто-нибудь живет? — спросил Тиссье.

— Не-ет, — протянул парень, очевидно догадываясь о причине вопроса. — Просто наши сердобольцы, пока нет Петера, решили в память об Анне чуть-чуть подлатать старушку. Анну здесь все знали, и когда это случилось... Словом, помянули, как могли, — будто извиняясь, добавил он.

Группа мужчин сидела на ящиках вокруг большой, похожей на таз кастрюли. Парень подвел к ним Габриэля. Судя по всему, то были обитатели соседних барж, собравшиеся для общей трапезы: они доставали что-то щепотьями из большой кастрюли и проворно направляли в рот.

Несколько внимательных глаз смотрели на следователя, а он был растерян и не знал, как вести себя в такой непривычной обстановке. Пока Тиссье соображал, старик, восседавший напротив него и с самого начала поразивший его необыкновенной опухлостью лица, с хрипом откашлялся и начал что-то говорить, отставляя в сторону руку с черной, прожженной трубкой. Парень, приведший Тиссье, стал переводить.

— Если господин следователь, приехавший из Парижа, — как-то очень торжественно и чинно заговорил старик, — хочет сделать добро для Анны Детоор, то мы ему, конечно, расскажем все, что знаем...

Тиссье, ободренный таким началом, хотел что-то спросить, но старик продолжал говорить:

— Но надо, чтобы господин следователь, приехавший из Парижа, знал, какой человек была Анна. Это был очень хороший человек, и мы все ее уважали. Пусть господин следователь знает, что мы, соседи Петера Штейна, решили все вместе отремонтировать и покрасить баржу, носящую имя «Анна». Мы хотим, чтобы эта баржа была красивой, как была сама Анна Детоор. Это все, что мы можем сделать для нее...

Старик с трубкой время от времени прерывал рассказ и говорил, кивая то на одного, то на другого соседа: «вот Хемессен скажет» или «вот Стууп скажет». И Хемессен, и Стууп, каждый, в свою очередь, так же чинно и неторопливо рассказывали, что они знали об Анне, о Петере, об отце Анны, о покойном Патрике Кноррене, которому раньше принадлежала эта баржа, но которая при его жизни не имела никакого имени, потому что у Кноррена не было ни жены, ни детей.

Из этих рассказов Тиссье узнал, что Анна была настоящим ангелом для бедных обитателей барж. Она снабжала их лекарствами, помогала устраивать в клинику, где работала медсестрой, приносила впавшим в нищету еду, одежду, а то и немного денег. Он слышал о том, как она ловко ела вместе с рыбаками молодую селедку, присыпанную рубленым луком. И Тиссье тоже дали попробовать свежей селедки из чана, и все с пристрастием смотрели, как он ест. Узнал Габриэль и то, что соседи осуждали Петера за поспешный отъезд, но на вопрос следователя в один голос заявили, что в несчастье Анны винить Петера никак невозможно. Так же обстоятельно, как об Анне, рыбаки стали рассказывать и о Петере, о том, как много-много лет назад он впервые появился возле этого причала («году в 1944-м», — уточнил кто-то) и что вначале все решили, что он немец, и, хотя немцев все кругом ненавидели, Патрик Кноррен, живший бобылем, взял парнишку на воспитание, и они прожили неразлучно до самой смерти старика. Только много позднее прояснилось, что Петер не немец, а «рус», из страны Россия: в округе было несколько детских домов, в которых всю войну хозяйничали немки, и что, видимо, мальчонка оттуда: немцы все побросали при отступлении.

Выслушав эти простые, безыскусные рассказы рыбаков, Габриэль Тиссье вдруг впервые за все время следствия почувствовал, что жизнь столкнула его не просто с уголовным, хотя и очень запутанным делом. Он теперь чувствовал себя не только следователем по делу Анны Детоор, но, как и эти едоки сырой селедки, участником непоправимой человеческой трагедии. И он, так же не таясь, но только в отличие от рыбаков торопливо и путано расска-

зал им обо всем, что приключилось с Анной и Петером в Париже.

Когда он кончил говорить, старик протянул ему на ломте темного хлеба свежую селедку и сказал, улыбнувшись впервые за весь разговор:

— Съешь-ка еще.

Только закончив жевать, Тиссье спросил о главном: не знает ли кто из присутствующих человека по имени Самюэль Хигеро.

— Каков он из себя? — спросил старик.

Но Тиссье мог только пожать плечами.

— Не тот ли, с черной бородкой, что иногда подвозил Анну на машине? — спросил один из обитателей барж.

— Похожий на испанца? — вставил Тиссье.

— Может быть, и на испанца, — неуверенно проговорил рыбак.

Все замолчали, засипели трубками. Чан, из которого таскали рыбу, был пуст, и Габриэль понял, что ничего нового ему здесь не узнать. Личность Самюэля Хигеро по-прежнему оставалась для него загадкой. Он уже поднялся, чувствуя, как от долгого сидения на ящике у него затекли ноги. Поднялись и обитатели барж. Протягивая на прощание руку, один из них сказал:

— Сходили бы вы в клинику, где работала Анна. Не знают ли там случаем...

* * *

Клиника, где прежде работала Анна Детоор, была в ведении некоего монашеского ордена и располагалась в боковом флигеле старого монастыря, обнесенного стеной.

Тиссье долго звонил у ворот. Было слышно, как звон гаснет где-то в глубине двора. Никто не торопился отворять. Наконец послышались шаги, створка смотрового оконца приоткрылась.

— Вам что нужно? — раздался женский голос.

— Следователь прокуратуры Тиссье, — поспешил отрекомендоваться Габриэль, опасаясь, как бы окошко не захлопнулось вновь: голос вопрошавшей был сух, неприветлив. — Я по делу Анны Детоор из Парижа, — добавил он.

Видимо, его слова вызвали некоторое замешательство, потому что ему ничего не сказали в ответ.

— Подождите, — послышалось наконец.

Ждать пришлось опять долго. Только минут через десять в воротах скрипнула дверь, и его впустили внутрь.

Монахиня в сером сделала знак следовать за ней. Прошли двор, пустой и узкий, по бокам которого возвышались два двухэтажных корпуса новой постройки. Но фасад, видневшийся

в глубине двора, был ранней, строгой готики, совершенно черный от вековой копоти.

Следователя ввели в это древнее здание и затем по каменной лестнице на второй этаж. От стрельчатых окон веяло строгостью и холодком. Во все время пути навстречу им попались лишь две темные фигуры, проскользнувшие мимо тенью. Однако эти тени, заметил Тиссье, держали в руках бумаги. «К докладу», — с усмешкой подумал он.

О том, что где-то рядом располагалась больница, можно было догадаться по едва уловимому запаху жавеля, с которым, очевидно, мыли полы.

Монахиня и Тиссье вошли в просторный кабинет с длинным массивным столом и стульями. «Как у директора департамента», — подумал Тиссье. Кроме очень низенькой и полной женщины в белой крахмальной треуголке, здесь никого не было. Женщина эта стояла возле старинного бюро с откинутой крышкой и приветливо глядела на вошедшего. В руке она держала самопишущую ручку. Но Габриэля поразил не вид монахини — такой домашний на фоне постной готики, даже не маленькие профессорские очки, небрежно сидевшие на носу, а огромный, метра в два высотой камин, в котором с гулом пылали толстые, разваленные надвое, колоды. От пламени камина, особенно после холодного полумрака монастырских коридоров, в кабинете было тепло и уютно.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала монахиня, указывая следователю на стул. Сама она села напротив. — Я вас слушаю.

— Я по поводу Анны Детоор.

Монахиня молча склонила голову, принимая к сведению, что ей сказали. Ее губы зашевелились: похоже, что она творила молитву.

— Продолжайте, — промолвила она, заметив, что пришедший пребывает как бы в замешательстве.

Тиссье и в самом деле не знал, с чего начать: ему впервые приходилось иметь дело с монахинями, и он боялся нарушить какой-нибудь неведомый ему этикет и тем самым испортить весь разговор.

— Скажите, сестра, я могу задавать вам вопросы? — спросил он, морщась от глупости собственных слов.

Монахиня едва приметно улыбнулась. Ей, видимо, нравилась почтительная сдержанность собеседника.

— Вы ведь для того и пришли, не так ли? — спросила она дружелюбно. Но вместо того, чтобы слушать, вдруг спросила сама: — Почему вы пришли к нам? Анна вам что-нибудь говорила?

— Нет... К сожалению, с Анной мне не пришлось говорить.

Но я был только что на набережной, где обитают ее знакомые, они и подсказали мне навеститься к вам.

— Называйте меня сестрой Годфридой, — вдруг сказала монахиня и опять тихо улыбнулась.

— Скажите, сестра, что вы знаете об Анне?

— Господин Тиссье, — начала монахиня, слегка склоняя голову набок. Казалось, она была в нерешительности. — Мы хорошо знали Анну, хотя она и не была нашей сестрой. Но для многих из нас она больше чем сестра — почти дочь. Анна была человеком редкого сердца, большой честности. То, что с ней случилось, и то, что об этом писали газеты, потрясло нас. Скажите... Сами вы верите в возможность самоубийства Анны? — Монахиня помедлила и едва слышно проговорила: — Это очень важно для нас.

— Нет, — просто ответил Тиссье.

— Та-а-ак, — задумчиво протянула монахиня. Она вдруг встала и в большом возбуждении пошла вокруг стола. — Я так и думала... Я ни минуты не верила в самоубийство Анны... Хочу вам сказать, — сочла необходимым пояснить она, — что Анна Детоор была человеком большой воли.

Монахиня снова помолчала. Потом спросила резко:

— Так кому же потребовалась ее душа?

— В этом деле, сестра Годфрида, много неясного. Пока я могу лишь кое о чем догадываться. И догадка моя состоит в том, что Анна — жертва невинная. Может быть, даже случайная. Кому-то она помешала. Могу даже предположить кому. Но почему, почему? Но пока я не нахожу ответа на все "почему".

— Почему вы приехали в Амстердам?

Сестра Годфрида уже справилась с охватившим ее волнением и спрашивала теперь спокойно, с привычной, видимо, деловитостью.

— Я ищу человека по имени Самюэль Хигеро...

— Самюэля Хигеро? — переспросила сестра, и в голосе ее Тиссье уловил странную перемену. Он поднял голову и увидел глаза сестры Годфриды. Они смотрели холодно и отчужденно. Вымученная улыбка едва скрывала внезапно возникшую враждебность. Она, видимо, и сама почувствовала эту перемену и постаралась придать голосу прежнюю мягкость, но это у нее плохо получилось.

— Скажите, господин Тиссье, вы когда приехали?

— Сегодня... Сегодня утром, — ответил Габриэль, сиюсь понять причину столь разительной перемены.

Сестра Годфрида явно была чем-то обеспокоена. Она схватила со стола колокольчик и нервно позвонила.

— Вам не кажется, что сегодня зябко, — спросила она. — Я хочу, чтобы нам принесли чаю, — добавила она и повела плечами, хотя в комнате с большим пылающим камином было, скорее, жарко.

На звонок вошла монахиня, и сестра Годфрида что-то зашептала ей на ухо. Через минуту в кабинет вошла другая сестра с чайным подносом. Поставив его на стол, она не ушла, а села в дальнем углу комнаты, положив руки на колени.

Появление в комнате еще одной сестры несколько успокоило монахиню. Когда она заговорила снова, речь ее была сухой, но спокойна. Было очевидно, что упоминание имени Самюэля Хигеро сильно напугало ее.

Все, что произошло далее, поразило Габриэля до такой степени, что он уже и не знал, как себя держать. Сестра Годфрида учинила ему подлинный допрос, словно не он, а она была следователем. Она выспросила, с каким поездом он прибыл в Амстердам и где остановился; поинтересовалась, каким образом Тиссье отыскал баржу по имени «Анна» и давно ли он служит во французской полиции. Смысл многих вопросов остался неясен для следователя: слегка покраснев, монахиня, например, спросила, женат ли он. В довершение всего, нимало не смутившись, сестра Годфрида попросила показать железнодорожный билет. К счастью, Тиссье в Париже купил билет «туда—обратно», и он был при нем. Вид обратного билета произвел на монахиню благоприятное впечатление. Лицо ее смягчилось. Улыбка как бы оттаяла на лице монахини. И в этот момент Габриэль догадался, что сестра Годфрида что-то знает, знает что-то важное, но опасается ошибиться в нем. «Принимает не за того, кто я есть? — вдруг осенило его. — Но с какой стати?»

— Сестра Годфрида, — как можно мягче проговорил Тиссье. — Я не знаю, почему вы мне не верите. Не ведаю, как вас убедить, но хотелось бы, чтобы вы поверили: я действительно следователь парижской прокуратуры, и мое самое искреннее желание — узнать правду о том, что случилось с Анной. Я понимаю, что мои документы вас не убедят. Но, может быть, вот это... — И с этими словами Габриэль вытащил из кармана маленький целлофановый пакетик, в котором он хранил страничку последнего письма Анны к Петеру Штейну. — Может быть, это успокоит вас?

Читала монахиня долго, несколько раз возвращаясь к началу. Время от времени она бросала поверх листка быстрый, полный беспокойства взгляд на следователя.

— Чья это кровь на письме? — спросила она так просто, словно речь шла о чернильной кляксе. — Анны?

— Господина Детоора, — пояснил Тиссье.

Губы монахини шевелились, и было не ясно, продолжает ли она чтение или шепчет молитву.

— Ну и что же, нашли вы г-на Хигеро? — спросила она, в упор глядя на следователя.

— Г-н Хигеро исчез три дня назад, — ответил Габриэль.

Известие об исчезновении Хигеро, казалось, не удивило монахиню. Удивили ее, скорее, «три дня».

— Три дня? — переспросила она. — Отчего вы решили — три дня?

— Оттого, что у него под дверью стоят три нетронутых бутылки молока.

— Так просто? — вдруг по-детски улыбнулась монахиня.

Габриэль развел руками: профессия-де требует смекалки. Он ждал, что сестра станет расспрашивать его о письме Анны: как попало, когда, но та вернула ему листок, не сказав ни слова. Она долго сидела в раздумье, склонив голову набок, и теперь было явственно слышно, что она шепчет молитвы. Лицо ее вновь было ясным, как и при начале разговора. Она сделала едва заметный знак, и сестра, сидевшая в темном углу, встала и исчезла через боковую дверь.

Когда они остались одни, сестра Годфрида подошла к окну и поманила к себе следователя. С высоты второго этажа хорошо была видна улица, ворота, возле которых он звонил около часа назад, и маленькая площадь с фонтанчиком. В этот обещенный час — было около двух часов дня — улица и площадь были пусты и казались декорациями старого спектакля.

— Видите ту машину на углу? — спросила монахиня, указывая на допотопный драндулет довоенного производства. Проходя мимо, Габриэль не обратил на него особого внимания: в Париже было обычным делом бросить отслуживший век автомобиль возле тротуара, и они месяцами гнили под дождем.

— Она стоит здесь тоже третий день, — как бы между прочим заметила сестра Годфрида.

Габриэль молча разглядывал машину, размышляя над тем, что ему поведала сестра.

— И зачем же, думаете вы, на площади стоит машина?

— А затем, очевидно, зачем пришли ко мне и вы, — вдруг озадачила следователя монахиня.

— Самюэль Хигеро? — почти выкрикнул следователь.

Но монахиня не обратила на его возглас внимания. Она подошла к камину и стала греть руки. Может быть, ее и в самом деле знобило? Отблески пламени прыгали по ее черной накидке.

— Вы хотите сказать, сестра Годфрида, — переходя на шепот, спросил Тиссье, — что Самюэль Хигеро здесь, в монастыре? Он прячется? Ему грозит опасность?

— Самюэль Хигеро в очень тяжелом состоянии, — скорбно проговорила монахиня, не глядя на следователя. — Три дня назад несколько неизвестных людей пришли ночью к нему домой и столкнули вниз из окна четвертого этажа. К счастью, он упал на крышу стоящего внизу автомобиля. Вероятно, бандиты решили, что он мертв, и ушли. Это его и спасло. Я до сих пор не знаю, каким чудом он добрался до наших ворот, откуда взял силы... На все воля божья...

— Вы сообщили в полицию?

— Г-н Хигеро просил не делать этого...

— Но почему? По горячим следам было бы легче найти преступников.

— Г-ну Хигеро виднее, — опустив глаза, проговорила сестра. — Мы только исполняли его волю.

Монахиня говорила о Самюэле Хигеро так, словно он имел над ней какую-то власть.

— Вы знали его раньше? — спросил Тиссье.

— Он был большим другом Анны Детоор, — ответила монахиня.

Потом они шли по длинному коридору. Все отчетливее пахло больницей. Навстречу попались несколько монахинь с деревянными крестиками на шее. При приближении сестры Годфриды они почтительно склоняли голову и молча проходили мимо.

Миновали несколько палат, но ни у одной из них сестра не задержала шага. Наконец они дошли до двери, которую сестра открыла вынутым из кармана ключиком. За дверью оказалась небольшая площадка, отличавшаяся от коридора тем, что стены здесь были выкрашены в приятные зеленоватые тона и стояло несколько стульев с обивкой и маленький столик с цветочным горшком.

— Здесь у нас небольшое отделение для больных сестер, — пояснила монахиня. — Но сейчас, благодаренье богу, все здоровы, и в одной из палат мы поместили г-на Хигеро. Здесь ему покойней.

Две внушительного роста монахини („монашеская гвардия“, — подумал про себя Тиссье), сидевшие с молитвенниками в руках, увидев сестру Годфриду, поднялись. Кивком головы та позволила им сесть.

На кровати, когда Тиссье ввели в комнату, он увидел человека с забинтованной головой. Одна рука до самого плеча

была в гипсе, грудная клетка стянута повязкой. Человек полусидел, опершись на подушки, и выжидательно, но дружелюбно смотрел на вошедшего. У Тиссье создалось впечатление, что Хигеро предупредили о его приходе. У испанца была внушительная черная борода, и, может быть, от этого лицо его казалось чрезвычайно бледным. Он молча указал следователю на кровать.

Надо было начинать, но Тиссье все медлил, ожидая, когда сестры выйдут, но те и не намеревались покидать комнаты.

«Уж если начинать, — подумал Тиссье, — то сразу с главного. Неизвестно, сколько нам разрешат говорить».

Он сунул руку в карман, чтобы достать письмо Анны, и заметил, как на мгновение замерли и потемнели глаза Хигеро. Следователь вытянул целлофановый пакетик, их глаза встретились, и, поняв друг друга, они рассмеялись. Сестры глядели на них с недоумением.

— У вас сигареты есть? — тихо спросил Хигеро.

Тиссье вытащил пачку, искоса поглядывая на монахинь. Сестры только ниже склонили головы. Мужчины закурили.

— То, что с вами случилось, — начал Тиссье, протягивая письмо Анны, — случилось вот из-за этого.

— Вот как? А я-то гадал, — с легкой иронией заметил Хигеро, однако поспешно взял письмо и стал читать.

— Почему вы в этом уверены? — спросил он наконец.

— Потому что это письмо, прежде чем попасть в мой карман, побывало в руках Мишеля Кордойя. Вам знакомо это имя?

— Ах, вот оно что! — прошептал Хигеро.

Лицо испанца стало очень серьезным, глаза глядели тревожно. Он сделал движение рукой, и его лицо сморщилось в болезненной гримасе.

— Вам ничего не нужно, г-н Хигеро? — поспешно осведомилась сестра Годфрида.

— Нет-нет, сестра, благодарю вас. Для моего здоровья очень полезен разговор с г-ном Тиссье, — ответил испанец тем тоном безобидной иронии, которого, видимо, придерживался в разговорах с монахинями. Он несколько раз глубоко затянулся, сказал:

— Расскажите-ка мне все по порядку. В газетах, я чувствую, нагородили много лишнего...

Когда следователь кончил говорить, в палате было так накурено, что сестра Годфрида не выдержала, подошла к окну и распахнула створки. После этого в сопровождении второй монахини она с молчаливым неодобрением выплыла из комнаты, оставив, однако, дверь полуприкрытой.

— М-да-а-а... История... — вздохнул испанец. — Вы, значит, не догадываетесь, зачем Петера Штейна переманили в Париж?

— Ясно, что его хотели для чего-то использовать, но для чего, убейте, не пойму. А без этого ничего не становится на свои места: ни исчезновение Анны, ни убийство г-на Детоора, ни странное поведение Мишеля Кордойя, ни даже ваше падение из окна.

— Что ж, теперь мы, пожалуй, можем связать концы этой истории, — неторопливо проговорил испанец.

Хигеро помедлил, разглаживая у себя на коленях одеяло, устроился поудобнее, спросил:

— Что вы знаете о русской нефти?

— О русской нефти? — пожал плечами Тиссье. Он мог ожидать чего угодно, но не такого вопроса. — Причем здесь русская нефть?

Испанец усмехнулся.

— Вы и не подозреваете, но именно она, нефть из Советской России, имеет к вашему делу самое прямое отношение.

— Она что же, может выступить в качестве свидетеля? — попробовал пошутить Тиссье, но испанец остался серьезным.

— Не свидетеля, а одного из главных действующих лиц.

— Тогда я ни черта не понимаю! — воскликнул Тиссье. — Это какая-то дикая головоломка. Здесь Амстердам. Убийство произошло в Париже. Сами вы испанец и скрываетесь у святых монахинь. А Россия с ее нефтью вообще на краю света...

— Тогда слушайте и заранее извините, если мои слова покажутся вам уроком дотошного учителя. Профессор, правда, из меня никудышный. Эх, жаль, сестра Годфрида ушла, — рассмеялся неожиданно испанец, — уж как бы ей это было интересно. Так вот... — И Самюэль Хигеро начал свой урок: — Для вас, конечно, не секрет, что Советский Союз обладает богатейшими природными ресурсами. Словом, всем, о чем может мечтать великая держава. Есть у русских и нефть. У нас привыкли считать, что русская нефть — это Баку. Братья Нобели в свое время не жалели денег на пропаганду, и название этого по-восточному загадочного города, похожее на крик муллы, часто мелькало в газетах. О залежах же нефти в Башкирии, например, мало кто знает. Что же касается перспектив нефти и газа Сибири, то об этом пока известно лишь немногим специалистам. Так вот: советская нефть — это кость в горле международных нефтяных компаний. Успокаивает их то, что взять эту нефть дьявольски трудно. Посудите сами: тайга, бездорожье, долгая и жестокая зима, а летом гнус, непроходимые болота... Не подступиться! Нужны огромные материальные и технические ресурсы. Русские хотели купить кое-что на Западе: мощные гру-

зовики, трубы большого диаметра, землеройные машины. По всем статьям получен отказ. Логика проста: чем больше русские потратят времени на освоение нефтяных богатств, тем больше нефтяным концернам удастся диктовать свою волю. Полагали, что на это потребуются многие десятки лет. Похоже, что прежние сюрпризы русских мало чему научили...

Словом, Москва обошлась своими грузовиками, своими трубами, и нефть, хотя и в небольших количествах, пошла на Запад — вначале в социалистические страны, потом в Италию и Грецию, немного во Францию. И представьте себе, эту зараженную, как писали газеты, чумой коммунизма нефть стали брать, и брать охотно: качеством она ничуть не уступает хваленной арабской. Более того, торговать с Советским Союзом выгодно. Известно ли вам, что в Италии, Западной Германии, во Франции есть целые заводы, которые работают исключительно на русский рынок? Откажись они от русских заказов — и заводы придется закрыть, а рабочих выставить за ворота. Короче, в нынешнем мире все сплетено вот так. — И Хигеро для наглядности сцепил пальцы. — Но есть немало фирм, которых не устраивает такое развитие событий. И среди них семь «черных сестер», семь нефтяных корпораций. Вся добыча, транспортировка, продажа нефти сосредоточена в их руках. Они-то и сговорились между собой и о ценах, и о дележе рынков. Вы понимаете теперь, что Советский Союз со своей нефтью у них как рыба кость в горле.

— Понять-то можно, — с сомнением проговорил Тиссье. — Но...

— Итак, по-вашему, все началось с приезда в Париж молодого художника Петера Штейна. Ведь так? Вслед за ним потянулась Анна, потом Эрнест Детоор...

— И все завертелось...

— Стоп, ошибка! — прервал его Хигеро. — Завертелось, Тиссье, раньше, много раньше. Скажите, вы когда-нибудь слышали такое имя — Голощеков?

— Голощеков? Да, да, припоминаю. Когда я составлял список гостей, приглашенных на охоту в имение Кордойя, мне назвали и это имя. Правда, он в охоте не участвовал. Там был еще итальянец... — Следовательно вытащил записную книжку, — ... по фамилии Анжелли.

— Ну вот! — отозвался испанец. — Кордойя собрал изысканную нефтяную компанию. Известно ли вам, что Сандро Анжелли — один из заправил итальянского нефтяного бизнеса, а профессор Голощеков — мировая величина по нефте-разведке?

Испанец уселся повыше и ненадолго прикрыл глаза.

— Полгода назад, — продолжал он, — в МОНГе начали подготовку к Международному конгрессу по нефти. Не стану обременять вас подробностями, скажу только, что конференция должна была сорвать попытки нефтедобывающих стран создать организацию, которая защищала бы их интересы. Однако обнаружился ряд обстоятельств, которые организаторы не сумели предвидеть. Во-первых, после национализации Суэцкого канала и последовавшей вслед за ней войны между Египтом и Израилем, войны, в которой Советский Союз активно поддержал позицию Египта, авторитет Советского Союза в арабском мире резко возрос. Поэтому, когда устроители конференции попытались бойкотировать Советский Союз, многие страны выступили против. Устроители вынуждены были сделать хорошую мину при плохой игре и направить СССР приглашение. Те публикации в прессе, которыми пугают сейчас западного обывателя, — о нефтяном и газовом крахе, якобы находящихся в «руках красных», — это попытка снизить эффект участия СССР в этой конференции. Однако это лишь часть правды. Разумеется, то, что Советский Союз требует оздоровить международную торговлю, сделать ее условия более справедливыми и взаимовыгодными, — не по вкусу «черным сестрам». Однако пугают не столько предложения — для того, чтобы извратить их суть, у них достаточно возможностей, — опасны конкретные контракты. Так вот, уже известный вам теперь профессор Голощеков приехал именно для переговоров по такому конкретному контракту.

Впервые о том, что замышляется что-то отвратительное, я узнал из разговора Глюка и Детоора. Меня они не стеснялись, считая своим: я ведь работал под началом Альфреда Глюка в СОИ. А шеф службы оперативной информации Глюк был весьма в близких отношениях с Эрнестом Детоором, нередко бывал у него в доме. В дело оказался замешан дружок Анны Детоор, некий Петер Штейн. Я не мог не предупредить Анну об этом. Естественно, она всполошилась. Неожиданный отъезд Петера в Париж еще больше напугал ее. Тогда-то она и обратилась ко мне с просьбой узнать подробности.

— А сама укатила вслед за Петером в Париж? — вставил Тиссье.

Он видел, как у испанца нервно дернулась щека.

— Об этом остается только жалеть, — сухо проговорил Хигеро. Но горечь невольно прорвалась наружу, испанец заговорил горячо, быстро: — Я уговаривал ее. Но что поделаешь? Это странное увлечение... Она не стала меня слушать,

считала, что я попросту завидую Штейну. — Горькая усмешка тронула губы испанца, он резко мотнул головой (привычный, видимо, для него жест), но теперь это движение причинило ему боль, и он едва слышно застонал. — Ревность очень изменила ее, — добавил он глухо. — Она слушала не разум, а сердце. Мы договорились, что будем поддерживать связь по телефону. Меня волновала судьба Анны. Я рассчитывал на то, что она встретится с Петером, все ему расскажет и дело уладится. Мог ли я предположить, что все обернется так трагически?

Испанец попросил еще сигарету и едва смог прикурить. Он был крайне взволнован собственным рассказом. Пальцы не слушались его. В палату уже несколько раз заглядывала сестра Годфрида, но он успокаивал ее: кончаем, кончаем...

— А теперь слушайте самое главное, — сказал он, затягиваясь дымом и закрывая глаза. — Вы, наверное, уже догадались, что Анна и сам Детоор во всей этой трагедии случайные страдалцы. Хотя, конечно, Эрнест Детоор не так невинен, как может показаться. Во всяком случае, никто так ловко, как он, не мог прятать в отчетах финансовые и налоговые махинации МОНГа. Пострадал он оттого, что, убитый горем, потерял над собой контроль и стал помехой в крупной игре. Паутина плелась не для них, а для профессора Голощекова. Склонить его к предательству они, очевидно, и не могли рассчитывать, но вывести профессора из равновесия, вовлечь его в громкий скандал и нанести затем жестокий психологический удар — о, для этого у людей, подобных Альфреду Глюку, есть целый арсенал средств. Глюку важно было связать имя советского представителя с какой-нибудь темной историей, а уж потом журналисты, подкармливаемые тем же Глюком или людьми типа Кордойя, взялись бы за дело. Не мне говорить вам, Тиссье, — вы это знаете лучше меня, — какую роль играет пресса даже в экономической жизни у нас на Западе. Часто судьба того или иного контракта, сделки, увы, предreshается не экономистами, а теми, кто заказывает музыку большой прессе. Так вот: МОНГу нужна была какая-нибудь острая, замешенная на скандале сенсация. И вот тут...

Хигеро хотел приподняться, чтобы дотянуться до сигарет, лежавших у него на коленях. От напряжения у него на лбу выступил пот.

— Подождите, Тиссье, — прошептал он, заваливаясь обратно на подушки, — подождите...

В комнату уже вбегали сестры. Звякнул о металлический подносик шприц. Хигеро терял сознание...

ГЛАВА 9

В пустом вестибюле гулко отдавались шаги. Араб-уборщик неторопливо елозил шваброй: пол международного центра конференций сиял чистотой. Было видно, как за окном, в японском садике, человек в фартуке высаживает цветы.

Фреска на стене — голубые, палевые размытые тона — изображала в абстрактной манере космос. Все это было похоже на сцену из замедленного фантастического фильма. Реальностью была неровная, покалывающая боль в сердце.

Голощеков медленно, экономя силы, прошел через холл, украшенный гобеленами, — они изображали четыре части света.

В конце холла — зал заседаний. Голощекову казалось, что он шел до него целую вечность: мимо проплывали тканые Европа, Азия, Америка...

Профессор остановился возле двери, чтобы перевести дух. Прислушался.

В зале было беспокойно. Несколько делегатов стояли возле кресла председательствующего, индуса, и что-то пытались ему доказать. Индус недоверчиво покачивал головой. Послышался щелчок микрофона.

— Господа, прошу внимания... Я в затруднительном положении, — начал индус. — У нас по повестке дня выступление профессора Голощекова. Его, к сожалению, нет. Г-н Кордойя предупредил меня перед началом заседания, что профессора, по всей вероятности, не будет: есть сведения, что у него плохо со здоровьем, что он в клинике и, вероятно, срочно вылетит в Москву. Но... — Индус поднял руку, успокаивая зашумевший зал, — я хорошо знаю г-на Голощекова. Мы вместе работали в Индии. Это очень обязательный человек. Он не может уехать, не предупредив. Я предлагаю еще немного подождать.

— Это нарушение регламента, — послышался чей-то голос. — Есть и не менее интересные докладчики...

— Я бы предложил все-таки объявить небольшой перерыв, — настаивал председательствующий. — Было бы жаль...

Голощеков толкнул дверь.

— Прошу извинить меня, господа, — громко, чтобы его голос не потонул в мгновенно поднявшемся шуме, проговорил профессор.

— Тишина, господа. Прошу тишины, — улыбаясь, прокричал в микрофон индус. — Слово — представителю Советского Союза профессору Голощекову.

В зале наступила тишина. Было слышно, как скрипнуло чье-то кресло.

Профессор поднял голову и встретился глазами с Мишелем Кордойя.

— Господа делегаты, нефть часто называют черным золотом. В обмен на нефть сейчас, в самом деле, можно купить все. Экономисты все чаще называют нефть новой валютой. При этом, к сожалению, часто забывают сказать, что нефть — это богатство той нации, в земле которой она лежит...

Голощеков видел, как с кресла встал Мишель Кордойя и медленно пошел к выходу. В дверях он на мгновение остановился, с ненавистью взглянул на говорившего. На его губах дрожала заученная улыбка.

В вестибюле его чуть не сбили с ног два обвешанных аппаратурой корреспондента.

— Скажите, это верно, что на конференции выступает советский делегат? Он уже говорит?

— Подите к черту! — грубо оборвал Кордойя и поспешно направился к выходу.

Надо попытаться замести следы. Петер Штейн слишком много знает. Пока он находится за стенами «Санте», он лакомая приманка для репортеров. Если до него докопается левая пресса, на адвокатской карьере можно ставить крест. И тогда... — Кордойя сморщился, как от острой зубной боли, — тогда Хоорст первым поспешит списать его со счетов корпорации. Можно только представить, с каким наигранным сочувствием будет улыбаться Альфред Глюк. Нет, Петера надо вытащить из тюрьмы...

Кордойя вошел в кафе и спустился в подвальчик, где была телефонная будка, набрал номер.

— Шарль, это ты?

— Это вы, Мишель? В чем дело?

Голос помощника префекта звучал странно настороженно. Обычно он был много любезен. Впрочем, все это пустое. Просто сегодня неудачный день.

— Я по поводу Петера Штейна... Его освобождения. Вы обещали...

— Во-первых, я ничего не обещал, — понижая голос, поспешно ответил Шарль. — Во-вторых, я уже ничего не могу сделать. Штейна увезли из тюрьмы. Где он сейчас, не знаю. Слышал, что из «Санте» его забирали следователь

Тиссье. Вокруг этого дела какая-то непонятная нервозность. Префекту полиции звонили из министерства юстиции.

— Ты не знаешь, в чем дело? — спросил Кордойя.

— В голландской прессе появились какие-то публикации по делу Анны Детоор. Тебе имя Хигеро ничего не говорит?

— Предположим...

— Он дал интервью коммунистической газете, и его тут же подхватила вся голландская пресса. Нам журналисты уже оборвали телефон. Очень интересуются тобой и... каким-то русским профессором.

— Мне нужно знать, где находится сейчас Петер Штейн, все остальное — болтовня. Пустые слухи, — раздраженно заметил Кордойя.

— Может быть, и слухи, но...

Говоривший еще больше понизил голос, и Кордойя с трудом различал его слова...

—... по старой дружбе, Мишель... Мне кажется, вам лучше на время выехать из Парижа, может быть, даже из Франции. Префект распорядился подготовить ваше досье. Я слышал, что речь идет о попытке шантажа советского делегата на конференции по нефти. Ваше имя упоминалось в этой связи... Это серьезно, Мишель. Вы понимаете? И еще одно... Говоривший, казалось, испытывал какое-то неудобство. Он помедлил, потом сказал сухо, точно они не были знакомы много лет: — Прошу вас больше мне не звонить...

Кордойя пошарил в кармане, нашел еще одну монету.

— Вас слушают...

— Это я, Поль, — отозвался адвокат, узнав голос своего дворецкого Поля Лармино. — Вы откуда говорите?

— Не беспокойтесь, г-н Кордойя. Здесь никого нет.

— Прекрасно, Поль. Слушайте... Мне необходимо срочно уехать. Вам будут этими днями много звонить. На телефонные звонки не отвечайте. Если кто-то приедет, говорите, что г-н Кордойя по срочному делу своего клиента выехал... в Америку. Вы меня поняли?

— Да, г-н Кордойя... Вы выехали в Америку.

— Хорошо, Поль... Теперь по дому. Машины продайте. Прислугу увольте. Да, рассчитайтесь с ними щедро, и пусть поменьше болтают. Теперь последнее. Привезите мне мой дорожный чемоданчик, — Кордойя взглянул на часы, — к Лионскому вокзалу к двум часам. Встретимся в кафе «Терминус» напротив вокзала.

Когда Кордойя вышел на улицу, лицо у него было жесткое, непроницаемое. Он сел в машину и, вдавливая до упора акселе-

ратор, понесся по мокрым после дождя улицам. На поворотах выли тормоза, дымились покрышки.

Адвокат торопился. У него еще было время отыгаться. Возле телеграфного отделения на улице Пастера он резко затормозил.

— Срочный с Марселем.

Кордойя выложил на прилавок деньги.

— Идите в третью кабину.

Номер ответил почти сразу.

— Мне Жоржа Нантье.

— Ну я, — лениво отозвался голос.

— Говорит Кордойя...

— Ах, это вы, г-н Кордойя. Простите, я вас не сразу узнал.

Голос марсельца изменился в одно мгновение. Теперь он был почти подобострастен. И вместе с тем в этом подобострастии чувствовалось что-то недобро наигранное: похоже, что и испуг, и почтение были фальшивыми, частью какого-то взаимно принятого ритуала, маской, скрывавшей природу их настоящих отношений. Впрочем, можно было догадаться, что эта маленькая игра тонов и нюансов устраивала обоим, может быть, даже забавляла. Кордойя привычно разыгрывал мэтра, зная, между тем, что в обговоренном некогда сценарии их взаимоотношений в некий неконтролируемый им самим момент может произойти смена декораций и тогда он, Кордойя, вынужден будет понижать тон, льстить и выдавливать из себя вынужденные улыбки.

Но в сегодняшнем спектакле, в котором, впрочем, не было, во всяком случае не должно было быть, зрителей, ему отведена первая роль, и он играл ее уверенно, четко, почти с вдохновением.

— Никуда не выезжайте из города, — тоном приказа говорил адвокат. — Сегодня вечером встретимся в баре «Урсен» в старом порту. Мне потребуются ваши услуги. И не только ваши. И оденьтесь, черт возьми, поприличней. Вам придется быть на людях...

— Опять с дамочкой, — позволил себе некоторое ироническое отступление голос на другом конце провода.

— Не болтайте, когда вас об этом не просят, — сухо обрезал адвокат. — Дело много серьезней, чем катание с дамами. К завтрашнему дню найдите пару надежных людей. И подостойней...

— Подостойней? — удивленно отозвался голос. — Но у нас все люди достойные. Разве мы вас когда-нибудь подводили?

— Вы меня плохо поняли. Я просто имею в виду, чтобы они были достойно одеты — возможно, придется лететь самолетом. И, наконец, последнее...

Голос адвоката зазвучал глуше, слова потекли медленнее, точно он, выговаривая их, сам еще не был уверен, что поступает так, как надо. Говоря, он точно еще размышлял над ходами затянувшейся шахматной игры.

— ... Да, последнее. Относительно «мадемуазель», с которой вы совершили такое увлекательное путешествие... Надеюсь, она в полном здравии?

— Все, как вы велели. Разве что чуть-чуть побледнела: без солнечного света дамы, знаете, имеют привычку бледнеть.

— Вот и прекрасно. Теперь и это поправится...

— Вы имеете в виду...

— Да, мой друг, да, — каким-то усталым тоном промолвил Кордойя. — Дамочку следует отпустить. Как это у вас водится? Проводите ее куда-нибудь за город... и лети, птах!

— А если эта птаха прямым ходом пойдет в комиссариат полиции или, хуже того, в газету? Уж, по крайней мере, позвольте попугать. Так сказать, для профилактики...

И говоривший в Марселе довольно хмыкнул.

— А вот этого не надо. Это украсит газетную историю...

— Вы хотите сказать?

— Вы правильно догадались, Нантье! С вами приятно работать. Я именно это и имел в виду — хорошая газетная история вокруг этого дела нам совсем не повредит. Даже напротив. Что касается самой девчонки, она нам теперь совершенно безвредна. Так что будьте галантным. Если сможете...

Кордойя вышел, поигрывая ключами от машины. Теперь он был почти спокоен. Времени до отхода марсельского экспресса было больше чем достаточно. Адвокат не торопясь сел в машину, медленно поехал в сторону Больших бульваров. Возле площади Опера он остановил машину и вошел в «Кафе де ля пэ».

Стоял тот благословенный час парижской жизни, когда утренняя толпа схлынула, обед еще не начинался и улицы были почти безлюдны.

В весеннем освещении, после дождя, Итальянский бульвар парил в легком тумане, и старинные дома со своими балконами, балюстрадами, лепными карнизами казались размытыми, точно на полотне Альбера Марке.

Кордойя сидел на освещенной солнцем террасе и помешивал ложечкой кофе. Ему было чуть грустно расставаться с этим чудесным городом, с бульварами, афишными тумбами,

кафе. «Еще маленькую чашечку... и пора». Он поманил официанта.

Пока гарсон ходил за кофе, Кордойя с рассеянным видом чертил ложечкой на столе замысловатые письмена. Он думал о том, что обязательно вернется в этот город и, может быть, скоро. Еще не все кончено! В его игре есть сильные карты...

Когда официант принес заказ, посетителя за столиком уже не было. Под пепельницей лежала десятифранковая купюра. Клиент не скупился на чаевые...

* * *

В зале было беспокойно. Профессора несколько раз прерывали выкриками: «Это советская пропаганда!», но всякий раз их заглушал гром аплодисментов. Председательствующему долго приходилось успокаивать зал. В какой-то момент ворвалась целая группа репортеров. Щелкали затворы, слепили блицы, и в этот момент профессору казалось, что он, как вчера, проваливается в зияющую бездну...

Вчера с утра к нему неожиданно пожаловал Кордойя. Впрочем, «пожаловал» было не совсем верное слово. Он ввалился в номер без предупреждения. Тон его был непонятен. В нем звучало что-то новое, жестокое и злое. Адвокат вел себя, точно находился в собственной гостиной.

— Должен вас огорчить, профессор.

— В чем дело? — насторожился Василий Данилович.

Сразу же после посещения тюрьмы и разговора с Петером Голощеков поставил в известность посла и консула, что в Париже нашелся его пропавший в войну сын, что он в настоящее время находится в тюрьме по делу Анны Детоор. Голощеков просил выяснить истинную меру его вины и возможность возвращения Петра на родину.

Консул обещал немедленно связаться с французскими властями. «Не волнуйтесь, Василий Данилович, — успокаивал его консул, — сделаем все, что от нас зависит. Думаю, что французы пойдут нам навстречу...»

— Так в чем дело? — нетерпеливо переспросил Голощеков адвоката, чувствуя, как его охватывает нервная дрожь.

— К сожалению, вина Петра подтвердилась. Вероятно, будет суд...

— Вероятно? Что значит «вероятно»?

— А то, господин Голощеков, что суда может и не быть. И это зависит исключительно от вас...

— От меня?

— Если мы с вами договоримся...

Кордойя замолчал. В его тонких нервных пальцах играла длинная сигаретка. Было видно, что он нервничает. Но глаза, неотрывно следящие за профессором, смотрели сухо, холодно. Они точно жили сами по себе, исполняя заранее отведенную им роль.

— О чем же мы с вами будем говорить?

Голос у Голощекова звучал глухо, сипло. Слова, казалось, с трудом пробивались через схваченное спазмом горло. Собственно, профессор понимал, что вопрос прозвучал глупо, нелепо, что его вообще не следовало бы задавать. Но в иные минуты человеку нужен именно такой ничего не значащий вопрос, нужно время, чтобы унять яростное биение сердца. Кордойя что-то говорил, но профессор едва слышал его. Слова адвоката доходили до него точно сквозь толстый слой ваты — бесцветные, пустые...

—... Все это изменило бы освещение, — совсем уже другим тоном, поспешно рассыпая слова, говорил Кордойя. — Ибо мы смотрели бы на вас как на человека понимающего... Как на своего человека. Что касается разговора, темы, так сказать, разговора, то вы, как известный ученый и специалист, нашли бы здесь, я имею в виду на Западе, самое внимательное ухо. Поймите, профессор, мы прекрасно понимаем ваше отношение к поверхностным, так сказать, явлениям жизни. И то, что хорошо для одних — все эти внешности и атрибуты успеха: машины, виллы, яхты, — все это вас мало волнует. Но и вы имеете дело с серьезными людьми. Вам и предлагают серьезное. И если вы на какое-то мгновение подумали теперь, что Мишель Кордойя мелкий провокатор, желающий завлечь вас в некие грязные сети, то вы ошибаетесь. Будьте уверены: никто от вас не станет требовать политических заявлений, мелкой газетной суеты. Вы будете продолжать свою работу, свои труды, которые принадлежат человечеству. С той только разницей, что у вас будет больше возможностей и... — Кордойя вздохнул, точно бы уже с облегчением, — рядом с вами будет ваш сын...

Профессор по-прежнему молчал. Лицо у него было хмурым, отяжелевшим, точно он провел несколько бессонных ночей. У него было такое впечатление, что все его тело окаменело, и если бы он захотел теперь подняться, то не смог бы преодолеть собственного веса.

— И, наконец, — продолжал Кордойя, — и, наконец... вы

ведь усталый, больной человек. О, не отрицайте. Нам многое известно. Ну, например, что у вас застарелая стенокардия. На Западе, между тем, прекрасные врачи... Это, я надеюсь, вам известно...

Профессор тяжело дышал. У него в самом деле было больное сердце. И теперь он почувствовал, как тупая, сковывающая боль разливается вокруг сердца. Он боялся, что не сможет, не успеет...

Он сделал усилие и медленно приподнялся со стула. Кордойя видел, как тяжело двинулись его ноги, как он перенес тяжесть своего массивного тела на одну, потом на другую ногу, сделал шаг вперед, увидел, как рука Голощекова медленно, точно ее держала невидимая пружина, потянулась к столу, на котором стояла массивная, из литого бутылочного стекла пепельница.

Уловив это движение, Кордойя вскочил. В его глазах мелькнуло замешательство, испуг, ярость.

— Вы с ума сошли, Голощеков, — выкрикнул он. — Одумайтесь! Вы пожалеете! Вспомните о сыне...

— Вон, мерзавец! — закричал Голощеков. — Вон... — упавшим голосом прошептал он, когда за адвокатом с шумом захлопнулась дверь. Он бессильно опустился на пол, тут же, у двери. Сердце работало с глубокими перебоями. Профессор с трудом дотянулся до телефона и набрал номер посольства...

* * *

Все это было лишь вчера... Было... И не только это...

Пришел в себя профессор в клинике. Первое, что он увидел, было добродушное лицо посольского доктора. Рядом стоял консул, старый знакомый Голощекова.

— Где я? — спросил профессор.

— Не волнуйтесь, Василий Данилович, — успокоил доктор. — Вы в клинике, среди друзей...

— Какое сегодня число?

— Все то же, профессор. Сейчас пять часов вечера. Мы сделали укол, и вы проспали несколько часов.

— Вы с ума сошли! У меня завтра выступление!

— Все будет зависеть от вашего самочувствия, профессор. Посол просил передать, чтобы вы не волновались. Никакой катастрофы не произойдет, если вы не... Вот и Павел Никитич

подтвердит, — обратился доктор к консулу, заметив волнение Голощекова.

— Какая ерунда... Выступить необходимо. Я совершенно нормально себя чувствую.

И профессор сделал попытку встать.

— Успокойтесь, Василий Данилович. Будет возможность — выступите. Вот и Павел Никитич говорит...

— В самом деле, Василий, — забасил консул. — Мы советовались с послом... Как говорится, утро вечера мудренее. А сейчас отдохни. Нам предстоит разговор.

— О Петере?

— И о нем. Словом, не волнуйся. Тебя тут дожидается один человек. Хороший человек. Он несколько часов назад приехал из Амстердама. Он тебе все и расскажет.

Консул обернулся к доктору.

— Это профессору не повредит?

— Думаю, что напротив...

— Ну и прекрасно.

Консул подошел к дверям палаты и кого-то позвал.

Вошел молодой человек в обвислом помятом плаще с густой растрепанной шевелюрой. Голощекову показалось, что он где-то его видел.

— Профессор понимает по-французски? — спросил вошедший, обращаясь к консулу.

Тот утвердительно кивнул.

— Здравствуйте, г-н Голощеков. Меня зовут Габриэль Тиссье. Я следователь по делу Детооров.

Голощеков видел, как доктор и консул вышли из палаты. «Не хотят мешать разговору». Голощеков встретился глазами со следователем, и ему показалось, что тот одобряюще улыбнулся.

— Мой сын в самом деле виновен?

— Петер Штейн не виновен. Кроме того... он не ваш сын...

— Как?!

— Я вам сейчас все расскажу, — поспешно проговорил Тиссье и, точно желая успокоить профессора, потянулся к нему рукой.

Тот лежал неподвижно, с усталым, вдруг постаревшим лицом.

— Вам знакомо имя Самюэля Хигеро? — спросил следователь.

— Кто это? — едва слышно прошептал Голощеков.

— Один из сотрудников МОНГа. Работает в СОИ, в секретной службе оперативной информации. Но это только наз-

вание. Фактически служба занимается подготовкой тайных операций против конкурентов и противников МОНГа. Он мне обо всем и рассказал. Каким-то образом сотрудникам СООИ удалось узнать, что ваш сын был вывезен во время войны из Советского Союза в Германию и так и не был найден. Было решено его найти. Поиск облегчался тем, что нынешний начальник службы оперативной информации Альфред Глюк работал во время войны в «Лебенсборне», в организации, которая занималась кражей детей. Уверен, что сама идея использовать сына против отца принадлежала именно Глюку.

— Что с Петером? — нетерпеливо прервал следователя Голощеков. — Вы сказали...

— Да, да... Все было продумано до деталей. Но дело в том, что настоящего Петра Голощекова им разыскать не удалось. Мальчик, видимо, оказался из тех, кого фашисты называли «неценные дети». Хигеро рассказал мне, что по тогдашней практике их отправляли в концентрационные лагеря на работы. Следы его в послевоенной неразберихе затерялись. Но Глюку при помощи американцев удалось разыскать в архивах ЦРУ его досье. Более того, в нем обнаружилась подлинная фотография Петра Голощекова, вашего сына. Теперь вы понимаете?

Василий Данилович ничего не ответил. Он сидел с опущенной головой. Глаза его были полуоткрыты. Он редко и тяжело дышал. В дверях палаты появился доктор со шприцем в руке. Профессор поднял голову и, жмуря покрасневшие глаза, спросил:

— Кто же такой Петер Штейн? Ведь он...

— Да, да, он в самом деле русский. Один из тех несчастных, которые, как и ваш сын, прошли через «Лебенсборн». Но он не Петр Голощеков...

Тиссье видел, как опустились и затряслись плечи профессора. Он тихо встал, уступая место доктору, и пошел к двери, где его поджидал консул.

— Г-н Тиссье, — услышал он голос сзади.

Следователь обернулся. Голощеков стоял на ногах, чуть придерживаемый доктором. Вид у него был строгий, почти официальный.

— Я могу еще раз видеть Петера Штейна?

— Вы хотите его видеть? — с удивлением переспросил Тиссье. — Но ведь он...

— Я уверен, что он ни в чем не виноват, — прервал следователя Голощеков. — Он такая же жертва «черных сестер»,

как Анна Детоор. Я должен сам рассказать ему все это... И еще... — казалось, профессор не находил нужных слов. Он отвернулся и проговорил глухо: — Я хотел его увидеть... в последний раз...

* * *

Из зала толпой выходили участники конференции. Гудели голоса. Было видно, что выступление советского делегата взволновало многих. В просторном холле перед залом заседаний образовались кружки спорящих. Профессор вышел в окружении нескольких человек. Их тут же оттеснили репортеры.

— Господа, господа, угомонитесь, — увещевал их Голощеков. — Через час пресс-конференция, и я отвечу на все ваши вопросы.

— Г-н Голощеков, для вечерних новостей! Что вы думаете о возможностях энергетического сотрудничества между СССР и Западом?

— Скажите, профессор, это верно, что у вас в Париже нашелся сын?

В глазах профессора мелькнуло выражение тоски. Он растерянно озибался вокруг.

— Василий Данилович, мы здесь...

Сквозь толпу протискивались консул и доктор.

«Вот и слава богу», — подумал он, чувствуя, что от усталости, нервного напряжения последних дней едва сдерживает слезы. «Как, однако, я постарел за эту командировку», — мелькнуло в голове.

Ему жали руки, что-то говорили, куда-то вели. Он был среди своих...

ЭПИЛОГ

Голощеков знал, что теперь все позади, что уже ничего не может, не должно случиться. Через сутки он будет на родной земле. Уже и теперь в вагоне два советских проводника, рядом в купе молодые ребята — артисты Московского цирка, возвращающиеся с гастролей. В другом купе дипломат из посольства, оказывающий ему знаки внимания. Должно быть, слышал...

За окном стало светлее. Деревья, придорожные постройки обрели цвет. Ожили дороги, над которыми с грохотом проносятся состав «Париж — Москва». Растревоженный утренним ветром, в низинах клубился туман. Было видно, как он медленно растекался по сероватым от росы лугам.

Запахло дымком: проводник раздувал титан. На какой-то маленькой станции в поезд село несколько солдат в серых мундирах.

— Пограничники, — пояснил проводник. — Скоро Берлин.

В Берлине на вокзале было шумно. Возле подножек толпились пассажиры с чемоданами. На платформе Голощеков увидел своего попутчика-дипломата. Тот покупал газеты.

По проходу бегали дети, пассажиры несли чемоданы, и профессор, чтобы не мешать, ушел в купе. В коридор он вышел, когда поезд уже тронулся: хотелось еще раз увидеть купол рейхстага.

Дипломат с немецкой газетой стоял у окна и с хмурым видом читал.

— Что нового пишут немцы? — спросил Голощеков.

— У немцев ничего особенного, — отозвался дипломат. — А вот Анжелли жалко. Я слышал, он в войну в партизанах был...

— Анжелли? Почему жалко? — не понял профессор.

— Самолет взорвался при взлете.

— Анжелли погиб? — чувствуя, как его обдало жаром, спросил профессор.

— Погибли все пассажиры, в том числе Анжелли. Вы его знали?

— Да, да, — ошеломленно проговорил Голощеков. И вспомнил, как всего несколько дней назад, в хороший солнечный день, они сидели вместе в уютном парижском кафе и Сандро призывал его к осторожности: «черные сестры» умеют мстить...

ПАРИЖ.

ОГЛАШЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ



Он вставал рано, но еще раньше вставали рыбаки, и когда незнакомец выходил на пляж, шаланд уже не было видно. Было лишь море, причудливые, изрезанные временем скалы, казавшиеся в эти предутренние часы почти голубыми. Он любил бродить по пустому берегу, и местные рыбаки, более всего ценившие в людях молчаливое спокойствие, уже начали называть его уважительно «синьоре скритторе» — господин писатель.

Незнакомец появился здесь недели три назад. Его привезли из города на машине какие-то люди и поселили в хижине старухи, которая жила на земле так давно, что все уже при жизни начали забывать, кем она была, кем был ее сгинувший в море муж и сколько ей было лет; старожилы поселка помнили лишь ее имя и знали еще, что на севере — то ли в Риме, то ли в Милане — живет ее сын. Раз в месяц старуха ходила в ближайший городок на почту и получала присланные им деньги. Среди людей, привезших сюда этого человека, был ее сын.

Он, видимо, любил одиночество, этот человек, потому что никуда не отлучался от покосившейся хижины старухи, разве что по субботам ходил на рынок, где покупал для себя немного вяленой рыбы и молодого овечьего сыра. Никто не знал, откуда и зачем он приехал сюда и сколько проживет среди покрытых жестким ковылем дюн. Он никому не мешал, и рыбаки, возвращаясь с моря, проходя мимо хижины старухи, с почтением поглядывали на открытое окно, из которого доносился непривычный для их слуха стрекот пишущей машинки. Поэтому-то они прозвали его «синьоре скритторе» — господин писатель.

Несколько раз к незнакомцу приезжали какие-то люди. Городские. Они бродили вместе с ним по кромке берега и о чем-то говорили, и спокойный человек вдруг становился беспокойным, его лицо делалось жестким, злым, он размахивал руками и показывал в сторону моря, но там, кроме легкой розоватой дымки и нескольких лениво парящих чаек, ничего не было видно. Никто из местных жителей не мог догадаться, о чем говорили и спорили эти приезжие люди. Догадывались они теперь только о том, что жизнь этого человека была очень непроста и совсем не так спокойна, как им казалось вначале.

Последний раз к нему приезжали дня три назад, и впервые за все это время он зашел в местную таверну, где вместо вывески над входом было прибито рулевое колесо от старого корабля. Лет десять назад во время большой бури колесо выбросило волной почти к самым дверям таверны, и с тех пор рыбацкий кабачок, у которого прежде не было никакого названия, стал называться «У штурвала».

Приезжие пили легкое местное вино: кабатчик покупал его у крестьян из соседних нерыбачких деревень.

Из разговора приезжих кабатчик понял лишь то, что кто-то должен скоро уехать в другую, далекую страну, но, поскольку все сидевшие за столом обращались к «синьору скритторе», кабатчик решил, что речь шла именно о его отъезде. Когда вечером он рассказывал об этом разговоре рыбакам, завсегдатаям своего маленького заведения, то, напрягая память, старался вспомнить название той страны, куда собирался уехать незнакомец, но так и не вспомнил.

Сегодня незнакомец никого не ждал. Он неторопливо вышел из хижины и медленно пошел к морю. На всем протяжении берега не было видно ни души, и он подумал о том, как странно устроена жизнь на земле: совсем недалеко, на севере, лежат большие города, где на улицах черно от людей и где по вечерам бездомные бродяги спорят друг с другом за место на садовой скамейке; а здесь — разогретый песок, пустынное море и дюны на берегу. И он один среди этих дюн. По крайней мере, думал, что один, но он ошибался.

Когда до воды оставалось не более десятка метров, незнакомец почувствовал некоторое беспокойство, словно кто-то пристально смотрел ему в спину. Он обернулся, но никого не увидел. Да и кого он мог увидеть? Кто знал, кроме верных друзей, что он здесь? Кто мог нарушить его одиночество? Через несколько шагов он снова обернулся, и теперь ему показалось, что за дальней дюной что-то блеснуло. Как ни вглядывался вдаль — разглядеть что-либо было невозможно, и он решил, что это маленький голыш или обломок ракушки, заигравший под утренним солнцем.

Но то был не обкатанный волнами кусок кварца и не перламутровая поверхность створки моллюска. Глазок, который вглядывался в идущего по песку человека, был голубоват и холоден. То был глазок оптического прицела снайперской винтовки.

Человек, державший ее в руках, был профессионалом и относился к данному ему поручению как к обыденной работе. Поэтому он был очень спокоен. Движения его были раз-

меренны, неторопливы. Он знал, что выполнит то, за что ему уплачено вперед, и, прежде чем послать пулю вслед идущему к морю человеку, спокойно и не без любопытства разглядывал его в окуляр прицела.

Он увидел, как человек нагнулся, чтобы поднять что-то с песка, и его загорелая шея исчезла на несколько мгновений из поля зрения, и перед окуляром развернулось казавшееся сквозь оптику выпуклым море. В прицеле оно было голубее, чем на самом деле, и далеко на горизонте сквозь мощные линзы можно было разглядеть тоненькие мачты возвращающихся с лова шаланд. Пора!

Прицел нащупал шею, на мгновение задержался на коричневой родинке, вокруг которой можно было разглядеть несколько завитков начинающих сесть волос, и медленно пополз вверх к затылку...

Когда через полчаса шаланды уткнулись в песок и рыбаки стали вытаскивать на берег сети и корзины с еще трепещущей сардиной, они увидели невдалеке человека, распластавшегося на песке. Его лицо было в воде, и легкая пенистая волна лизала рану на затылке. То был «синьоре скритторе», человек, которого рыбаки начали уважать, потому что они больше всего ценили в людях молчаливое спокойствие...

Межсезонье и скука... Даже вокзал, кажется, понимал это: примолк, дремал, пропитанный осенней парижской сыростью. Через товарный двор с бульвара Мажента занесло ветром два тронутых ржавчиной платановых листа, они покружились в ленивом танце возле пустого газетного киоска, сунулись в проем пивного зала и, когда их вытряхнул оттуда скучающий официант, поползли по асфальту, понуждаемые сквозняком, мимо сиротливо стоявших багажных тележек и большого табло с тускло просвечивающей надписью: «Северный экспресс "Париж—Льеж—Берлин—Варшава—Москва"».

Листья долетели до вагона с белой эмалированной табличкой, на которой уже по-русски было написано «Париж—Москва», устремились было дальше, к концу платформы, туда, где уборщик-араб махал метлой, но неожиданно и самым неделикатнейшим образом были остановлены проворной ногой, обутой в казенный башмак с толстой подошвой и растрепанными на концах шнурками. Ботинок, обутая в него нога, узкая шевиотовая брючина, вздувшаяся на коленке, — все это принадлежало проводнику Петру Анисимовичу, служившему на линии, связывающей две столицы: Москву и Париж.

Несмотря на близость Парижа, который шумел прямо за вокзальной стеной, Петру Анисимовичу было скучно. Не радовали его ни выпитая полчаса назад кружка разливного пива, ни подарок жене, что он купил в известной ему и расположенной неподалеку лавке, хозяином которой был говоривший по-русски поляк, ни даже предстоящий по приезду в Москву заслуженный отпуск.

Стояла уже осень, заканчивался сезон командировок, отпусков, каникул, и рейс обещал быть отменно скучным. Из всего вагона было занято лишь два купе, и проводник, любивший поговорить, пропустив рюмочку с щедрыми на угощение отпускниками, заранее приуныл.

Вот почему, увидев подходящего к его вагону высокого русоволосого мужчину с живыми глазами на чуть обрюзгшем, но еще моложавом лице, Петр Анисимович почувствовал прилив радости.

Отъезжающий — советский журналист-международник Сергей Архипов — отдал проводнику билет и, не дожидаясь, когда тот его посмотрит, поднялся в вагон. Проводник засеменил за ним.

— В отпуск? — любопытствовал Петр Анисимович, надеясь завязать разговор.

— В отпуск, отец, в отпуск, — проговорил пассажир, но от подробностей уклонился и, словно торопясь скрыться от глаз проводника, прикрыл дверь купе.

Петр Анисимович постоял с минуту возле купе, подержался за ноящую от парижской сырости поясницу и пошел закрывать дверь вагона: до отправления оставалось не более минуты. Он в последний раз выглянул на платформу. Была она уже почти пуста, и только разносчик газет шел вдоль вагонов. То был последний вечерний выпуск известной парижской газеты.

Петр Анисимович снова увидел своего пассажира. Поезд тронулся, и тот на ходу, бросив разносчику деньги, подхватил раздуваемую ветром газету.

Позднее, когда Петр Анисимович, задрав дверь, заглянул в коридор, он был изумлен изменившимся видом пассажира. Он стоял в неудобной позе, поддерживая коленом расползавшиеся газетные страницы. Лицо его выражало растерянность, испуг, губы что-то шептали.

— Вам что-нибудь нужно? — участливо спросил проводник.

«Уж не болен ли? — пронеслось в голове. — Вот некстати».

Пассажир оглянулся, но ничего не ответил. Он словно бы и не видел проводника, и тому пришлось повторить вопрос:

— Может, чайку?

— Да, да, пожалуйста, — закивал головой пассажир и, справившись с волнением, шагнул к себе в купе.

Когда Петр Анисимович явился с чаем, он застал Архипова склонившимся над чемоданчиком, из которого тот доставал пухлую, из зеленой искусственной кожи, папку с блестящими металлическими уголками. Газета, которую несколько минут назад пассажир держал в руках, валялась на полу, и проводник, перешагивая через нее, обратил внимание на огромную, во всю газетную полосу, фотографию человека, лежащего на пустынном пляже. Рука у него была как-то неестественно заломлена, и на нее набегала пенная волна.

То была фотография известного парижского журналиста Ива Картье, того самого, которого, не зная его имени, жители маленького рыбацкого поселка на берегу Адриатического моря уважительно называли «синьоре скритторе».

* * *

С Ивом Картье Архипов подружился давно — с первого месяца своей работы в Париже. Ив слыл специалистом по «делам Москвы». Сергей чувствовал в нем неподдельный интерес к России, желание разобраться, понять.

Встречались они не часто — раза два-три в месяц, когда у того или другого возникала нужда в материалах, цифрах для статей, которые часто проще и легче получить из рук знакомого журналиста, чем выискивать в библиотечных справочниках или, что уже совсем долгое дело, запрашивать через неповоротливые ведомства. Встречи их нередко кончались острым спором, взаимным неудовольствием, подчас довольно резким, но проходила неделя-другая, и кто-нибудь из них звонил и ронял ставшую между ними традиционной фразу: «Есть потребность пообщаться».

И они общались где-нибудь в журналистском баре, кафе, в пивной: среди шума посетителей и беготни официантов вновь спорили о будущем Европы, Франции, России, о профессии журналиста, женщинах и жизни, словом, обо всем, что может прийти в голову молодым еще мужчинам, не обремененным ни чрезмерным опытом, ни предрассудками отцов. На приемах в советском ли посольстве, в посольствах ли других стран, на пресс-конференциях они оба делали вид, что едва знакомы, вежливо раскланивались и проходили мимо. Зачем они поступали так, наверное, ни один из них не мог сказать. Был ли это некий журналистский инстинкт, неосознанная осторожность или

просто странное правило придуманной ими самими игры — об этом они не думали, а продолжали ее, зная, может быть, что когда-нибудь их неафишируемое знакомство еще пригодится. Последние месяца три они не виделись. Картье где-то пропадал, его телефоны молчали, в местах, где он любил бывать, официанты пожимали плечами. Позвонил Картье, как всегда, неожиданно.

— Есть потребность? — спросил Архипов.

— Есть, есть, — ответил Картье, очень мягко, как и все французы, хорошо ли, плохо ли говорящие по-русски, выговаривая «е».

Русский язык Ив начал изучать лет пять назад, еще до знакомства с Архиповым, порядочно преуспел и, пользуясь знакомством с Сергеем, доставал через него бесплатно книги, учебники, пластинки на русском языке. Мечтой Картье было довести знание русского языка «до кондиции» и заполучить место корреспондента в Москве. С Архиповым при удобном случае он старался говорить по-русски, но Сергей этого не любил и не поощрял: во-первых, обращает внимание, а во-вторых, и самому не грех лишний раз пошлифовать свой французский.

Договорились встретиться в «Санкюлот» — небольшой пивной неподалеку от площади Сен-Жермен де Пре. В пивной этой Архипов бывал не раз, и с Ивом и без него. Нравилась она ему тем, что, хотя и находилась в самом центре, на узкой улочке Гисард, в двух шагах от шумного бульвара Сен-Жермен, ухитрилась сохранить всю прелесть типичной парижской пивной, не исшарканной туристами. Пиво здесь было превосходным, бармены любезны, и в самом конце узкого зала всегда можно было найти пустой столик.

— Приходи один, — сказал Картье.

Это было что-то новое, не свойственное Картье. За исключением одного только раза, когда Архипов вынужден был взять с собой навязанного ему кем-то командировочного, которому некуда было деться вечером, он всегда встречался с Ивом с глазу на глаз.

Слова Картье насторожили Сергея. Да и в интонации Ива слышалось легкое беспокойство.

«Что-то случилось», — подумал Архипов.

Пока Сергей собирался, прошел легкий дождь, и на тротуарах кое-где еще виднелись мокрые пятна. По улице в обе стороны валил народ. Все восприняли дождь как праздник и вышли на улицу. На часах было около девяти...

От дождя в прогретом воздухе осталась лишь душная влажность. На улице возле пивной за столиками и прямо на бордю-

ре тротуара разомлевшие парижане пили пиво, анисовку и новый, недавно вошедший в моду тоник «bitter lemon» с чуть горьковатым вкусом хины.

Внутри пивной было пустовато. Ив уже сидел в углу, приклонившись спиной к стенке. Увидев Сергея, он кивнул головой на соседний стул и продолжал сидеть, не двигаясь и глядя прямо перед собой.

Наконец он зашевелился, поднял кружку с пивом и долго пил, строго и как бы испытующе глядя на Сергея.

Подошел официант, поставил заказанное Сергеем пиво и неторопливо ушел на улицу.

— Мне нужна помощь, — неожиданно сказал Картье.

Сергей хотел что-то ответить, но Ив остановил его.

— Подожди. Прежде чем ты скажешь «да» или «нет», я хочу, чтобы ты знал, что это не совсем безопасно. . .

— В каком смысле?

— Ну, не думаю, чтобы в физическом. . . Но это может принести определенные неприятности. . .

— Ты можешь яснее?

— Могу. Речь идет о том, чтобы взять на временное хранение мое досье. . .

— Если там нет государственных секретов, — пошутил Сергей, на что Картье только устало улыбнулся. Таким Архипов его еще не видел.

— Но это не сейчас, — поспешил уточнить Ив. — Тебе его передадут мои друзья, когда возникнет необходимость. А пока, если есть охота и время, посмотри вот это. — И Картье протянул Сергею небольшой конверт. — Мне уже недосуг. Через два часа у меня поезд на Марсель. Думаю, что записка в конверте как-то связана с тем, что тебя интересует. Нет, нет, не здесь, — остановил Сергея Картье, когда тот хотел взглянуть на содержимое конверта.

* * *

Ив Картье никуда не исчезал из Парижа. Не был он ни в командировке, ни в гостях у родственников в деревне, ни в больнице, ни у любовницы. Он был в поиске. В долгом поиске того, что он называл фактом, фактом, который, согласно его убеждению, был равносителен истине.

К моменту встречи с Архиповым, собрав факты по крохам, он уже готов был идти на штурм неприступного бастиона, имя которому — Робер Лагранж.

После того, как однажды, копаясь в пропыленных архивах, оставшихся от времени правления маршала Петэна, Картье случайно обнаружил в списках французов, изъявивших желание служить немцам, имя Робера Лагранжа, одного из нынешних королей французской прессы, он больше не выпускал из поля зрения этого человека. Это и было началом его досье, его долгого и мучительного поиска.

Потом были сотни встреч с людьми, которые знали или могли знать Робера Лагранжа, долгие и нудные дни в Национальной библиотеке и архивах, где Ив терпеливо и методично выписывал все, что касалось истории возникновения газетной империи Лагранжа. Он читал биржевые листки и отчеты издательских компаний, когда те попадали ему в руки, завел знакомство в министерстве финансов и получил копии фактур, проливающих некоторый свет на размеры капиталов Лагранжа. Словом, он знал все или почти все о карьере господина Лагранжа. Не знал он лишь одного — самого главного: откуда у неизвестного еще десять лет назад мелкого издателя берутся миллионы и миллионы для скупки газетных изданий. И вот теперь, после долгих безуспешных поисков он вышел, наконец, на человека, который мог помочь ему разрубить проклятый узел. Человек этот предложил продать несколько личных писем Лагранжа, которые, по его словам, ясно указывают на источники его миллионов. И эти письма должны быть в руках у Картье через несколько дней. Билет на поезд Париж—Марсель уже лежал в кармане, и теперь ничто не могло помешать появлению его репортажа. Ему даже удалось достать сорок тысяч франков, которые «продавец» требовал за письма. Когда они будут у него в руках, самодовольная фигура Лагранжа превратится в жалкого паяца, в пепел, в серую придорожную пыль.

Время от времени Картье охватывал страх: что, если в последний момент документы пройдут мимо него?

Надо было соблюдать крайнюю осторожность: Ив уже заметил, что в его отсутствие кто-то осторожно копался в его бумагах. Хорошо, что он держал свое досье в надежных руках. Ложась теперь спать, Ив клал рядом с собой купленный на черном рынке пистолет. Просыпаясь ночью, он подолгу лежал не шевелясь, вслушиваясь в ночь, еще и еще раз перебирая в памяти все, что через неделю или две с алчностью проглотит читающая публика. О, это будет сенсация. Главное теперь — не совершить ошибки, не сделать ложного шага. В ушах еще звучал неприятный голос Карла Дреггера, корреспондента западно-германского журнала. И откуда только он проведал о его досье?

С тех пор как этот "шукрутник"¹ на днях разыскал его, Ива не оставляло неприятное ощущение опасности.

Он заскочил тогда выпить рюмочку кальвадоса в кафе «А ля паж» напротив редакции «Курье де суар». Это было обычное место встречи журналистов, куда они забегали промочить горло. Ив надеялся услышать что-нибудь новенькое о своем «подопечном» Лагранже: уже несколько дней ходили слухи, что он прибирает к рукам «Курье де суар». Журналисты были взволнованы, многие, слывшие левыми, боялись увольнений.

Но надежды Ива оказались напрасными. Разговоров только и было, что о возможной забастовке, о переговорах, которые всю ночь велись между представителями профсоюзных объединений прессы. О Лагранже никто не говорил.

Ив уже собирался уходить, когда за окном мелькнул спортивный «мерседес». С Дреггером он столкнулся на выходе.

— Торопитесь?

— Как всегда...

— Значит, есть время выпить по кружке пива.

Ив нехотя согласился. Коротконового, вечно потеющего немца с толстыми, похожими на эльзасские сосиски пальцами, он не любил и почти не сомневался, что тот работает на немецкую разведку. Хотя Дреггер щедро оплачивал счета в ресторанах и иногда подбрасывал конфиденциальную информацию, Картье старался держаться от него подальше. Остался же Ив не из-за пива. А вдруг он знает что-нибудь о Лагранже? Лагранж в прекрасных отношениях с послом ФРГ. А где посол, там и Дреггер — он вечно ошивается в посольстве.

Ив сидел насупившись — первым начинать разговор ему не хотелось. Дреггер тоже не торопился и с явным удовольствием потягивал пиво. Наконец, он отодвинул пустую кружку и, словно речь шла о каком-то пустяке, сказал:

— Стало быть, вы уже начали собирать документы... Я не ошибаюсь?

У Картье от неожиданности чуть не вывалилась сигарета изо рта. Откуда этот колбасник знает о его делах? Впрочем, кое о чем можно было при желании догадаться. Ив встречался и разговаривал с десятками людей, он говорил по телефонам, он ездил по архивам. Для интересующегося человека не составляло труда понять, о чем он так хлопочет.

— А ты уже успел пронюхать? — грубо спросил Картье.

¹ Презрительная кличка, которой французы называют немцев за популярное немецкое блюдо из тушеной капусты (по-французски — «шукрут») с копченостями.

Во рту у него пересохло, и он большими глотками допил остатки пива.

— А почему бы и нет? У нас тоже есть кое-какие каналы, — не смущаясь, проговорил Дреггер.

— Предположим, я действительно кое-что хочу написать, — осторожно сказал Ив.

— Обвинительное заключение?

— Совершенно точно, — зло сказал Картье. — В нем будет все для того, чтобы разразился самый большой финансово-политический скандал за последние двадцать лет.

Дреггер резко забарабанил пальцами по столу. За стойкой от неожиданности вздрогнул бармен.

— Досадно, — сказал немец, словно речь шла о какой-нибудь маленькой семейной неприятности. Весьма досадно, — повторил он, видимо, ожидая реакции Картье.

Но Ив молчал. Взгляд его был непривычно холоден. Он сильно похудел за последний год, и нос на его лице казался несоразмерно большим.

Не дождавшись ответа, немец вдруг взял Ива за рукав и потянул к выходу.

— Выйдем отсюда, здесь слишком много народу. Нам нужно поговорить. Это чрезвычайно важно, — добавил он, видя, что Картье колеблется.

Улицы были почти пусты. От огромного серого здания типографии пахло разогретым машинным маслом и краской. Несколько человек, показавшихся в конце улицы Реомюр, жались к полоске тени, отбрасываемой козырьками кафе и магазинов. Ив шел быстро, словно пытался убежать от немца, но Дреггер от него не отставал. За поворотом, в узкой улочке Фобур Сен-Дени, было чуть прохладнее.

— Зайдемте в собор, — предложил Дреггер, останавливая Картье возле фасада готической церквушки, зажатой между двумя старыми домами со следами размытых дождями реклам. — Надо беречь сердце . . . в такую жару . . .

В церкви было пусто, голубовато. Возле боковой часовенки горело несколько свечей. Дреггер и Картье сели возле входа на низенькие, с плетеными сиденьями, стульчики, и немец несколько секунд сидел, молитвенно сложив руки.

— Послушайте, Картье, — неожиданно по-деловому начал он, — понимаете ли вы, что собираетесь сделать?

Ив промолчал. Хотя ему было даже интересно узнать, что хочет от него эта немецкая ищейка.

— Я надеюсь, вы, по крайней мере, в курсе того, что происходит в вашей собственной стране? Вас не настораживает су-

ществование мощной группировки левых? Вы знаете, конечно, что во Франции есть ультраправые силы, пусть не столь многочисленные, но прекрасно организованные и обладающие неограниченными финансовыми возможностями?

— Допустим, я кое-что слышал об этом . . .

— Вы напрасно расточаете ваш юмор, Картье, — менторским тоном заметил Дреггер. — Положение значительно серьезнее, чем вы можете предположить. С приближением выборов обстановка в стране начнет быстро накаляться. Профсоюзы уже начали демонстрировать бицепсы. Можете себе представить, что будет, если левые войдут в Париж?

— Я плохой политик, — пожал плечами Картье, — но думаю, для неплохого журналиста работа всегда найдется.

— Вы уверены?

— Надеюсь . . .

— А ваши статьи о Советской России?

— Они во много раз скромнее, чем то, о чем пишете вы . . .

— Не прикидывайтесь наивным, Картье. Вы знаете, что будет с французской прессой, если "Отель Матиньон"¹ займут красные министры.

— Я не знаю, что будет с французской прессой, если, как вы изволили выразиться, в Париж войдут красные, но зато я хорошо знаю, что происходит сейчас. После войны, когда коммунисты входили в правительство, во Франции было в двадцать раз больше газет, чем сейчас. Вы знаете, из двенадцати миллионов экземпляров уже сейчас два миллиона пишут о том, что хочет господин Лагранж. Вы говорите о будущем прессы, а я вам говорю о ее настоящем: большая пресса Франции находится в центре огромного торга.

— Это выдумки коммунистов. И вообще, напрасно вы ерепенитесь, Картье. Кажется, у нас с вами не было поводов ссориться. Разве я вам давал когда-нибудь плохие советы?

— Положим, нет . . .

— Тогда успокойтесь и выслушайте. Вы прекрасный журналист, и я уверен, что, опубликуй вы ваше досье, о вас целую неделю будут кричать по всему Парижу. Вам будут завидовать коллеги, ваш патрон будет обнимать вас. А что дальше? Об этом вы подумали? Кантональные выборы, которые так ловко провели левые, усложнили положение. Достаточно одного сильного толчка — и нынешняя стабильность полетит в пропасть. Вы хотите, чтобы у вас повторились Чили, Греция, Португалия? В интересах Европы, да и не только Европы, сохранять во Франции ны-

¹ Резиденция премьер-министра.

нешний статус-кво. Достаточно нам хлопот, которые доставляет Италия. Не хватало, чтобы после Рима и в Париже обосновался мэр-коммунист. Вы этого хотите?

— Мне наплевать на то, кто будет сидеть в «Отель де Виль»¹. Я профессиональный репортер, и меня интересует только, где находить факты.

На лице немца расплылась улыбка.

— Я думаю, вы не обманываете себя по поводу того, зачем вы копаетесь в корзине с грязным бельем Лагранжа?

— Что вы имеете в виду? — принимая угрожающий тон, спросил Ив, но немец и не подумал остановиться:

— Лично я готов признать, что вам совершеннейшим образом наплевать на судьбы Европы. Таких искателей правды я видывал немало в редакциях газет. Большинство из них так и остались до седых волос репортерами. Но вы, вы — талантливый журналист, вас цитирует «Таймс», ваши статьи перепечатывает немецкая пресса. Вы должны понять, что в наше время талант — это политическая сила. А в политике не бывает зрительских мест. Она растаскивает все, что имеет какой-то вес, по противоположным полюсам. Сегодня вы еще молоды, и вам на все наплевать. Завтра вы опомнитесь, но тогда придется расплачиваться за ошибки, которые вы совершаете сегодня. Бросьте вы это дело — вот вам мой дружеский совет. Вы попросту ослепленный обидой человек. Да, да. И не думайте отрицать. Вы обиделись на газеты Лагранжа за то, что они прозвали вас «Красное перо» и не берут ваших статей... Но если вы проявите благоразумие, — помедлив, проговорил Дреггер, — у вас будет достаточно денег.

* * *

... Было еще светло. Отрываясь от лежащего перед ним досье, Архипов время от времени поглядывал в окно. пейзаж пограничных с Бельгией районов был скучным. После прохода пограничников и таможенного контроля в коридоре было пусто. За окном расплывались очертания проносящихся мимо деревьев, станционных построек и старых, ненужных теперь водонапорных башен.

Архипов вытащил из папки несколько отпечатанных на пишущей машинке листов бумаги и, прочитав первые строки,

¹ Здание парижского муниципалитета.

грустно улыбнулся. Здесь был весь Картье со своей точностью, пунктуальностью, обязательностью. То была точная запись беседы с Дреггером, о которой Ив рассказывал Сергею тогда в кафе «Санкюлот». Она и была построена в виде диалога — вопросы и ответы, вопросы и ответы, словно Картье писал заготовки для сценария.

До отъезда в отпуск за текучкой рабочих дел Архипов так и не успел разобрать до конца все бумаги, которые ему передали от Ива. Но теперь, под монотонный стук колес, у него была возможность вникнуть во все детали этого запутанного дела, дела, в котором он сам был и участником и зрителем одновременно.

Он вчитывался в заполненные мелким почерком Ива Картье бумаги, и все — недавнее и далекое прошлое — вспоминалось ему.

* * *

Стояли исходные дни сентября, и из темнеющего в конце улицы Люксембургского сада доносился умирающий аромат поздних роз. Узкая улица Мабийон была едва освещена, и темное здание медицинского факультета казалось огромным. Под ноги попадали принесенные из Люксембургского сада каштановые листья, и, наступая на них, Сергей ловил себя на странной, языческой мысли: представлялось, что под ботинками, жалобно шурша, рассыпалась в тлен чья-то душа.

Разговор с Картье взбудоражил его. Размеренная жизнь «собственного корреспондента», репортажи в газету, переговоры по телефону с редакцией вдруг теперь показались ему мелочью.

Неожиданно в памяти всплыли слышанные недавно на одном из фашистских сборищ, куда он проник, чтобы сделать для газеты репортаж, слова: «Каждое поколение должно иметь свою маленькую войну». Сейчас, в тишине спускавшейся на город ночи, они показались ему страшными.

Архипов вышел на освещенную площадь Сен-Жермен де Пре. Оркестр, который он слышал издали, играл на углу возле решетки старого аббатства. Теперь это было что-то веселое, и в круге, образованном толпой любопытных, танцевало несколько пар.

«А может быть, нужно просто уметь быть счастливым? Кто из них, этих веселых ребят, думает о смерти, войне? Надо просто жить, жить, как если бы до конца осталось несколько дней. Французы это умеют . . .».

Рядом, возле кафе «Дё маго», молодой мим — худенький парнишка в бледно-розовом трико — изображал, как надувается шар. Он очень старался, чтобы несколько десятков обступивших его человек поверили, что шар уже большой, огромный и его трудно удержать в руках. Шар становился все больше и больше. Вырывался! Устремился вверх, унося с собой щуплого мима. Он уже высоко, выше фонарей, и крыш, и шпиля старого аббатства. Ах, как приятен, легок, сладостен этот полет. Внизу, на площади, смеется девочка с розовой ленточкой в волосах. Но что-то случилось! Шар начал падать. Руки мима беспомощно задергались и сломались в отчаянии. Он опять на земле. Распластан, придавлен чем-то тяжелым. Заплакала девочка с ленточкой. «Ах!» — выдохнула публика. Девочка, не плачь, девочка! Смотри! Мим сделал легкое движение, он уже на ногах, он смеется. Он уже забыл о падении. Зрители хлопают в ладоши, улыбаются и бросают на брусчатку звонкие монеты. Они довольны, они обновили свое сердце переживанием, и жизнь опять прекрасна. Можно шутить, пить вино и улыбаться хорошеньким девушкам, которых так много в Париже. Право же, жизнь проста, и если в ней бывает что-то огорчительное, то у французов есть свой маленький секрет: стоит лишь сказать «гоп-алле» — и шарик взлетит снова . . .

Ночью Архипову спалось плохо. За шторами душная ночь. Луна с подтаявшими краями заглядывала в окно. Записка, переданная Сергею Ивом Картье, не давала покоя. Она была написана на машинке. Ни обратного адреса, ни каких-либо других знаков, указывающих на то, кто является отправителем, на конверте не было. На штемпеле Архипов с трудом разобрал: Марсель.

На клочке бумаги было написано всего несколько слов: «Если Вас интересуют данные о господине Робере Лагранже, посмотрите газеты за 27 июля 1955 г.». Подписи не было. Кто этот, пожелавший остаться для Картье неизвестным, корреспондент? И что это за история, к которой он отправляет так далеко — в 1955 год? На штемпеле стояла дата — 25 сентября. Совсем недавно. Из-за спешного отъезда в Марсель Картье не успел заняться запиской. Почему он передал ее ему, советскому журналисту? Может, Ив знал, что история, на которую намекает записка, как-то связана с тем, что интересует его, Сергея Архипова?

Материалы о бежавших за океан или притаившихся в Европе нацистах и их нынешних последователях Сергей начал собирать в первый же год работы в Париже, после того как однажды побывал на митинге молодежной профашистской организации «Ордр нуво». Стало вдруг отчетливо ясно: в начавшей забывать

войну Европе чья-то таинственная рука широко сеет семена неофашизма. Это была щедрая рука. Возникавшие одна за другой фашистские группы снимали для своих сборищ самые дорогие залы, а оказавшиеся за решеткой террористы из фашиствующих групп неизменно выпускались на свободу. В Европе одна за другой в самых дорогих издательствах в роскошных переплетах выходили писания Гитлера, дневники Геббельса, воспоминания Шпеера. В парижских газетах исподволь разворачивалась кампания за реабилитацию Петэна. Было официально отменено празднование дня победы над Германией. Кому-то очень хотелось, чтобы Европа забыла войну, забыла все. Но для того, чтобы усыпить память миллионов, нужны были миллиарды. Откуда же они поступали? . .

* * *

Проснувшись на следующий день после встречи с Картье, Архипов сразу же вспомнил о странной записке в конверте без обратного адреса. Он решил сходить в Национальную библиотеку. Библиотека находилась на улице Ришелье неподалеку от театра «Комеди Франсез». Оставив машину на стоянке возле Лувра, Архипов дальше пошел пешком.

Возле Триумфальной арки на площади Карусель подстригали газоны. Пахло травой. Уборщики разметали дорожки, усыпанные за ночь листьями. Париж неспешно просыпался.

Проехали несколько почтальонов на велосипедах. В киоске пожилая дама в вязаной шапочке и в почерневших от газетной краски перчатках раскладывала утренние газеты. На террасах кафе позевывали ранние посетители. Пахло утром . . .

Устроившись в читальном зале, Сергей стал перелистывать газеты. Просмотрел несколько подшивок за 1955 год, но ничего интересного не обнаружил. Ни фамилии Лагранжа, ни вообще каких-либо статей, касающихся французской печати, он не нашел. Стал смотреть газеты за неделю вперед и назад, думая, что анонимный корреспондент мог перепутать дату. Но и тут ничего полезного найти не удалось. Ни одного намека. Возможно, нужен какой-то ключ? Архипов провозился уже больше двух часов, а решение не находилось.

Почему он — или она — не указали, какая именно газета? В записке сказано: «газеты». Стремление запутать, пустить по ложному следу, заставить терять время в бесплодных поисках? Или . . . Или «это» есть во всех газетах? Ну, конечно же! Как он раньше не догадался? Архипов положил перед собой несколько

разных газет и стал просматривать страницы. Его увлек поиск имени Робера Лагранжа, и он проглядел. На первой странице всех без исключения газет жирными буквами шли заголовки: «Амнистия для коллаборационистов», «Бывшие доносчики — равноправные граждане Франции», «Судьи бессильны против вчерашних предателей...»

Вот оно что! Недаром в газетных кругах Парижа ходили слухи, что Лагранж чем-то запятнан во время войны. В газеты ничего не попало, слух быстро растаял, и Архипов решил тогда, что это обычная сплетня, распространяемая конкурентами Лагранжа. Анонимный корреспондент прямо указывает на сомнительное прошлое господина Лагранжа. Не исключено, что был какой-то суд, о котором теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, все забыли. Были свидетели, обвинитель, были какие-то улики. Амнистия все прикрыла.

Но как искать концы? Списки амнистированных никогда не публиковались. К архивам министерства юстиции его, конечно, не подпустят. Значит, надо искать живую память, живых людей. Но где? Как?

А что, если...

С полгода назад Сергей познакомился с одним человеком. Фашисты из «Ордр нуво» убили его сына, продавца газеты «Юманите», и Сергей ездил к нему в надежде взять интервью. Но разговора не получилось: старик был в глубоком горе. Вспомнилось, что о нем говорили, будто он в свое время был известным адвокатом и сочувствовал левым. К нему-то и решил наведаться Архипов.

* * *

— Так вы, стало быть, журналист? — спросил адвокат.

Потускневшие, с желтым налетом глаза смотрели недоуменно, испуганно. После каждой фразы он долго кивал головой, словно спешил согласиться с самим собой. Старик сидел на краешке потертого дивана, обтянутого серовато-синим гобеленом с изображением развалин замка, ручья, купающихся нимф. Он и сам казался Архипову развалиной какого-то старого, некогда роскошного замка. За спиной старика на стене, оклеенной потемневшими обоями, висели старые гравюры в черных рамках. С фотографий с достоинством смотрели усатые мужчины в высоких котелках, пухлощекие гимназисты в мундирчиках, военные с саблями, женщины в длинных кружевных платьях, грациозно опирающиеся на тумбы с корзинами цветов.

— Почему же вас интересует история? Пятьдесят пятый год — это же век назад...

— Я и в самом деле люблю историю, как всякий, кто хочет понять сегодняшнюю жизнь. Но перед лицом истории я чувствую себя ребенком, стоящим на берегу великого океана. Я похож на голодного, попавшего на роскошный ужин, который боится притронуться к столу, думая, что он предназначен для других.

Архипов не совсем четко представлял, как подвести старика к нужному разговору, боялся с самого начала испортить все дело и потому говорил туманно, надеясь случайно натолкнуться на нужный поворот.

— Напрасно вы так считаете. В отличие от других наук история — это роскошь (старик употребил слово «luxе»), доступная всем.

— Всем, кто обладает досугом?

— Вы, наверное, коммунист? — неожиданно спросил старый адвокат.

— Почему вы так решили? — смутился Архипов.

— Очень просто. Коммунисты придумали собственную логику, поэтому я не люблю с ними спорить. Все великолепие риторики они свели к поиску социального зерна. Как только вы сказали про досуг, я сразу же подумал: следующей вашей фразой будет утверждение, что понятие досуга социально.

— А вы с этим не согласны?

— Согласен я или не согласен, это не имеет значения. Вы, очевидно, пришли, чтобы о чем-то спросить. И не отрекайтесь. Молодежь не ходит к старикам по другому поводу. Вы пытаетесь вести умный разговор — и сами же рубите его своей логикой. Знаете ли вы, что нет неприятней собеседника, чем тот, который демонстрирует логические конструкции. Ваши концепции слишком ясны. Возьмите буржуазное право, этику, мораль, систему социальных отношений: пока доберетесь до сути — изломаете все пальцы. На каждое правило здесь есть десятки исключений. Наша философия и социология — это вавилонская башня, наша логика — это лабиринт, из которого нельзя выбраться, не разрушив всех стен.

— Вы забыли об истории, — вставил Архипов. Его начал раздражать менторский тон старика, он чувствовал, что зря теряет время, и нетерпеливо поглядывал по сторонам, думая о том, как удобнее извиниться и уйти.

— Что ж, история не составляет исключения. Я всегда говорил, что история — это национальная кухня, на которой каждый готовит блюда по своему вкусу.

— И на французской кухне, конечно, готовят лучший соус...

— Однако!.. — Старик оживился. Брови его зашевелились, и он с интересом посмотрел на собеседника. — Однако вы злой человек. Это плохо. Я имею в виду, плохо для вас. Я знал одного молодого человека, который готов был наброситься на каждый угол, если ему казалось, что он достаточно остер, чтобы разбить себе лоб. Его уже нет...

Руки старика вдруг затряслись, и прошло несколько минут, прежде чем он успокоился.

— Вы что-то хотели узнать? — начал он вновь слабым голосом.

Архипов сказал, что его интересует прошлое одного человека, француза Робера Лагранжа, который во время войны сотрудничал с фашистами.

— Вы не боитесь копаться в столь далеком прошлом? — спросил старик. — Даже в теперешнее время это опасно.

Архипов подумал, что, видимо, наступил тот самый момент, когда пора выложить карты на стол, и тогда уж пан или пропал.

— Я забыл вам сказать одно обстоятельство, я... русский, советский.

Признание Архипова не произвело на старика никакого впечатления. Лишь едва заметная улыбка скользнула по его губам.

— Я так и думал, что вы иностранец: для француза вы говорите слишком хорошо. У нас так говорят учителя гимназий или преподаватели в Сорбонне, да и то на лекциях. Ни на тех, ни на других вы не похожи. Я решил, что вы скандинав, и никак не мог понять, зачем вам понадобился Робер Лагранж. То, что вы русский, меняет дело. Русским надо знать о немцах все — у вас есть для этого исторические основания. Я выражаюсь достаточно по-марксистски? — неожиданно пошутил старик. — Я оставлю вас ненадолго одного.

«Наконец-то!» — охваченный волнением, подумал Архипов. Он решил, что старик пошел отыскивать какие-нибудь документы. Но документов адвокат не принес. В руках у него дрожали две небольшие рюмки с красным напитком.

— Извините, что я потчую вас кагором. Это единственное, что мне разрешают врачи. Вы знаете, как грустно пить даже хорошее вино одному. Поэтому я и хочу воспользоваться вашим визитом. Кажется, у вас, русских, принято говорить тосты?

— За ваше здоровье, — поднявшись с кресла, сказал Архипов.

— Ну, это не интересно. Зачем пить за то, чего никогда не будет. — Тем не менее старик не без удовольствия выпил кагор.

Через несколько минут на его щеках выступили неровные красные пятна. Поставив рюмку, он опустил руку в карман и по-

дал визитную карточку, на которой от руки была сделана записка.

— К сожалению, сам я ничем уже помочь вам не могу. Хотя дело это припоминаю. Процесса, собственно, не было. Было дознание, опросы свидетелей. Тянулось все медленно, долго, и думаю, что неспроста. Потом расследование прекратили. Дело легло в архив. Туда-то я вас и отсылаю.

— Но... — разочарованно начал Архипов.

— «Но» здесь быть не может. Человек, к которому я вас направляю, сделает для меня все. Когда-то я избавил его семью от серьезных неприятностей. Я пишу, чтобы он вам помог. Он старший хранитель архива в судебном ведомстве. Так что у вас есть шанс...

* * *

Рекомендация адвоката в самом деле помогла, и через несколько дней Архипов нашел имена свидетелей, привлекавшихся по делу Лагранжа. Были и кое-какие адреса. Большого, к сожалению, получить не удалось. К изумлению старшего хранителя, из большого списка документов по этому делу в папке осталось лишь несколько листов. Остальное содержимое — протоколы опросов свидетелей, показания самого Лагранжа, материалы следствия, записки следователя — все бесследно исчезло. Но и то, что имел теперь Архипов, было немало. С этим можно было работать.

Господина Бушольца он выбрал первым лишь потому, что тот стоял в самом начале списка.

* * *

В узких улочках еврейского квартала было душно. Из подворотен несло запахом жареных сардин и толченого чеснока.

Когда-то этот квартал славился своими роскошными особняками. Потом, когда выстроили Лувр и придворные принялись скупать участки земли поближе к королевскому дворцу, район Марэ стал хиреть и заселился постепенно торговым и другим людям. Ремесленники понастроили кузниц, печей для обжига посуды и черепицы, к стенам покинутых дворцов лепились каменные дворы, скорняжные мастерские, лавки торговцев оловянной посудой, которая изготавливалась тут же, на месте. Над Марэ днем и ночью висела копоть, и сложенные из белого

ракушечника особняки почернели, во дворах между булыжников, помнивших цокот породистых скакунов, проросла трава. Сады извели, построили узкоплечие лачуги, сохранившиеся до сих пор.

Как, когда, почему на нескольких улочках этого квартала стала селиться еврейская голь — Архипов не знал. Всякий раз он возвращался отсюда с чувством боли и жалости к этим тихим, заброшенным всеми людям. Рядом, через несколько улиц, светились витрины роскошных парфюмерных магазинов фирмы Рубенштейн, поблескивали окна банков Ротшильда и ювелирных магазинов богатейших еврейских семейств Парижа. Здесь же, возле обшарпанных кошерных лавок и дешевых обжорок, посреди мостовой играли дети, а в подслеповатых окнах маялись от тоски старики.

На фасадах не было ни надписей, ни номеров, и Архипов долго искал нужный дом, пока наконец не догадался спросить у мальчишек.

— Вам нужен господин Бушольц? — спросил мальчик. Он посмотрел на Архипова снизу вверх удивленными, широко раскрытыми глазами. — Хотите, я вас провожу?

Он провел Архипова через подворотню в узкий, похожий на корыто двор со сточным желобом посередине. В углу на куче рогожных мешков спал какой-то человек с черными босыми ногами и обмотанной тряпкой головой. На окружающей дворик деревянной террасе сушилось белье. Пахло сыростью.

В глубине дворика оказалась деревянная лестница. Поднявшись вслед за мальчиком наверх, Архипов попал на маленькую площадку, которая казалась еще меньше оттого, что по ее бокам стояли клетки. Одна из них была открыта, и возле нее сидел кролик с прижатыми к спине ушками. Он было метнулся в угол, но мальчик успел схватить его, поднял и стал гладить, говоря какие-то непонятные Архипову слова.

— Его зовут Давид, — сказал мальчик, улыбнувшись, — по имени героя Давида, победившего Голиафа. Это любимчик госпожи Бушольц. Поэтому она и позволяет ему иногда погулять на свободе. А вот и мадам Бушольц, — мальчик показал на низенькую дверь в углу площадки. — Вы с ней погромче, она плохо слышит.

— А господин Бушольц? Его я могу видеть? — спросил Архипов.

— Господина Бушольца давно нет, — очень строго сказал мальчик. — Господин Бушольц исчез, когда я был таким же маленьким, как этот кролик.

Приход Архипова произвел на госпожу Бушольц странное впечатление. Вначале она испугалась и все старалась держаться

поближе к дверям, словно намереваясь ускользнуть при первом же удобном случае. Архипову пришлось пойти на маленькую хитрость и сказать, что он разыскивает своего старшего брата, который в годы молодости был дружен с господином Бушольцем. Госпожа Бушольц как будто успокоилась, но потом вдруг расплакалась и даже хотела встать на колени перед Архиповым.

— Найдите его, найдите... Я вас умоляю, — шептала она, пытаясь схватить Архипова за руки. — Ведь находились же люди даже после войны, после лагерей. Он ничего никому плохого не сделал. Это был скромный, тихий человек. Все им были довольны.

— Вы случайно не знаете этого человека? — спросил Архипов, вытаскивая из кармана вырезанную им из журнала фотографию Робера Лагранжа.

— Боже мой, мне его не знать. Разве мы не помним людей, которые делают нам добро. Мы порядочные, хотя и бедные люди. Если бы вы знали, какой он человек. После несчастья с мужем он приходил ко мне и, уходя, оставил конверт. Это сейчас деньги ничего не стоят, а в то время пять тысяч франков были совсем не то, что пятьсот франков сейчас.

— Вы знаете, этот человек теперь владелец нескольких газет?

— Да, да, я слышала об этом. Соседка Роза все советует мне пойти к нему и попросить денег. У Розы такие чудесные дети...

Из длинного и несвязного рассказа мадам Бушольц Архипов выяснил следующее: господин Лагранж до войны держал небольшой книжный магазин. Вскоре после начала войны он куда-то исчез и появился лишь в 1948 году. Госпожа Бушольц это очень хорошо помнит, потому что именно в это время он пригласил ее мужа, которого знал еще до войны, работать у себя шофером.

Выяснилось: Давид Бушольц довольно часто ездил с господином Лагранжем в Марсель, где у того за городом было небольшое имение, купленное вскоре после войны.

— Господин Лагранж был очень привязан к мужу и не хотел, чтобы его возил кто-то другой, поэтому муж месяцами иногда жил там. Как вы понимаете, — добавила госпожа Бушольц, — я очень скучала без Давида. После одной из таких поездок он не вернулся...

— Было какое-нибудь следствие?

— О да! Господин Лагранж сделал все возможное. Была поставлена на ноги полиция. Но бедный Давид как в воду канул... Господин Лагранж говорил, что тут не обошлось без коммунистов.

Значит, у Лагранжа было имение под Марселем. Это было уже фактом. Кроме того, Архипов узнал, что Давид Бушольц пропал все в том же 1955 году, через несколько месяцев после амнистии.

* * *

В маленьком кафе, куда заскочил Архипов, чтобы перекусить, было пусто. За столиком возле окна сидели две старушки с собачками и пили кофе. Собачки были очень похожи друг на друга и на своих хозяек — два маленьких белых шпица с одинаковыми ошейниками. Даже их взъерошенная шерсть была одинаково голубовата. Старушки, как и собачки, были очень приветливы, и, когда Архипов вошел в кафе, все четверо с симпатией посмотрели на него, как бы желая сказать: «Смотрите, как нам хорошо, уютно и ласково, и мы желаем, чтобы то же самое было у вас». Но Архипов был слишком занят обдумыванием того, что он узнал от госпожи Бушольц, и с безразличием отвернулся. К тому же маленьких собачек и голубых старушек он не любил.

Архипов уселся в глубине зала, где официант и пожилая дама, возможно, хозяйка кафе, от нечего делать смотрели телевизор. Передавали последние известия. Сергей слушал вполуха.

— Последнее сообщение, которое, несомненно, вновь воспламенит полемику вокруг имени господина Лагранжа, — объявил диктор и стал зачитывать телеграмму из Марселя.

В телеграмме говорилось о том, что на одной из улиц Марселя утром был обнаружен труп г-на Лебре — личного секретаря Робера Лагранжа.

— Полиция не исключает насильственную смерть. Следствие продолжается. Подробности — в последнем выпуске вечерних новостей, — заключил диктор и наградил телезрителей тренированной улыбкой.

Архипов выскочил на улицу. Дело Лагранжа становилось все горячее. В кармане у Сергея было еще несколько адресов свидетелей, и он решил не терять времени.

* * *

Архипов толкнул дверь и вошел внутрь магазина. Высокий человек с обиженным лицом, чем-то похожий на турка, внимательно и оценивающе разглядывал вошедшего.

На стенах, в проемах между стеллажами, заваленными пакетами с бельем, и даже на двери красовались портреты мускулистых мужчин в красных, синих, оранжевых и белых трусах. Сверху на ниточках свешивались и качались над головой наколенники, велосипедные перчатки с обрезанными пальцами, шерстяные носки, предохранительные бандажы, резиновые корсеты и бесчисленное множество других предметов мужского туалета, о назначении которых Архипов мог только смутно догадываться. Во всю стену под потолком висел гигантский плакат с надписью — «Фирма «Белье для чемпионов» гарантирует качество!»

Оценив возможности вошедшего, продавец остался доволен. С радушной улыбкой и широко расставив руки, словно он хотел безотлагательно обмерить грудь клиента, он выскочил из-за прилавка и засеменял навстречу Архипову. Человек, показавшийся Сергею за прилавком исполинского роста, был совсем невысок, скорее даже низок: он сидел на высоком табурете.

— Всякий, кто приходит в наш магазин, — сказал «турок», — будет чемпионом. Обратите внимание на эту фотографию. Это Эдди Меркс, знаменитый велогонщик. Вот его автограф, — ткнул он пальцем в стену и, не теряя времени, стал легонько подталкивать Архипова к прилавку.

Продавец действовал столь напористо, что не прошло и десяти минут, как Архипов уже купил тренировочный костюм фирмы «Адидас» и майку с портретом Мохаммеда Али. Пока Сергей отсчитывал деньги, «турок» попытался надеть на него резиновый костюм аквалангиста и успокоился только тогда, когда Архипов сказал, что истратил все деньги, которые у него были с собой.

«Турок» обиделся и, потеряв всякий интерес к покупателю, ушел за прилавок, из-за которого теперь торчали только его голова и плечи. Слева от него висела любовно оформленная табличка с надписью: «Вас обслуживает продавец Поль Краузи, бывший чемпион Франции». Какой вид спорта прославил бывший чемпион — афишка не уточняла.

Архипов понял, что совершил грубейшую тактическую ошибку, столь поспешно поддавшись продавцу, и что разговаривать «бывшего чемпиона» будет теперь трудно.

— Вы и сейчас занимаетесь спортом? — спросил он, чтобы как-то завязать разговор.

Чемпион обиженно насупился, спрятался под прилавок и вылез оттуда с большой бухгалтерской книгой, в которую с величайшим тщанием начал вносить какие-то цифры.

— А жаль, — задумчиво проговорил Архипов, делая вид, что собирается уйти. — Мне именно сейчас нужен хороший совет, я уже не говорю о спортивном оборудовании.

— М-да? — облизав жирные губы, проявил интерес «турок».

— Впрочем, я вижу, что, кроме костюмов для аквалангистов, у вас ничего нет.

— А что вам нужно?

Поигрывая портняжным метром, продавец снова выдвинулся из-за прилавка.

— Ничего особенного, — равнодушно ответил Архипов, замечая, как «турок» при помощи тылового рейда пытается оттереть его от входной двери. — Ничего особенного, просто я формирую группу для восхождения на один из пиков Памира, и, естественно...

Продавец не дал ему договорить. От открыл рот и издал звук, похожий на тот, который подают океанские пароходы, плывущие в сплошном тумане. На этот звук из заднего помещения магазина появился молодой человек, очень похожий лицом на продавца, но раза в два выше его ростом. По заспанному лицу можно было догадаться, что потомок чемпиона спал в соседней комнате.

— Мой сын, — представил продавец. — Инструктор, скалолаз, спасатель на водах.

Скалолаз и спасатель напряг мускулатуру, и кости под его клетчатой рубашкой блаженно застонали.

— Вот! — гордо произнес отец. — Принеси господину... директору кресло и сбегай за кофе, — строго приказал он.

Взгляд бывшего чемпиона, обращенный на Архипова, излучал столько любви, будто он после долгой разлуки встретил друга детства.

— Какой чудесный у вас сын, — сказал Архипов. — На такого можно положиться в трудном ледовом плену.

— О, вы еще не знаете его. Это золотое сердце. Если бы была жива его мать, она бы не устала благодарить небо.

— Разве госпожи Краузи с вами нет?

— Так было суждено. В расцвете лет...

— Несчастный случай?

— Несчастный поворот судьбы... Я ей все простил и простил бы еще больше, если бы она не была столь неблагодарна. Ей не хватало только звезд...

Неожиданно дверь в углу магазина отворилась, и снова появился сын. Он подслушивал под дверь. Его губы дрожали:

— Если вы скажете плохо о моей матери, — обращаясь почему-то к Архипову, зло проговорил он, — то я... то я...

Он не нашелся, что сказать, и так сильно хлопнул дверь, что из ячеистых ящиков в стенах посыпались пакеты с бельем для чемпионов.

- У вас очень эмоциональный ребенок, — сказал Архипов.
— Весь в мать. Она была на редкость взбалмошной.

Несмотря на все дальнейшие дипломатические потуги, ничего существенного об обстоятельствах смерти госпожи Краузи, бывшей, как и Давид Бушольц, свидетельницей по делу Лагранжа, Архипову выведать не удалось. Все попытки продолжить интересующий журналиста разговор торговец очень ловко поворачивал к массовым закупкам спортивного трикотажа по небывало авантажным ценам. Был уже момент, когда господин Краузи хотел немедленно приступить к составлению списка товаров и договора, и только обещание Архипова зайти через пару дней вместе со своим коммерческим помощником остановило его.

— Сколько же лет вашему сыну? — спросил журналист, дав предварительно понять, что он не исключает возможности принять его в группу «Памир».

— В марте исполнится двадцать один.

— И все это время вы воспитывали его один? — воскликнул Архипов.

— К счастью, нет. Жаклин не стало, когда ему было шесть лет, и его воспитанием занималась бабка.

— Она еще жива? — утратив осторожность, спросил Архипов.

— Нет, — коротко ответил продавец, и это было последнее слово, которое из него удалось вытянуть.

Из всего слышанного в магазине «Белье для чемпионов» Архипов вывел, что госпожа Жаклин Краузи исчезла в 1955 году, почти одновременно с мужем госпожи Бушольц. Большого узнать не удалось. Как жаль, что мать Жаклин Краузи скончалась, уж она-то что-нибудь да рассказала. «Может, поговорить с будущей гордостью спортивной Франции?» — подумал Архипов.

Обойдя несколько ближайших кафе, Архипов в одном из них обнаружил сына «турка».

— Эй, малыш, пойд-ка сюда. Есть разговор, — позвал его Архипов. — Пиво пьешь?

«Малыш» презрительно сморщил нос.

— Тогда два кальвадоса, — заказал Архипов. — Хотя спортсменам пить вредно.

— Какой я спортсмен! У меня сердце больное. Это отец представляет меня спортсменом своим клиентам. Он и мать готов был выставять вместо манекена.

— Ну, это ты напрасно про родителя. Ты в то время пешком под стол ходил — откуда тебе знать.

— Мне бабка все рассказала. Жаль, умерла старушка, а то съехал бы к ней.

— С отцом не очень дружен?

— А вы от него в восторге? Будто я не понял, какие вы ему там пули отливали. Памир... Ледовый плен...

— Не надо было подслушивать. В порядочных семьях...

— Сейчас все подслушивают: мужья — жен, шпионы — министров, министры — служащих. А вы... «в порядочных семьях»... Смейтесь? Бабка рассказывала, что отец оставлял мать наедине с клиентами, а сам подглядывал в замочную скважину, а потом еще издевался над ней.

— Как тебя зовут? — неожиданно спросил Архипов.

— Ну, Жульен. Вам-то зачем?

Озлобленность Жульена Краузи поразила Архипова, и он со все возрастающим интересом приглядывался к этому парню, показавшемуся ему вначале там, в магазине, чуть ли не дегенератом. Несколько минут Архипов сидел молча, обдумывая, как лучше подойти к парню. Жульен ему был явно симпатичен.

— Я что-то хочу тебе сказать, — наконец проговорил он. — Только давай уйдем отсюда.

Они вышли на Севастопольский бульвар и пошли в сторону Восточного вокзала.

— Потолкуем откровенно, — сказал Архипов. — Никакой я не спортсмен и тем более не чемпион. Просто я хочу выяснить некоторые подробности того, что случилось очень давно и о чем, к сожалению, многие начинают забывать. Отец твой мне вовсе не нужен. Я пришел поговорить с твоей матерью.

— С матерью? Но... — В глазах Жульена промелькнул испуг.

— Я не знал, что ее нет в живых, — добавил поспешно Архипов.

— Может быть, она где-то и жива, только ее нет с нами, — тихо проговорил молодой человек. — Зачем вам все это?

— Чтобы узнать и рассказать людям правду.

— Кому это интересно? Люди только и думают о том, чтобы продать, а другие — чтобы купить. А правда не имеет цены. Скажите об этом моему отцу: он примет вас за сумасшедшего. Для таких людей, как он, правда интересна, только если ее можно выложить на прилавок.

— Есть люди, которые считают по-другому...

— Вы имеете в виду себя?

— Эти люди считают, — не обращая внимания на реплику, продолжал Архипов, — с помощью правды можно изменить мир, сделать его лучше.

— Мир можно изменить только при помощи вот этого, — сказал Жульен и показал кулак.

— В каком-то смысле ты прав, — улыбнулся Архипов. — Но надо знать, куда бить, иначе можно попусту разбить кулаки. Словом, надо знать, кто твой враг и какая у него сегодня физиономия. Вот для чего мне и нужна правда о твоей матери.

— Разве мать имела связь с политикой?

— Думаю, что да. Вероятно, случайно, волею обстоятельств. Тебе известно, например, имя Лагранжа?

— Робера? Еще бы! С него-то все и началось.

— Ты его знаешь лично?

— Нет. Я был еще мальчик-с-пальчик. Все, что знаю — больше по рассказам бабушки.

Молодой человек вдруг остановился и с подозрением посмотрел на собеседника.

— А почему я вам должен все это рассказывать? Вы из полиции?

Архипов рассмеялся:

— Я похож на полицейского?

— Кто вас знает, — неуверенно проговорил Жульен.

— Давай говорить серьезно, — предложил Архипов. — Могу я чем-нибудь повредить твоей матери?

— Наверное, нет.

— Вот видишь! Зато со временем я, может быть, смогу сказать тебе, кто виноват в ее гибели.

— Вы серьезно? — спросил Жульен строго.

— Определенного обещать не могу.

— Ну, ладно. Расскажу. Но это совсем немного...

* * *

— Иногда мне кажется, что я помню этого господина, хотя мне было всего шесть. Уже после того, как мать ушла от отца и перебралась к бабушке, он несколько раз приходил к нам. Он приносил продукты, а потом уводил с собой мать. Я помню хорошо, потому что мы жили не шибко здорово, а господин всегда приносил вкусные вещи — колбасу, сахар, консервы.

Родители давно не ладили друг с другом. Отец все время обвинял мать в изменах. Признаться, я не нахожу в этом ничего удивительного. У отца была только одна забота — деньги, ради них он готов заложить что угодно. В то время он только начинал коммерцию, назанимал, где мог, и, кажется, был бы не прочь, если бы мать приносила что-нибудь в дом. Как и откуда — его не интересовало. В это время и появился господин Лагранж. Бабушка звала его тогда просто по имени — господин Робер.

У него были с отцом какие-то общие дела: то ли он что-то доставал для отца, то ли отец для него. Помню только, что отец его очень боялся и, когда тот приходил, всегда старался вытолкнуть к нему мать. Мама была очень красивой. Отец вдруг неожиданно взревновал, и в доме начались скандалы. Тогда-то меня и забрала к себе бабушка. А вскоре к нам переехала и мать. Привез ее на своей машине господин Робер. Меня еще поразило тогда, что у него был личный шофер. В то время это было редкостью.

Мать часто уезжала на неделю-другую, и мы получали от нее открытки, чаще всего из Марселя и Ниццы. Однажды она пришла очень веселая, принесла кучу коробок и пакетов и сказала, что через неделю уезжает в Латинскую Америку. «Когда я вернусь, — говорила она, — у нас ни в чем не будет недостатка. Мы сможем сменить квартиру и мебель». Зачем она едет в Латинскую Америку, не ведала даже бабушка. Но незадолго до отъезда маму зачем-то вызывали в суд, и она сказала бабушке, что у господина Робера неприятности.

Поездка в Латинскую Америку все откладывалась, мама нервничала и несколько раз плакала, хоронясь от бабушки. Потом как будто бы все уладилось. Мы вместе с бабушкой провожали маму на вокзал. До Марселя она ехала поездом, а там должна была сесть на пароход. Мама уехала. Через несколько недель мы получили от нее открытку с видом какого-то южного городка. Больше она не писала. Мы ждали месяц, а потом бабушка заявила в полицию на розыск.

Несколько раз к нам в дом приходил следователь, расспрашивал бабушку о маме, об отце, о господине Робере. Потом и он неожиданно исчез. Бабушке сказали, что следователя перевели в другой город и он уехал. Так дело и заглохло. Бабушка пыталась разыскать господина Робера, но он как в воду канул. Только незадолго до смерти бабушка случайно узнала, что господин Робер стал известным человеком, издает газеты и журналы. Она разыскала его адрес, хотя ей уже трудно было ходить. Но господин Робер не принял ее. Через несколько дней после этого произошел странный случай. Пришел какой-то молодой человек и, ничего не говоря, оставил небольшой пакет. В нем оказались деньги... Если бы не они, не знаю, на что бы хоронили бабушку. Вот и все, что я знаю... Вы думаете, вам удастся что-то узнать? — спросил Жульен и тронул Архипова за рукав.

В этом произвольном движении было столько доверчивости, что Сергей почувствовал жалость к этому незнакомому пареньку.

— Если у меня будут новости, я обязательно тебя найду.

— Вы можете приходить, даже если не узнаете ничего, — сказал Жюльен. — Может быть, я вспомню что-нибудь еще.

* * *

Вернувшись домой и развернув «Курье де суар», Архипов понял, что Робер Лагранж перешел в контратаку. Во всю первую страницу аршинными буквами шел заголовок: «Кто убил господина Лебре?». Ниже был набран подзаголовок: «Красные готовят удар по либеральной прессе». С фотографии, помещенной под заголовком, на Архипова смотрел Ив Картье, сопровождаемый двумя полицейскими. «После двухчасового допроса, — было написано под снимком, — Ив Картье оставлен на свободе с предписанием не выезжать из Марселя. Он последний, кто видел господина Лебре живым».

Статья начиналась риторическим вопросом: «Случайно ли оказался в Марселе господин Картье, известный среди журналистов под кличкой «Красное перо», в день жестокого убийства личного секретаря господина Лагранжа? По имеющимся у журналистов «Курье де суар» конфиденциальным данным, Ив Картье приехал в Марсель, чтобы путем шантажа заполучить от господина Лебре данные, компрометирующие человека, внесшего большой вклад в развитие свободной прессы. Является ли случайностью, что гротескные оскорбления коммунистической прессы в адрес господина Лагранжа совпали с вояжем Картье? Мы вправе задать вопрос: чьи инструкции он исполняет в Марселе?..».

Закончив чтение, Архипов с безразличностью отбросил газету.

Лег Сергей поздно и долго не мог заснуть. В голове одна за другой цеплялись фразы сегодняшних разговоров, факты, которые мозаикой складывались в какую-то неясную еще картину. Да, эта поездка матери Жюльена в Латинскую Америку... Латинская Америка — и господин Лагранж... Какая тут может быть связь? В Латинской Америке, особенно в Боливии, большая колония бывших нацистов... Обязательно надо взять у Жюльена ту, последнюю открытку матери. Откуда она?

* * *

На следующий день с утра Архипов поехал на улицу Луи-Морис Норман, где, по данным, полученным в архиве, прожи-

вал некто по фамилии Милевич, владелец авторемонтной мастерской, один из свидетелей по делу Лагранжа. «Коста Милевич... Похоже, югослав. Если он что-то знает, — рассуждал Архипов, лавируя среди машин по бульвару Рояль, — возможно, он будет более откровенен. Если, конечно, жив. Свидетели по этому делу имеют странную особенность — исчезать без всяких следов...»

Хотя нужная улица была где-то совсем рядом, Архипов долго бродил по переулкам, натываясь на тупики, склады строительных материалов и заброшенные заправочные колонки. Люди здесь были одеты совсем не так, как в центре Парижа.

Под номером 158 оказался очень старый трехэтажный дом с большими ржавыми воротами, возле которых стояла группа молодых африканцев.

— Вы не знаете господина Милевича? — спросил у них Сергей.

— Он откуда? — спросил один из молодых людей.

Архипов пожал плечами, не понимая смысла вопроса.

— Из какой страны? — уточнил африканец.

— Из Югославии, — сказал Архипов.

— Тогда едва ли вы его здесь найдете. Он студент?

— Мне сказали, что он владелец гаража. Разве здесь не гараж?

— Здесь общежитие студентов-африканцев.

— А гараж?

Молодой человек пожал плечами и что-то спросил у стоявших вокруг него. Те с любопытством смотрели на Архипова. Один из них, по виду старше других, сказал:

— Говорят, раньше здесь действительно был гараж. Но сейчас от него осталась лишь крыша. Зайдите, посмотрите. Но господина Милевича здесь вряд ли кто знает. Всем этим сейчас владеет Массуд Туре.

Архипов прошел в ворота. Пахнуло тяжелым запахом мужского дортуара. Под ногами хрустнула разбитая бутылка из-под кока-колы. Мимо с тюком грязного белья прошел какой-то человек.

Привыкнув к полумраку, Архипов начал различать копошащихся в глубине двора людей, сновавших взад-вперед кто с кофейником, кто с дымящейся кастрюлей, кто с тюфяком. Сквозь грязную застекленную крышу сочился тусклый свет, и смесь его с желтоватым светом ламп создавала то нереальное, призрачное освещение, которое Архипов встречал только в театрах.

Теперь, когда Архипов огляделся, он понял, что весь этот людской муравейник расположился под большой, кое-где продырявленной крышей, покоившейся на металлических конструкциях. Похоже, что здесь действительно был гараж.

Пройдя вперед, Архипов увидел что-то похожее на душевой павильон. За деревянной перегородкой из стены торчала труба с разбрызгивателем, сделанным из консервной банки. С тоскливым хлопанием на мокрый пол падали тяжелые капли воды.

— Что вы здесь ищете? — окликнул его какой-то человек.

Архипов оглянулся и увидел перед собой маленького старичка с большой связкой ключей в руке.

— Посторонним в общежитие вход запрещен, — еще не зная, какой тон принять, чуть вежливее сказал старик. Видимо, на него произвел впечатление костюм Архипова.

— Я бы хотел видеть господина Массуда Туре.

— Господин Туре здесь не бывает. А с кем я имею дело?

— Я из санитарной инспекции, — схитрил Архипов.

— Уже? — удивился старик. — Идемте в мою комнату, здесь нам не дадут поговорить, — заговорщически зашептал он. — Если вы после выступления газеты, то могу вас заверить, что там половина — неправда. Неужели вы не знаете коммунистов? Они только и выискивают неприятности, чтобы навредить правительству. Студентам, разве им можно верить? Это неблагодарные люди! Конечно — здесь не отель Хилтон, но ведь господин Туре открыл общежитие из человеколюбивых соображений. Студенты платят сущие пустяки. Если бы не господин Туре, им пришлось бы спать на улице.

— Насчет человеколюбия господина Туре я был бы осторожнее, — заметил Архипов.

— Вы просто не знаете господина Туре. Это честнейший и добрейший человек. Вы сами будете иметь возможность убедиться в его щедрости при встрече. А сейчас, извините: без личного разрешения господина Туре я вас не могу впустить.

Архипов, которому уже надоела болтовня старика (как он ловко втер словечко о щедрости Туре!), решил закруглить разговор.

— Собственно, вы напрасно беспокоитесь. Я пришел сюда как частное лицо.

— Частное? — с сомнением переспросил старик. Потом его осенила догадка. — Ах, частное лицо! — растягивая беззубый рот, радостно проговорил он. — Конечно же, конечно. Частное лицо — это другой разговор. А то ходят тут всякие из газет. Одно частное лицо всегда поймет другое. Вы хотите встретиться с господином Туре? Нет ничего проще...

Старик суетливо и подобоострастно засеменял к висящему на стене старомодному телефону.

— Не к спеху, — остановил его Архипов. — С господином Туре мы найдем общий язык. Но предварительно мне бы хотелось кое-что узнать у вас...

Архипов вытянул из бумажника хрустящий пятидесяти-франковый билет.

— По какому, позвольте узнать, поводу? — спросил старик, пряча деньги в ящик стола.

— По поводу господина Милевича, бывшего владельца гаража.

— Ах вот вы как глубоко копаете. Простите... а причем здесь санитарная инспекция?

Старик был явно сбит с толку.

— Экий вы непонятливый! Санитарная инспекция — как бы вам сказать... неофициальное название совсем не санитарной службы, которая работает в самом тесном контакте с... Впрочем, вам это не обязательно знать. А господин Милевич интересуется нас в связи с терроризмом усташей. Читали последние газеты?

— Да, да... — залепетал старик. — Что-то припоминаю. Неужели и господин Милевич стал террористом? Такой тихий человек... Позвольте, позвольте, — вдруг забеспокоился он, — а вы не ошибаетесь? Точно ли Коста Милевич?

— У нас не ошибаются... — многозначительно обронил Архипов.

— Странно, очень странно...

— Да в чем дело? — строго спросил Архипов.

— Два дня назад я видел господина Милевича собственными глазами.

Сердце у Архипова подскочило. Это была удача. Теперь главное — не сделать ложного шага.

— Вот вам, пожалуйста, — шутливым тоном проговорил он. — Мы ищем его вторые сутки, просмотрели досье всех посольств, обыскали десятки квартир, а господин Милевич спокойно гуляет по городу.

— Он не гуляет, он работает...

— Работает? Он не может работать! Если бы он работал, он проходил бы по документам. У нас он числится без вести пропавшим.

— Не знаю... Я собственными глазами видел его в будке контролера на конечной станции автобусов возле Порт де Клиши.

— Как? Он на государственной службе? Неплохое прикрытие. Так вы говорите Порт де Клиши?

— Да, да, именно там. Только ради бога не говорите, что эти сведения вам дал я: они могут мстить, — испугался старик.

— Пусть вас это не беспокоит. У нас нет оснований называть ваше имя. Милевич давно продал свой гараж? — спросил Архипов.

— Продай! Что ему было продавать? Гараж сгорел дотла в пятьдесят пятом году. Остались только металлические стойки. О, это был большой пожар. Сгорело несколько человек.

— А что же пожарники?

— Что могли сделать пожарники? Пожар начался ночью. Вначале был взрыв — видимо, ухнули бочки с бензином. Все кончилось в десяток минут. Пожарники приехали, когда от гаража остались одни головешки и крыша. Я удивляюсь, как спасся хозяин. Собственно, об этом я узнал много позже, а тогда все думали, что господин Милевич сбежал, чтобы уйти от ответственности. Следствие пришло к заключению, что в пожаре виноват он сам — в гараже была отвратительная проводка.

— Вы что же, все видели сами?

— Я жил в доме напротив. Мы тогда натерпелись страху: боялись, как бы огонь не перекинулся через улицу.

Архипов попрощался со стариком и в высшей степени возбуждения вышел из общежития...

* * *

На конечной остановке Порт де Клиши, дождавшись, когда выйдут пассажиры, Архипов подошел к водителю автобуса и спросил, не знает ли он господина Милевича.

— Кто такой?

— Знакомый, работает контролером на автобусной линии. Понимаете, познакомились на юге, договорились встретиться, а адресами обменяться забыли. Вспомнил, что он говорил, будто работает на сто семнадцатой линии.

— Не припомню что-то. Если контролер — я бы его знал. Видимо, с другой линии. Своих мы знаем всех. Он что, не француз, судя по фамилии?

— Югослав...

— Тем более. У нас иностранцев среди контролеров мало. На подсобных работах есть и итальянцы, и югославы, а в контролерах — не думаю. Ошибка...

Архипов вышел из автобуса и, раздумывая, что предпринять, стал ходить взад-вперед вдоль бордюра, к которому подкатывали автобусы. Он уже приметил небольшую застекленную будку, где сидел контролер. Туда с карточками в руках заскакивали шоферы. Человек в черной униформе и фуражке с кокардой, сидевший за столом, очень походил на югослава — черные усы, смуглое лицо. Почему его не знает водитель автобуса? Может, старик из общежития что-то напутал или предна-

меренно обманул? А может быть, Милевич сменил фамилию и скрывает югославское происхождение?

Архипов прошелся совсем близко от будки. Контролер теперь был всего в нескольких шагах от него, виден был даже маленький шрам на его щеке. Какой идиот, что он не спросил старика, как выглядит Милевич. Обрадовался находке и обо всем забыл. Идиот!

«Если к нему подойти и сказать: «Здравствуйте, господин Милевич», — соображал Архипов, — это может его напугать. Нужно завести разговор как-то исподволь. Но как начать? Вот если бы залучить его на кружку пива...»

Архипов пошарил глазами по площади и увидел пивную. «Не исключено, что после работы он заходит пропустить стаканчик вина или кружку пива, — подумал Архипов. — Если это так — бармен должен его знать».

Архипов решительно направился через площадь в обход и через несколько минут уже был в пивной. У стойки было негде приткнуться, и пришлось сесть за столик. Когда официант принес заказанное пиво, Архипов спросил:

— Когда у водителей пересмена?

— У автобусников?

— Да.

Официант посмотрел на часы.

— Через двадцать минут здесь не будет ни одного свободного места.

— А контролеры?

— Эти кончают минут на пятнадцать попозже.

Архипов несколько минут сидел в раздумье, потом снова подозвал официанта:

— У вас сегодня какое дежурное блюдо?

— Антрекот с горчичным соусом.

— Давайте две порции антрекота и пива. Можно не торопиться...

Минут через десять в кафе стало шумнее. Водители приходили по двое, по трое, по мере того, как подходили автобусы. Из окна была хорошо видна будка и небольшая толпа шоферов вокруг нее. Видимо, ждали, когда контролер сделает отметку в путевых листах.

Архипов снял пиджак и повесил на спинку стула напротив. Официант, принесший тарелки с антрекотами, неодобрительно покосился на пиджак.

— Кого-нибудь ждете? — спросил он.

— Контролера, — ответил Архипов и для верности показал в сторону будки.

— А! Пьера Брике! Это другое дело. Если мосье имеет к нему дело — я бы посоветовал взять перно¹. У господина Брике неважно с желудком, и он не пьет пива.

— Тогда два перно. А это вам за любезность. — И Архипов протянул официанту десятифранковый билет. Теперь он мог быть уверен, что к нему никого не подсадят.

* * *

Архипов увидел, как из будки вышел контролер и неторопливо направился в сторону пивной.

«Зайдет или не зайдет?» — гадал Сергей.

Зашел. Кивнул официанту, пожал несколько рук. У стойки по-прежнему было много народу. Огляделся. Увидев пустующее место против Архипова, спросил кивком головы: «Можно?»

Архипов кивнул и снял со спинки стула пиджак.

— Не пришла? — спросил контролер.

— И не придет...

— Что так?

— Ехать далеко.

— Надо уметь место выбирать.

— Выбирай не выбирай, а из Москвы не приедешь...

Архипов решил действовать напрямик. «Если этот контролер действительно Коста Милевич, югослав, не исключено, что упоминание о Москве вызовет у него какую-то реакцию», — думал Архипов. Он не ошибся.

— Хе! — прищелкнул языком контролер. — Уж не русский ли?

Он внимательно пригляделся к Архипову.

— Товарищ или из бывших?

— Товарищ, товарищ, — весело ответил Архипов.

— Что же вы, товарищ, в таком месте свидание назначаете? Получше не нашли?

— Человека одного разыскиваю. Мне сказали, что он бывает в этом кафе.

— Вот как? Кто же такой, если не секрет? Я здесь многих знаю.

— Югослав один, — уклончиво ответил Архипов.

— Югослав?

В интонации контролера теперь звучало не просто любопытство, но и настороженность.

¹ Анисовая водка.

— Я знал кое-кого из югославов, — заметно снижая тон, проговорил он. — Правда, это было давно...

— Давайте-ка выпьем для знакомства, — неожиданно предложил Архипов, подвигая контролеру стакан. — Тот, кого я жду, видимо, не придет. А я заказал две порции.

— О, перно!..

— За неимением водки...

— Вы в самом деле советский? — недоверчиво спросил контролер.

— Если бы я не был русский, я не стал бы вас искать, — глядя прямо в глаза контролеру, медленно по-русски проговорил Архипов.

— Меня? — Контролер озабоченно огляделся по сторонам.

В зале было шумно, дымно. Возле стойки громко спорили несколько человек. Удивление контролера было столь велико, что он не заметил, как это «меня» вырвалось у него по-югославски. Русский язык он понимал. Это было ясно.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, — справившись с волнением, по-французски продолжал контролер. — Вы что-то путаете.

— Может быть, — медленно проговорил Архипов. — Может быть. А жаль. Потому что человек, которого я ищу, мог бы помочь разыскать одного негодяя.

— Как зовут вашего человека? — прошептал контролер.

— Когда-то его звали Коста Милевич...

Оба, Архипов и контролер, долго молчали, делая вид, что с большим интересом разглядывают улицу. Но на ней ничего значительного не происходило. Неслись машины, прошел человек, что-то высматривая на обочине тротуара, проехал на велосипеде бородач с девочкой на сиденье, торопились хозяйки с сумками, шагал рабочий-строитель.

Контролер допил стакан и отодвинул его от себя.

— Мы могли бы поговорить на улице, здесь шумно, — сказал он.

Архипов кивнул.

Они двинулись по боковой пустынной улочке. Несколько минут оба молчали.

— Как вы меня нашли? — спросил, наконец, контролер.

— Я видел некоторые документы, касающиеся дела Робера Лагранжа, там были имена свидетелей. Вы последний в списке.

— Остальных уже нашли?

— Их давно нет. Вы — единственный, кто уцелел.

— Я это знаю. Поэтому я сменил фамилию, имя, жилье — словом, все. Иногда мне кажется, что я сменил даже шкуру.

Я давно уже не югослав Коста Милевич, а француз, уроженец провинции Овернь — Пьер Брике. Это имя мне досталось от одного француза, убитого нацистами. Он был круглым сиротой, мы были с ним в одной боевой группе. Когда его взяли в гестапо, его документы остались у меня.

— Пожар в вашем гараже — случайность?

— Какая случайность! Полиции выгодно было выдать это за случайность. Разубеждать я их не стал. Правды все равно бы не добился. У Лагранжа миллионы, а я был всего лишь мелкий хозяин. Для меня самое удобное после поджога было скрыться и сделать вид, что я сгорел. А кто вам сказал про пожар?

— Сторож... в общежитии. Кстати, он мне сказал, что видел вас...

— Вот как? Значит, узнал, сволочь. Глаз тренированный — недаром всю жизнь в розыске проработал. Его и сейчас в общежитие не зря поставили. Студенты, молодежь... Среди них могут быть левые... Так вас, значит, интересуется господин Лагранж, наш нынешний газетный король?

— Меня больше интересует его прошлое.

— Ну, прошлое его известно. Папаша — немец, обосновавшийся во Франции в Страсбурге. Мать — француженка. Когда нацисты оккупировали Францию, Робер Лагранж пошел к ним добровольцем. В начале войны дивизия, в которой он служил, попала на Восточный фронт, и он долго не появлялся в Париже. Объявился он лишь в сорок третьем году после того, как ваши их придавили под Харьковом. К тому времени он был уже майором. Мы начали за ним охоту, но он вел себя очень осторожно. Видимо, опасаясь возмездия, он переехал в Италию — там ему казалось безопаснее. После войны наши сделали все возможное, чтобы притянуть его к суду. Началось следствие по делу Лагранжа. Сперва все шло довольно быстро, но потом мы почувствовали, что кто-то сильно жмет на тормоза. Одного за другим сменили несколько следователей, исчезли документы, связанные с участием Лагранжа в расстреле итальянских партизан. Словом, следствие волюнили, пока он не попал под амнистию.

— Как вы познакомились с ним? — спросил Архипов.

— По чистой случайности. У меня тогда был совсем крохотный гараж — три разбитых американских студебеккера. Я с земляками перебрал их до последней гайки. Вышли две неплохие машины. Из-за них-то, из-за этих машин, и состоялась моя встреча с Робером Лагранжем. Его привел ко мне Давид Бушольц. Давида я знал еще с молодых лет. Он был неплохим механиком и превосходно водил машину. После войны он страшно бедствовал, и я иногда давал ему подработать. Потом он пропал.

Говорили, что он устроился к кому-то шофером. Я и предположить не мог, что этим «кем-то» был Робер Лагранж. В то время машины, особенно грузовые, были в большом дефиците, а господину Лагранжу они почему-то потребовались. Тогда-то Давид и вспомнил обо мне.

— Вы не знаете, где Лагранж пропадал после освобождения Италии? Для меня это очень важно.

— Точно не знаю. Однажды, правда, я невольно услышал разговор между людьми Лагранжа: речь шла о Боливии. Похоже, что там у него много связей. Впрочем, связи — прежде всего деньги, а в деньгах он не ощущал недостатка. Вы знаете, какие то были годы. После войны все было расстроено, фирмы лопались так же быстро, как и нарождались. Он же поднимался как на дрожжах, словно его кто-то подсаживал.

— И у вас не было никаких догадок, что это за мощная рука?

— Были. Я имел неосторожность поделиться ими во время следствия. Чем это кончилось, вы уже знаете. Если бы я не скрылся после поджога гаража, меня бы ждала та же участь, что и двух других свидетелей.

Контролер надолго замолчал, снова переживая события далеких лет. Они уже давно дошли до конца улицы, вернулись обратно и теперь стояли, облокотившись на парапет, ограждающий съезд в подземный путепровод. Внизу с ревом проносились машины.

— Как мне лучше вас называть? — спросил Архипов.

— Называйте, как хотите, — думая о своем, сказал контролер. — Теперь это не имеет никакого значения. После того как меня узнал этот тип из общежития, мне надо еще раз менять шкуру.

— Думаете, это необходимо? Ведь все давно миновало: пожар, дело Лагранжа, ваше исчезновение...

— Однако вы копаетесь в этом давно минувшем, — с усмешкой заметил югослав. — Значит, вам это нужно. Вы ищете свою правду, а есть люди, которым ее надо похоронить. И ради этого они пойдут на все. Для них жизнь маленького контролера не стоит и сантима.

— Вы боитесь?

— А вы нет? Хотя вам что! У вас за спиной Советский Союз, а у меня кто? Касса взаимопомощи?.. А когда-то была жизнь, были друзья. После пожара... хотелось уйти на дно, спрятаться, зарыться в землю. Что мне оставалось? У меня перед глазами стоял бедняга Давид Бушольц. Ему тогда еще не было и тридцати... После того как исчез Давид, я понял, что очередь за мной... Скажете, испугался? Скажете, надо бороться? Может

быть... Теперь, когда я столько лет просидел в норе... Может быть, вы и правы: надо было кричать... Думаете, я всегда был таким? — Контролер с ненавистью посмотрел на свои тусклые башмаки. — Вы знаете, что меня недолюбливают товарищи по работе? Недолюбливают и боятся. Это очень плохо, когда тебя боятся. И правильно делают. Я мрачный и мелочный тип, жизнь украла у меня лучшее, что дала мне мать.

Его лицо вдруг ожило, и жесткие морщины, пролежавшие от углов рта к подбородку, задвигались.

— Вы не поверите, но я был самым веселым парнем в нашей боевой группе. И потом, после войны (вы знаете, какое это было нелегкое время), как мы смеялись, каких девушек любили. Страх отнял у меня все. Я проклинал и себя, и то, что ввязался в эту историю. Вы знаете, чем она кончилась. Лагранж вышел чистым, как ангелочек. Нам было стыдно смотреть друг другу в глаза, словно не он, а мы, свидетели, сделали какую-то гадость. Да, да, я жалел и проклинал тех, кто говорил мне, что я должен вывести на чистую воду прихвостня фашистов. Потом, когда жизнь стала пустой, как дом, из которого ушли даже мыши, я много думал об этом. Вы спрашиваете, жалею ли я? Нет, не жалею. Жалею о другом: о том, что дал превратить себя в охотничью дичь, тогда как надо было стать мстителем. Заяц всегда проигрывает, какие бы длинные ноги у него ни были. Против собаки надо выпускать собак.

Архипов видел, как на его глазах в душе этого незаметного служащего, загнанного судьбой на задворки жизни, поднимается чувство недовольства самим собой...

И далее, во время их долгого разговора, Архипов еще и еще замечал, как в маленьком человеке, потерянном для друзей и для жизни, разгораются угасшие остатки любви и ненависти, которые разграничивают тление и жизнь.

Теперь уже не только Архипов спрашивал, а Милевич отвечал. Их роли скоро переменились, и журналисту пришлось рассказать всю историю поиска от начала до конца. Он рассказал контролеру о своих находках и подозрениях, о странной смерти в Марселе господина Лебре, секретаря Лагранжа, и о своем беспокойстве за судьбу Ива Картье.

— Я уверен, что и этого Лебре прикончили люди Лагранжа. Более беспощадного человека я в жизни не встречал, — сказал Милевич.

— Я так тоже подумал, — заметил Архипов, — но это было бы слишком рискованно.

— Рискует только тот, у кого нечем платить по счетам. Остальные не рискуют, а рассчитывают. Вот вы, насколько я пони-

маю, рискуете, потому что против ставки Лагранжа вам нечего поставить, кроме...

— Я не собираюсь делать ставок против Робера Лагранжа, — сказал Сергей. — Наши ставки были сделаны тридцать с лишним лет назад. За ним просто неоплаченный долг.

— Ну что ж, если говорить о долгах, то и мне он должен немало, лет двадцать украденной жизни. Это кое-что весит...

— Вы часто встречались с Лагранжем?

— Всего один раз. Он пришел в гараж как-то вечером в сопровождении двух верзил, задал несколько пустяковых вопросов — с кем живу, женат ли, откуда знаю его шофера, потом быстро осмотрел машины и, видимо, остался доволен. Порядок оплаты он установил сам: сказал, что станет переводить на мой счет ежемесячно условленную сумму, независимо от того, будут ли использованы мои машины или нет. Условия были выше всяких ожиданий. Настораживало то, что никакого контракта мы не подписали, но, поскольку плата шла за месяц вперед, меня это мало беспокоило. Перед уходом один из типов, пришедших с Лагранжем, отозвал меня в сторону и, поигрывая чем-то в кармане, предупредил, что условия договора действительны только в том случае, если я буду держать язык за зубами. Больше он ничего не говорил, все было понятно и без слов.

Это была моя первая и последняя встреча с Лагранжем. Потом дела велись через его людей, ни имен, ни места жительства которых я не знаю. То, что мне известно, я услышал либо случайно, либо от Давида Бушольца, который был больше в курсе дела. Он-то меня и спросил однажды: «Знаешь ли ты что-нибудь о тайных сокровищах, награбленных немцами во время войны?» Я об этом ничего не слышал. «У меня такое впечатление, — сказал тогда Давид, — мы с тобой клюем из этой кормушки». Сказав это, он страшно перепугался и умолял нигде, никогда не говорить о том, что сболтнул. Я и сам понимал, чего могла стоить болтовня, и молчал. Только с тех пор я стал внимательнее прислушиваться к тому, что говорили люди Лагранжа, когда приходилось с ними сталкиваться. А сталкиваться приходилось.

Гараж у меня, как вы уже поняли, был совсем маленький, сэкономил я на чем только мог и частенько, если кто-нибудь из шоферов болел, выезжал в рейсы сам. Спутники мои, те, что сопровождали груз, были очень молчаливые господа с военной выправкой. Некоторые из них говорили по-французски с сильным акцентом. Но ведь знаете, когда едешь с одним и тем же человеком раз, потом другой, потом третий, все время молчать невозможно. Иногда говорили. Так, о пустяках. О погоде, о женщинах, о деньгах. Почему-то все они очень хвалили фран-

цузский климат, говорили, что это не земля, а рай. «Вот если бы вам пришлось пожить в Боливии, — сказал один из них, — вы бы не сетовали на дождь». В другой раз во время ночной поломки недалеко от границы с Бельгией я услышал разговор двух сопровождающих. Они опять же говорили о Боливии. Речь шла о Клаусе Барбье, человеке, который, вероятно, являлся посредником между Лагранжем и другим важным лицом, живущим в Латинской Америке. Это важное лицо, как я тогда понял, и есть хранитель нацистских сокровищ.

Архипов молча слушал. То, о чем сейчас говорил югослав, было очень важно для него. Наступил тот момент, за которым Архипов так долго охотился.

Уже много лет, наверное, не меньше десяти, прошло, как Архипов впервые узнал о тайных сокровищах нацистов, вывезенных из Европы в Латинскую Америку. С тех пор он собирал все, что касалось этого дела. У него накопилась масса данных, почерпнутых из советских и иностранных источников. Он знал на память биографии многих бывших высокопоставленных нацистов, улизнувших из Европы, имел фотографии, хранил оценки специалистов о величине тайных фондов, тщательно следил за публикациями в западной прессе о движении анонимных капиталов. Несколько раз он встречался с людьми, которые жили и работали в Латинской Америке и привозили оттуда рассказы о жизни многочисленной и богатой немецкой колонии. Иногда Архипову казалось, что достаточно лишь небольшого усилия, чтобы тщательно охраняемый секрет раскрылся, но это были лишь надежды и мечты. В действительности же он был не ближе к раскрытию финансовой тайны столетия, чем десятки и сотни западных исследователей и журналистов, пытающихся, как и он, проникнуть в святая святых неонацизма — в финансовую кухню тайной организации фашистов. И вот теперь, теперь он впервые почувствовал по-настоящему, не во сне, а наяву, что ухватился за кончик нити, которая, может быть, приведет его к разгадке.

— Вы упомянули Клауса Барбье, — промолвил Архипов.

— Да, да, когда я услышал это имя, у меня чуть не подкоились ноги. Его ненавидит каждый, кто был в Сопротивлении. Барбье был начальником гестапо Лиона во время оккупации. Наши много бы дали, чтобы заполучить его во Францию. Но даже правительство оказалось бессильным. Все требования о выдаче получили отказ... Я был так ошарашен услышанным, — продолжал Милевич, — что утратил осторожность. Мне хотелось подойти поближе, но меня слышали. Я думал, они прикончат меня тут же, на месте. Они, видимо, сами здорово перепугались,

что сболтнули лишнее. Один из них уже вытащил пистолет, и я думал: настала моя последняя минута. Но что-то их остановило. Возможно, боялись, что Лагранж потребует ответа, почему кончили меня. Не знаю... «Если ты хотя бы раз раскроешь рот, то узнаешь, как пахнет вот эта штука», — сказал тот, с пистолетом. Мне кажется, я на всю жизнь запомнил его лицо: бледное, большое, с круглыми свиными глазками. После этого случая в моем гараже больше не появлялись, и я думал, что они исчезли совсем. А вскоре началась свистопляска с процессом, пожар в гараже, бегство. Я уехал из Парижа, работал в Лилле: сначала — кондуктором автобуса, потом — водителем. В Париж я вернулся только лет через пять с другой фамилией и устроился контролером на автобусную линию. А что может интересовать контролера? Стаканчик перно после долгого и скучного дня.

— И вы больше никого из них не видели?

Милевич несколько секунд молчал. Видно было, что он колеблется.

— Того бледнолицего толстяка, что грозил мне пистолетом, можно встретить в ночном баре «Японские ночи». У меня там приятель в швейцарах... — пояснил контролер. — Его зовут Рутье.

* * *

Проснулся Архипов оттого, что в вагоне вдруг стали хлопать дверьми, слышались громкие голоса, шарканье ног. Он приоткрыл занавеску. Поезд стоял на большой станции внутри мрачного, похожего на ангар дебаркадера. Мимо шли, бежали и чинно прогуливались люди. Кричал репродуктор. Что-то знакомо-неприятное было в звуках чужой речи. Только когда развеялся сон, Архипов понял, что говорят по-немецки. Передавали вокзальные объявления. Мирные.

— Внимание! Внимание! Родителей, потерявших девочку, просят подойти к кассам...

И тут же Архипов услышал быстрые шаги, клацанье двери в соседнем купе, вежливый голос:

— Добрый день. Документы, пожалуйста!..

И звук этого спокойного, вкрадчивого голоса и еще звенящее за окнами «Ахтунг! Ахтунг!» — все это вдруг всколыхнуло в Архипове что-то глубоко затаенное, осевшее, казалось, навсегда, какие-то детские ассоциации чужой, непережитой боли. Он весь напрягся и, как ни был готов к встрече, все-таки вздрогнул, когда ручка двери завертелась и тот же голос сказал:

— Ваши документы, пожалуйста.

Вежливая, взвешенная улыбка, быстрые глаза, ощупавшие за несколько секунд углы купе, маленькая задержка с передачей паспорта (Архипов уже протянул руку, а человек в серой форме чуть придержал его, словно натягивая до какого-то известного ему предела нервы), и уже совсем иной, быстрый разговор с другим пограничником, проверявшим документы в соседнем купе...

Западный Берлин. Вокзал. Проверка документов. Обычная процедура. Никто не лез в чемодан, не ощупывал карманов. За окнами из репродуктора уже неслась музыка. Вальс Штрауса. Ти-ти, та-та, ти-рим-па-па... Возле лужи у питьевой колонки суетятся голуби.

Переваливший за третий десяток мир...

Когда поезд тронулся, Архипов долго не мог унять неизвестно откуда взявшуюся нервную дрожь.

— Обратите внимание, видите, в проеме домов... Этот купол... рейхстаг...

Архипов вытянул шею и тоже стал смотреть туда, куда показывал мужчина, стоявший у окна, и увидел наконец ничем не примечательный на вид, небольшой, как ему показалось, купол с незаделанными еще дырами. И странное дело: вид ветхого купола, который он никогда бы не узнал, вдруг успокоил его, и пять минут спустя, бреясь перед прыгающим вагонным зеркалом и поглядывая на свое гладкое, чуть припухшее лицо, Архипов спокойно подумал о том, какой удивительный феномен — коллективная память народа, частью которой был и он сам.

И потом, сидя в вагоне-ресторане или у себя в купе, или затягиваясь сигаретой в коридоре, Архипов все смотрел в окно на ровные ряды деревьев, на кусты возле домов, на сами дома, окруженные ухоженными садами и похожие на картинки из старой книжки Ганса Андерсена, и все пытался представить себе, как эти кукольные домики горят, как вырубают сады, как железные гусеницы танков отдирают от земли зеленый ухоженный дерн. Пытался — и не мог. То девочка возле увитой розами калитки махала вслед поезду рукой, то старик на переезде приветливо приподнимал шляпу над седой головой, то велосипедисты, мчавшиеся параллельно поезду, что-то кричали вслед — все это смешивало готовую родиться в воображении картину. Где они, думал он, те всходы ненависти и насилия, которые тридцать с лишним лет назад взломали хрупкую оболочку мира и которые — как знать? — может быть, и сейчас таят, как невинная разрыв-трава, свою губительную силу. Может быть, они — в этой линейной четкости и ухоженности пейзажа, в кукольной красоты домов, в висащем в воздухе порядке?

Солнце едва поднялось над зелеными горами, и тени от зонтиков доходили до самой воды. Песок после ночного прилива был мокр, со множеством дырочек от маленьких рачков. Город еще не проснулся, и розоватый свет висел над затихшим морем, приморским бульваром, мачтами парусников, стоявших в порту. Скоро все это пройдет: и свет, и свежесть, и тишина. Набережная взорвется ревом машин, к морю поползет гарь, закричат продавцы лимонада, загудят в порту пароходы — начнется день, долгий, раскаленный добела марсельский день.

Ив бросил на камни полотенце и вошел в воду. Вода была мягкой, и над ней висела легкая дымка. Ближе к горизонту она сливалась с небом, и уже нельзя было различить, где небо, где вода.

На пляже мальчишки натягивали маленькие цветные шатры. Женская фигурка промелькнула на фоне белой балюстрады, отделяющей море от города, и потом Ив видел, как на воде покачивается ее красная шапочка.

Стало грустно. Картье повернулся на спину и долго лежал на воде, глядя, как голубеет небо и рассеивается туман.

С моря были хорошо видны горы. Они были зеленые, большие, с курчавыми вершинами. Город казался белым островом, но как много было на этом острове зависти, суеты, незаслуженного горя и зыбкого, неоплаченного счастья.

Не за то ли жизнь карает людей, что они ушли с гор, с полей и создали каменные загоны с искусственными понятиями о красоте, любви, счастье, загоны, где, чтобы жить, недостаточно быть просто человеком, нужно ловчить, лгать и выставлять напоказ те качества, каких у тебя на самом деле нет, — то есть делать то, для чего нормальный, здоровый человек приспособлен менее всего.

«Неужели когда-нибудь настанут времена, — думал Картье, — когда люди будут смотреть на море, на горы и понимать, что все это создано для счастья всех и что его нельзя нарезать, как именинный пирог кусками: неужели когда-нибудь придет день, который целиком, как воздух солнцем, будет напоен радостным ощущением жизни без примеси страха, тщеславия, корысти, изнурительных забот о хлебе, о завтрашнем дне».

Ив вспомнил последние несколько дней своей жизни и подумал, что все это бред и дней таких больше никогда не будет, потому что все, что можно отравить в этом мире, уже заражено самой страшной болезнью, которой может быть болен человек, — ненасытной жаждой власти и денег.

Вдали от берега вода была холоднее, и от этого холода, идущего снизу, Иву стало не по себе. Море, обступившее его, казалось ему чужим и враждебным. Ив поплыл к берегу.

На камнях рядом с полотенцем лежала подброшенная кем-то газета. На первой странице «Курье де суар» во всю ширину газетной полосы шла вопрошающая фраза: «Кто же убил секретаря г-на Лагранжа?» Чувствуя, что его начинает бить дрожь, Ив принялся читать. Смысл статьи сводился к тому, что он, Ив Картье, вовсе не случайно оказался в Марселе, его присутствие здесь не может не заставить думать о тех, кто приложил руку к убийству уважаемого и невинного человека, близкого друга г-на Лагранжа.

У Ива от негодования задрожали руки. Легкий ветерок трепал страницы газеты, и они шевелились, как шупальца спрута. Ив не хотел читать дальше. Все это будет лишь повторением тех гнусных инсинуаций, которые делала в его адрес «Курье де суар» год тому назад, после того как он написал свою первую статью о газетных спекуляциях Лагранжа. Именно тогда ему приклеили ярлык «Красное перо», который уже принес ему немало неприятностей.

«Кажется, они взялись за меня всерьез, — подумал Картье. — Представляю, какую грязь они выльют в следующем номере».

Город начал просыпаться. Появились машины. На соседней улице шумел базар. Продавцы цветочных магазинов выставляли ведра с цветами. Далеко, у самого горизонта, шел белый пароход. Это был самый обычный пароход, идущий, скорее всего, в Геную и потому не удаляющийся от берегов. «Как мало нужно человеку для счастья, — подумал Картье. — И почему даже эта малость так редко выпадает людям?»

Картье заторопился в гостиницу. Он уже четвертый день в Марселе, а дело, ради которого он приехал, стоит на месте. После неожиданной, непредвиденной смерти Лебре, секретаря Лагранжа, он почти потерял надежду получить требуемые документы.

На условленную встречу Лебре пришел без документов и на вопрос Ива ответил, что опасается слежки. Лагранж, по его словам, о чем-то догадывается и не отпускает его от себя. Сказал, что с Ивом он больше встречаться не может, а документы передаст через одну из горничных Лагранжа.

Эта горничная теперь, после смерти Лебре, была единственной ниточкой, которая еще могла привести Картье к документам. Но как? Ив не знал даже ее имени. Правда, Лебре упомянул, что она «красива, как все молодые итальянки». «Молодая итальянка» — это уже кое-что. Не целый же там гарем у Лагран-

жа. Но как проникнуть на виллу? Над этим вопросом Ив ломал себе голову уже второй день, но решение так и не приходило.

* * *

Итальянец поднял глаза, и в них мелькнуло то свойственное итальянским официантам выражение предупредительности и вместе с тем пренебрежения к клиентам, которое столь выгодно отличает их, например, от испанцев: те, подавая стакан вина, сердито и обиженно смотрят в сторону, словно посетитель обругал корриду.

Картье переоделся и сошел вниз, чтобы выпить в баре виски. После общения с «Курье де суар» нужно было подкрепить нервы.

— Какой-то человек спрашивал господина Картье, — многозначительно сказал бармен, выуживая из нагрудного кармана блокнотик. — Мосье желает?..

— Виски, — ответил Ив, соображая, кому это он мог понадобиться в такую пору.

— Чрезвычайно любезный господин, — частил итальянец. — Но сразу видно, что не француз и уж, конечно, не итальянец. Не тот стиль!

— Кто же он?

— По физиономии — датчанин, по костюму — поляк, по акценту — немец, а по кошельку — американец.

— Какой же следует сделать вывод? — спросил Картье, подвигая к итальянцу блюдечко с чаевыми.

Итальянец изобразил на лице лучезарную улыбку и, спрятав деньги в карман, зашептал конфиденциально:

— Мне показалось, что этот человек интересуется делами господина Картье.

— И что же ты ему сказал?

— Клянусь мадонной.

— Не надо клясться. Мадонна не любит, когда при ней обманывают людей. Признайся, ты рассказал ему все, что знаешь обо мне.

— Как я мог! Я только сказал, что мосье в самом превосходном расположении духа и с утра пошел купаться.

— Он не просил проводить его в мой номер?

На этот раз подвижные губы итальянца изобразили обиду.

— Мосье Картье! Я служу в порядочном отеле! В номера наших клиентов мы беспрепятственно впускаем только девушек. Кстати, у меня есть кое-кто на примете... Если мосье желает...

— Мосье желает остаться вне досягаемости южных дам, — заметил Картье. — Так где же ваш гибрид?

— Я направил его в садик. Десять минут назад я отнес ему третью кружку пива.

— Вот как? — изумился Картье. — Он здесь уже давно?

Итальянец хотел что-то ответить, но вместо этого изобразил на лице сладчайшую улыбку и замолчал. В бар кто-то входил. Ив обернулся.

— Ба-ба-ба, кого я вижу. Ив Картье — в Марселе! Вот так удача!

Навстречу Картье, широко расставив руки и улыбаясь, шел Карл Дреггер. Можно было подумать, что в последний раз они расстались друзьями. Ив поморщился.

— А, это вы, Дреггер? Какого черта вы делаете в Марселе? Здесь нет ни одного посольства. Или ваш журнал решил сделать репортаж с пляжа nudистов?

— Ах, Картье, вы неисправимы. Почему вы так не любите наш журнал? Вы же знаете, что это серьезное политическое издание. Его читают даже в Вашингтоне.

— Только в том случае, когда им нужно убедиться, как низко пала Европа.

— Спорить с вами невозможно. Да я и не затем разыскивал вас...

— Уж не хотите ли вы мне предложить свои услуги?

— Вы чрезвычайно догадливы.

— Могу поинтересоваться, какими порывами руководствуется немецкий коллега?

— Корыстными, мой друг, корыстными.

— Это, по крайней мере, по-мужски, — заметил Картье, испытывая некоторое замешательство от откровенности Дреггера. — Однако корысть корысти — рознь, — осторожно заметил он.

— Моя корысть весьма материальна... Не угодно ли пройти в садик. Там нам никто не помешает, — сказал Дреггер, с неудовольствием взглянув на итальянца, который с невинным видом протирал за стойкой бокалы.

— Можно, — сказал Картье, поднимаясь с кресла. — Двойное виски, — сказал он на ходу официанту.

— Два пива, — в тон ему добавил Дреггер.

— Ну, — нетерпеливо спросил Картье, когда они уселись в плетеные кресла в тени легкого навеса. — Чего же вы от меня хотите?

Дреггер, однако, не торопился с ответом. Он неторопливо тянул пиво, потом достал помятый платок и долго вытирал шею. Все это время он не спускал глаз с лица Ива Картье.

— Я так понимаю, что дела ваши неважны, — наконец проговорил он.

— О чем это вы? — осведомился Ив.

— Не пытайтесь провести меня, Картье. Я старый газетный волк, меня много раз били, и я знаю цену словам. Разве это не вас допрашивала полиция? Разве не о вас столь пространно пишут газеты? И после этого вы делаете вид, что над вами только небо и солнце?

— Так это вы подбросили мне газету?

— Бросьте шутки, Картье, я занятой человек. Скажите-ка лучше: вы в самом деле прикончили беднягу Лебре?

— Вы с ума сошли!..

— Ну-ну, я так и думал. На вас это не похоже. И тем не менее неприятно... Такое паблисити! Интересно, что теперь думает о вас ваш главный редактор?

— Он не такой идиот, чтобы верить всему, что пишет «Курье де суар».

— Как сказать, мой друг. Капля точит камень...

Дреггер тяжело вздохнул.

— Все-таки вы напрасно не послушали меня в Париже. Все было бы много проще. Вам не кажется, что смерть бедняги Лебре все-таки связана с вашим приездом в Марсель? Даже если вы действительно чисты, к вам еще долго будут принюхиваться.

— Нюхать надо в другом месте, — зло сказал Картье.

— Где же это?

— Хотя бы на вилле господина Лагранжа.

— Вы так полагаете...

— А вы нет?

— В конечном счете, это дело полиции, — вздохнул немец. — Насколько я знаю, у Лагранжа прекрасные отношения с господином комиссаром.

— Мне он об этом не сообщил.

— А вот я имел возможность убедиться в этом лично, — небрежно обронил Дреггер и уставился своими сверлящими глазами на Картье.

Но тот и бровью не повел.

— У вас неплохая выдержка, Картье, — поощрительно заметил немец. — Вы могли бы быть очень ценным человеком, если бы не гонялись за фантомами... Я все-таки думаю, вас интересует то, что я сегодня имел возможность разговаривать с господином Лагранжем.

— Вы виделись с Робером Лагранжем? Хм, я так и думал. Так это он подослал вас?

— А вот в этом вы ошиблись... И знаете, почему? Потому что вы не умеете ценить истинных друзей. У вас плохие знакомства, Картье. За каким дьяволом вы связались, например, с этим мосье... как его... из советского посольства... Архипов?!

— Вас это не касается. У вас к советским патологическая ненависть. Архипов хороший парень и вовсе не из посольства. Он тянет ту же лямку, что и мы. Во всяком случае, он не делает мерзких предложений.

— Вы меня не так поняли. Я говорю, что вы не умеете различать людей. Возьмите Робера Лагранжа... Вы плетете для него удавку, а он между тем сегодня весьма лестно отзывался о ваших качествах газетчика. Вот господин комиссар — этот проще. Этот самого нелестного мнения о вас. Говорил, что вы грубы и невосдержанны на язык.

— А он хочет, чтобы я шаркал ножкой, когда мне грозят наручниками?

— Вы только навредили себе. Он теперь полон предубеждений. При мне он доказывал господину Лагранжу, что на вас лежат серьезные подозрения.

— Интересно, однако: комиссар докладывает гражданину Лагранжу...

— Я не вижу здесь никакого противоречия. Робер Лагранж — известный меценат и ежегодно выделяет крупные суммы на нужды города. Он вправе рассчитывать на некоторую признательность.

Картье, которому начала надоедать эта болтовня, сделал движение, чтобы подняться.

— У меня слишком много дел, чтобы выслушивать ваши комплименты в адрес местных благодетелей, — сказал он.

— Вы уходите?

— Да.

— Напрасно...

Дреггер помедлил и, выпустив клуб сигарного дыма, добавил:

— Не представляю, как вы попадете на виллу к Лагранжу...

От неожиданности Картье чуть не выронил стакан с виски. Он мог понять, что Дреггер знает о его досье, о поездке в Марсель, о встрече с Лебре, наконец. Все это можно было выследить, подслушать, узнать — на то он и третья газетная ищейка, этот Дреггер. Но как он узнал о его намерении пробраться на виллу? Это какая-то фантастика, гипноз, дьявольщина.

— С чего вы взяли, что я собрался на виллу к Лагранжу? — спросил Ив, прижимая к груди стакан с виски: ему казалось, что от волнения у него дрожат руки и лед в высоком стакане тихо позвякивает.

— Да сядьте вы наконец!

У Дреггера, видимо, лопнуло терпение, и он был почти резок:

— Взгляните на события трезво... Вы приехали в Марсель с единственной целью — встретиться с Лебре и получить от него нужные вам документы. Этого вы отрицать не станете. Я это знал еще в Париже. Секрет ваш не стоит и пфеннига.

— Допустим, — кивнул Картье.

— Лебре неожиданно исчезает. Не будем говорить о том, кто и как его убил. Но документов вы не получили...

— Вы в этом уверены? — сблефовал Картье.

— Совершенно, — спокойно заметил Дреггер.

— Доказательства?

— Примитивная логика. Я просто ставлю себя на ваше место — и все становится ясным как дважды два. Если бы вы получили документы от Лебре, вы не стали бы и минуты оставаться в городе, где в любой момент вас могут стукнуть по голове, отобрать драгоценное приобретение, обшарить в гостинице чемоданы. Марсель — это епархия Лагранжа. Здесь не делается ничего, что не стало бы ему известно. Что же делаете вы? Вы часами просиживаете в баре, купаетесь в море, гуляете, обедаете в ресторане и в одиннадцать часов ложитесь спать.

— Шпионили?

Дреггер иронически ухмыльнулся:

— У меня мало свободного времени, чтобы заниматься неквалифицированной работой. Мое дело — политика! Как вы не поймете! А шпионить, как вы изволили выразиться?.. Да в Марселе достаточно безработных, которые за сотню франков будут ходить за вами как тень. Я могу продолжать?

— Валяйте. Немцы, кажется, славились логикой...

Все, что говорил Дреггер, было правдой: и купание, и прогулки, и сидение в баре — все. Уже второй день Ив ходил по городу с одной мыслью: неужели проиграл? Неужели труды долгих месяцев — впустую?

— Вы в тупике, Картье. Вы не знаете что делать, — словно читая мысли Ива, шептал Дреггер. — И зная вас... — Он сделал долгую паузу. — Зная вас, я вижу только один ход...

— Какой? — хрипло спросил Картье.

— Как всегда: пойти на риск. Вы задумали проникнуть на виллу Лагранжа и отыскать, не знаю уж как, документы, которые не смог вам передать Лебре?

Картье долго молчал. Взгляд его был где-то далеко. Бокал с виски стоял на столе, в нем медленно таял лед. Воздух в маленьком садике был пропитан запахом хмеля, который взби-

рался по стене до самой крыши. Чувство одиночества и тоски вдруг сжало сердце Картье, и он невольно оглянулся на дверь, словно боясь, что его уже никогда не выпустят из этого маленького цветущего рая и что вечным хранителем к нему приставлен этот толстый, самодовольный немец.

Дреггер терпеливо ждал. Казалось, он понимал состояние Ива.

— Ваша история мне понравилась, Дреггер, — сказал Ив. — Не знаю только, чего в ней больше: фантазии или провокации. Впрочем, можете не отвечать. Скажите мне лучше вот что: за каким дьяволом вы шпионите за мной?

— Мне нужно то же самое, за чем охотитесь и вы, — спокойно сказал Дреггер.

— Что?!

— Да, да. Не удивляйтесь. Мне нужны те же самые документы, что и вам. Именно поэтому я и говорил с вами в Париже, по этой же причине я нахожусь сейчас здесь, в Марселе, хотя, как вы можете представить, в Париже немало дел.

— Зачем они вам?

Картье впервые с интересом посмотрел на Дреггера. «Все-таки за этой свинячей физиономией что-то есть», — подумал он.

— Я вам отвечу. Отвечу потому, что хочу, чтобы вы мне поверили. А я, чем смогу, постараюсь помочь вам. Вам подходит такой вариант?

— Говорите.

— Лица, от имени которых я выступаю...

Картье сделал удивленные глаза, но Дреггер остановил его движением руки.

— ...от имени которых я выступаю, менее всего озабочены личной судьбой господина Лагранжа. Им чужда как мелкая газетная суета, так и счета, которые один обиженный журналист пытается свести с другими. Их интересы лежат в более высокой сфере. Их волнует судьба завтрашней Европы.

— Итак, вы занимаетесь политической разведкой? — спросил Картье.

— Ваше право развешивать ярлыки. Это ничего не изменит. Я полагаю, вы представляете себе ту роль, которую играет и будет играть пресса в формировании идей, которые лягут в основу будущего здания великой Европы.

— Великой?

— Да, да, Картье, я не оговорился. Великой Европы — потому, что до тех пор, пока в Европе существуют границы, парламенты, партии, мы не избавимся от болезней, которые подтачивают наш организм. Мы уже имели опыт Португалии, у нас

перед глазами Италия, которая может отвалиться к красным. Кто дальше? Испания? Франция? Пора, наконец, покончить с игрой в национальное достоинство, самобытность. Предоставим это право африканцам — пусть они кромсают свой континент и строят пограничные законы: нам легче будет с ними говорить. Но нам, белым, нам нужна великая, объединенная Европа, и тогда мы сможем на равных разговаривать со всем миром.

— Кому это — нам? — спросил Картье.

Он слышал много разговоров о единой Европе. Европейское сообщество, Европейское содружество, Европа наций, Соединенные Штаты Европы — все это было знакомо. Волна европейских чувств вздымалась в прессе с поразительной регулярностью, но такого циничного и откровенного обоснования Картье еще не слышал.

— Нам — это людям, которые смотрят на несколько десятилетий вперед.

— И много их, таких людей?

— Количество не играет никакой роли. Важно качество. И это качество определяется двумя факторами: капиталом, который держит в своих руках человек, и влиянием, которое он может оказывать на массы.

— И обоими этими качествами обладает господин Лагранж, если я правильно понял? — спросил Картье.

— Наконец-то слышу речь не мальчика, но мужа, — с улыбкой проговорил Дреггер.

— За чем же дело стало: берите его — он ваш. Я ни минуты не сомневаюсь, что он с готовностью подпишет под всей той белибердой, что вы тут нагородили.

— О, в этом мы не сомневаемся. Такие люди, как Лагранж, пользуются самым пристальным вниманием с нашей стороны. Мы окружаем их заботой, вниманием, можно сказать, растим их...

— Почему же тогда вы ищете документы, компрометирующие Лагранжа?

— Видите ли, Картье, существует определенная закономерность. Сейчас это модно называть внутренней эволюцией систем. Всякая система — живой ли организм, или социальная структура — по мере развития приобретает тенденцию к самостоятельному существованию. То же самое касается и экономических организмов, а проще говоря, фирм, концернов. Как только они достигают определенного уровня финансовой самостоятельности, они стремятся оторваться от пуповины, через которую питались. Вы спрашиваете: о чем мы заботимся? Так вот: мы заботимся о том, чтобы подобной нежелательной эволюции не произошло.

Для этого нам нужны рычаги контроля, средства воздействия. А лучшего средства, чем страх, придумать пока не удалось никому.

— Но при чем здесь я?

— Вы? Вы можете помочь мне получить те самые рычаги контроля.

— Вы говорите так, будто мы уже заключили соглашение о союзе.

— А вы и есть наш союзник. Временный, разумеется. Когда мы увидели, что вы поднимаете руку на империю Лагранжа, мы поняли, что вы наш враг, и сделали все возможное, чтобы помешать вам. И будьте уверены, что мы смогли бы, если потребовалось, вас обезвредить... Вас не шокирует, что я говорю так откровенно? — с иронией спросил Дреггер.

— Напротив, это доставляет мне наслаждение, — откликнулся Картье.

Его все больше и больше интересовал этот человек. Это был совсем не тот Дреггер, которого он знал по Парижу: заискивающий, готовый на услуги, хитроватый и вместе с тем трусливый. Человек, который сидел перед ним теперь, был уверен в своей силе и правоте. Он не заискивал — он диктовал, он не хитрил — а говорил грубую и голую правду, которую могут позволить себе говорить только очень сильные и очень богатые люди.

— Мы знаем о вас все, — продолжал Дреггер, откидываясь на спинку стула. — Даже то, что, приехав в Марсель, вы позвонили вашему приятелю из местной газеты и тот, связавшись с господином Лебре, условился с ним о свидании с вами. Встреча, если мне не изменяет память, состоялась в ресторане «У Жозефа», в старом порту? Вы провели вместе с Лебре час пятнадцать минут, съели по порции пиццы и выпили бутылку итальянского вина. Я не ошибаюсь?

— Нет, — вымолвил ошарашенный Картье.

— Однако документы он вам не отдал... видимо, боялся слежки...

— Откуда вам все это известно?

— Вы помните, где вы сидели с Лебре?

— Да. За столиком на улице.

— Кажется, возле окна?

— Точно.

— У этого же окна, только со стороны ресторана, сидел человек и слышал весь ваш разговор. Последствия вам известны. Труп бедняги Лебре был обнаружен в одной из подворотен Старого порта.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — стряхивая с себя оцепенение, спросил Картье.

— А что такое? Я что-то сказал не то?

— Из ваших слов следует, что Лебре убили по приказу Робера Лагранжа!

— С чего вы это взяли? Вы неправы, мой друг, очень неправы. Я вам рассказал кое-какие факты, но из моих слов вовсе не следует тот вывод, с которым вы так поторопились.

— Если то, что вы рассказали, сообщить полиции — она сумеет сделать вывод.

— А кто, извините, будет передавать эту историю полиции? Я? Увольте! Вы? — Дреггер почти смеялся в лицо Картье. — Да кто вам поверит? Не забывайте, что с вас взяли подписку о невыезде, следовательно, вы одно из подозреваемых лиц. Разумеется, может быть еще одна версия — убийство с целью ограбления. В Старом порту это бывает. Кстати, сам господин Лагранж придерживается именно этой точки зрения?

— Почему же тогда его газеты делают намеки в мой адрес?

— У газеты может быть свое мнение, отличное от мнения господина Лагранжа. Вы забыли о свободе прессы, мой друг, — с улыбкой заметил Дреггер.

— К чему вся эта грязная кампания, если Лагранж знает, что у меня нет документов? — спросил Картье. — Чего он хочет?

— Он хочет видеться с вами.

— Видеться со мной? — Картье не мог скрыть удивления. Он мог ожидать чего угодно, но только не этого. — Зачем?!

— Затем, чтобы убедить вас вернуть ему украденные документы.

— Но это какая-то чепуха! Вы сами говорите, что у меня нет документов.

— Я знаю. Но я не говорил, что об этом знает Робер Лагранж.

— Но... тот человек за окном... в ресторане «У Жозефа»? Это был человек Лагранжа?

— Это был я.

— Вы? И вы можете спокойно обо всем этом говорить? Вы, кто подставил под нож этого беднягу Лебре?

Казалось, еще мгновение — и Картье бросится на немца. Его кулаки сжались, и на шее вздулась большая темная вена. Впервые за время разговора в глазах Дреггера промелькнул испуг.

— Вы бы предпочли, чтобы на месте Лебре оказался человек по имени Ив Картье? — поспешно спросил он. — Хороша благодарность...

Дреггер не сводил глаз с Картье. Он увидел, как его кулаки разжались, пальцы сцепились и разошлись снова. Картье взял со стола стакан с виски.

— Кстати, я считаю, что Лебре погубили вы, — сказал Дреггер. — Это вы втянули его в историю, вы...

— Неправда, — глухо отозвался Картье. — Он сам позвонил мне в Париж и предложил услуги.

Оба журналиста долго молчали, тяжело дыша, словно после раунда бокса. Молчание нарушил Картье:

— Вы полагаете, что Лагранж считает, что документы находятся у меня?

— Не полагаю, а знаю. Это я ему сказал, что видел, как Лебре передал вам пакет.

— Почему же тогда прикончили Лебре, а не меня?

— С Лебре все обстоит просто. Он предал Лагранжа. С вами сложнее. Вы — известный журналист, ваше исчезновение, безусловно, привлекло бы внимание. Левые не преминули бы потребовать расследования. Все это могло создать вокруг имени Робера Лагранжа ненужный шум. Не забывайте, что мы находимся в преддверии выборов, а господин Лагранж выставляет свою кандидатуру. Словом, он предпочитает уладить конфликт полюбовно и просил меня об услуге: пригласить вас сегодня к нему на обед.

* * *

Если красота, как утверждает Кант, есть признак высокой морали, то самые чистые и добродетельные люди — это те, у кого есть деньги. Им принадлежат самые красивые женщины, у них милые и воспитанные дети, их лица если немного и надменны, то неизменно несут на себе отпечаток силы и благородства. Манеры этих людей просты, а костюмы безукоризненны; говорить с ними одно удовольствие, потому что, если им понадобится вдруг сказать гадость, они сделают это не сами, а устами своего дворецкого, своего секретаря, а если таковых под рукой не случится — то своего шофера.

Но наиболее привлекательное в этих «милых и красивых» людях — это, конечно, их дом, вилла или даже дворец.

Вилла г-на Лагранжа была поставлена с таким расчетом, чтобы были видны и прибрежные терракотовые скалы, и само море, врезавшееся в материк рваным языком, и дальний порт с белыми бликами пароходов, и песчаный пляж.

Лагранж встретил гостей в саду, и через десять минут все трое — господин Лагранж, господин Дреггер и господин Картье — сидели в легчайших тростниковых креслах возле стола, на котором вокруг летнего букета по всем правилам голландского натюрморта были размещены фрукты, светлые вина в ведерках со льдом, спаржа под белым желейным соусом, засахаренное фруктовое ассорти в высокой хрустальной вазе с ножками в виде змей (из чего Картье заключил, что ожидается приход дамы) и, наконец, великолепный, безусловно флорентийской работы, сосуд, о содержимом которого можно было только гадать. Но когда официант царским движением руки заставил вспорхнуть крышку, все, конечно же, стало ясным — в неглубоком серебряном озерце, заполненном рубленым льдом, стили устрицы, такие нежные, что их можно было сравнить только с трепетом первого поцелуя.

Насчет прихода дамы Картье не ошибся. Едва успели выпить шампанского, как на дорожке появилась молодая женщина в кружевном платье, с маленьким, тоже кружевным, зонтиком от солнца.

«Боже мой, неужели такое бывает?» — подумал Картье. Ему казалось, что женщины с изысканным овалом лица, с загадочными тенями у глаз, с такой белизной кожи существовали лишь в воображении Скотта Фицджеральда.

— Каті, позволь тебе представить нашего гостя господина Картье... — сказал, поднимаясь, Лагранж.

Женщина протянула руку в перчатке.

— Я много о вас слышала, господин Картье. Надеюсь, муж зазвал вас не для того, чтобы говорить о политике. Я так устаю от этого в Париже. Это совершенно испорченный город. Раньше люди умели делать политику и сохранять красоту. Наполеон был прекрасным политиком, но у него был и вкус к романтизму. Вы не находите?

Это было приглашение к одному из тех легких разговоров, без которого в обществе воспитанных и имеющих время людей не начинается ни одна, даже самая серьезная беседа.

Поэтому слова молодой жены Лагранжа об императоре Наполеоне и о приверженности его к красоте были оценены присутствующими самым высоким баллом — как верная и безошибочно взятая нота. Им оставалось только отыграть свою партию в изысканном квартете и со спокойной совестью зашвырнуть партитуру в угол.

Дреггер сказал:

— Мы потому не умеем веселиться и быть, в конечном счете, счастливыми, что потеряли ясное представление о соотношении красоты и уродства.

И хотя то, что сказал Дреггер, не имело ни малейшего отношения к тому, о чем говорила Кати Лагранж, все сочли эту фразу весьма подходящей и одобрили понимающей улыбкой.

Картье подумал, что было бы самое время сказать какую-нибудь гадость и разом разрушить словесный уют, но вместо этого он сделал свирепое лицо и понес такую возвышенную чепуху, что, услышь ее от кого другого, он бежал бы прочь со скоростью африканской антилопы гну. Чепуха, сказанная им, однако, произвела сильное впечатление как на мужчин, так и на даму.

Говорил же Картье о том, что понятия красивого и безобразного неразделимы, так же как неразделимы добро и зло, и что когда на земле будет уничтожено все зло — вот тогда-то и наступит настоящий ад, ибо никто уже не будет знать, как же отличить добро от зла.

— Вы большой негодник, — смеясь, заметила Кати и несколько раз взмахнула в воздухе белыми ладошками. Эти взмахи означали аплодисменты. — Как жаль, что мы с вами не были знакомы. Робер, почему ты скрывал от меня господина Картье? Он разве не в твоей газете?

— К сожалению, нет, дорогая, — ответил Лагранж, улыбкой показывая, что он понимает и просит простить слабость своей жены. — Но все это исправимо... Я не раз говорил Дреггеру, что чрезвычайно ценю талант господина Картье и не считаю нужным скрывать это и теперь... Впрочем, — добавил он, заметив перемену в лице Картье, — мы обсудим это позднее, а сейчас — не угодно ли устриц? Это — чудо!

Все принялись за устриц, и разговор совершенно потерялся в гастрономических эфирах.

* * *

Досужий человек, наблюдавший за ними со стороны, мог бы подумать: вот счастливцы, сумевшие подняться над мелочностью жизни, понявшие наконец, что истинное назначение человека не в суете, не в поиске радости и не в удовлетворении тщеславных желаний, а в том, чтобы, как боги и философы, судить собственный мир и, творя этот суд, владеть им.

Двое мужчин спокойно прогуливались по дорожке, выходящей между каменистыми альпийскими горками и гротами, и говорили о том, о чем любят говорить после вкусной и приятной закусочки мужчины всех без исключения рас, стран и религий. Они говорили о политике.

Но день был слишком хорош, внизу среди скал плескалось море, у линии горизонта скользил парус белоснежной яхты; удивительно ли, что, подходя к невысокому ограждению из пористого ракушечника, за которым уже синели море и небо, мужчины подолгу стояли у края, завороченные блеском воды, перьями облаков, полетом чаек, и разговор их путался, касался явлений и вещей, весьма далеких от политики.

— Мы слишком много внимания уделяем себе и потому не замечаем того, чему учит нас природа, — говорил один из них. — Возьмите эти скромные, едва приметные цветы. Где им тягаться с розами: в них нет ни яркости, ни запаха; и все же это одно из самых мудрых и сильных растений.

Мужчины остановились возле груды камней, в трещинах которых кустились невысокие цветы с неказистыми белыми головками.

— Попробуйте выдернуть этот пучок, — сказал тот, кто, судя по всему был знатоком и любителем цветов. — Попробуйте...

Другой мужчина с явным неудовольствием взялся за пучок и потянул. Цветы не поддавались.

— Сильней! — подсказал первый.

Второй потянул, но и теперь ему не удалось выдернуть растение. Это его рассердило, и он дернул что было сил.

Камень, в который вцепился цветок, рассыпался, как пережженный кирпич, обломки посыпались к ногам. Любитель цветов, довольный, засмеялся:

— Вот видите. Куда прихотливым красавицам розам! Какая разрушительная сила в этом маленьком цветке!..

Он взял у собеседника пучок и стал нежно перебирать тонкие узловатые корни, еще державшие осколки камней.

— ...Вот у кого надо учиться! Разрыв-трава — мудрейшее из растений. Это только люди по глупости поднимают барабанный бой и дуют в фанфары по малейшему поводу. Большую работу надо делать тихо и неприметно, как неприметно убивает камни разрыв-трава. Величие действий определяется не шумом, который человек поднимает вокруг себя, а конечным результатом.

— Это не совсем согласуется с тем, о чем пишут ваши газеты, — заметил собеседник.

— К нашему разговору, господин Картье, мои газеты не име-

ют никакого отношения. Мы с вами говорим о взгляде на жизнь умных людей: газеты же, как вы понимаете, делаются для обывателя. То, о чем они пишут, не имеет никакого значения. Достаточно того, что они проводят общую линию, которой придерживаемся я и мои друзья. Частности нас не интересуют. Если вы завтра напишете блестящий репортаж, ниспровергающий самые высокие авторитеты, даю слово, я его опубликую, потому что знаю: ничто так не привлекает читателя к газете, как ниспровержение столпов общества. Но наши политики еще мыслят категориями двухсотлетней давности. Их больше занимают атрибуты власти, чем сама власть. Депутатские мандаты или место сенатора — все это детские игрушки. Настоящая власть принадлежит тем, кто обладает средствами формировать мнение страны. Вот почему, господин Картье, мы с легкостью простили бы вам, вздумай вы собирать досье на любого из наших уважаемых министров, и вот почему я предупреждаю еще: вы будете раздавлены, если не оставите попыток поднять голос против нашей прессы. Пресса, господин Картье, это не атрибут власти, это ее инструмент...

Лагранж ненадолго замолчал и потом заговорил снова:

— Я позволил себе потратить так много времени из столь редкого у меня досуга потому, что ценю ваш талант. То, что вы там написали в своей газете несколько добрых слов о Советском Союзе, — это пустяки. Все это, как вы понимаете, фронтдерство в установленных пределах, фига в кармане. Я хочу вам предложить другое, то, что вынесет ваше имя на первые полосы газет. Вы, кажется, именно об этом мечтали?

— Похоже, вы собираетесь меня купить?

— Нет, господин Картье. Мы хотим предложить вам большее...

Собеседники уже сделали несколько кругов по саду и вновь подошли к вилле Лагранжа.

Над открытой террасой теперь был натянут полосатый тент, и вокруг вынесенного стола, покрытого белоснежной скатертью, суетились официанты. Слышалось позвякивание раскладываемых приборов, звон хрусталя. «Похоже, они собираются устроить банкет», — подумал Картье и вопросительно посмотрел на Лагранжа.

— ...Мы хотим предложить вам войти в тот узкий круг избранных, быть членом которого сочли бы за честь люди куда более богатые, чем вы. Нам нужно ваше перо, господин Картье, ваш престиж честного и глубокого журналиста — вот почему я сегодня так откровенен с вами. Впрочем... — Лагранж сделал небольшую паузу и многозначительно посмотрел на журналис-

та, — если вам придет в голову мысль поделиться с кем-нибудь тем, что вы услышали, вас попросту сочтут за сумасшедшего.

— Вы умело владеете, господин Лагранж, как пряником, так и кнутом, — с усмешкой заметил Картье.

— Это единственно эффективный способ разговаривать с людьми, — рассмеялся Лагранж, — даже со столь умными, как вы. Ну? Что вы скажете? В ответ на ваши колкости мы, можно сказать, просим вашу руку. Такое не часто случается.

— Вы забыли мне сказать, зачем вам понадобилась моя рука.

— Поистине вы несговорчивый человек, Картье. Впрочем... это прибавляет вам цену. Люди, с которыми вам придется работать, будут, по крайней мере, уверены, что вы не продадите. Теперь относительно характера ваших услуг...

Лагранж на некоторое время замолк, словно раздумывая, стоит или не стоит посвящать Картье в свои планы. На его лице уже не было улыбки.

Тон, которым он заговорил, свидетельствовал о том, что он придает сказанному большое значение:

— Вы, конечно, знаете закон сорок четвертого года о прессе...

— Я кое-что об этом писал, — заметил Картье.

— ...и понимаете, как закон мешает нам.

— Не совсем...

— Чего же вы не понимаете?

— Я не понимаю, чем вам мешает закон, если, несмотря на его существование, вы владеете десятком газет, тогда как по закону в частных руках может быть не более одной.

— Ах вот вы о чем... Попробую объяснить. Дело в том, что в случае успеха левых сил на выборах может возникнуть вопрос о применении закона от сорок четвертого года. То, что мы собирали и строили в течение всех послевоенных лет, может быть разбито одним ударом. Коммунисты прекрасно понимают роль, которую играет пресса в современном обществе, и при первом же случае постараются разнести мою, как они выражаются, империю на куски. Закон сорок четвертого года дает им слишком большой шанс. Это ненужное искушение.

— Вы хотите, чтобы в угоду вам отменили закон?

— Я бы очень хотел, Картье, но мы живем во Франции. Признайтесь, что в стране, где полмиллиона коммунистов, это не очень-то легко. Можете себе представить, какой они поднимут шум, если я стану добиваться отмены закона.

— И вы надеетесь, что шум будет меньше, если попробовать провести поправку к закону? — спросил журналист.

— Вы умница, Картье! Вы хватаете на лету! Вот почему мы так долго с вами возимся. Именно поправка! Шум, конечно, будет. Но внесение поправки, как вы знаете, широкому обсуждению не подлежит. Если умело подготовить общественное мнение, можно будет отделаться маленьким скандалом. А это мы переживем. Вот чем я предлагаю вам заняться. Поезжайте в Западную Германию, познакомьтесь с механизмом прессы Шпрингера. У них в этой области есть опыт. Сделайте серию блестящих репортажей, интервью. Докажите на примере крупнейших немецких, американских, английских газет, что качество информации, оперативность, присутствие газеты во всех уголках мира под силу только мощному газетному объединению. Время, когда газету делали ноги репортера, прошло. Газету делают деньги, и только деньги. Если вы добьетесь успеха, Картье, — вас ожидает блестящее будущее. Перед вами будут заискивать журналисты и политики. У вас будет возможность возглавить редакцию. И для этого надо только сказать «да».

— И предать истину?

— Не говорите ерунды, Картье, — раздраженно заметил Лагранж. — Что есть истина? Оставьте этот вопрос на совести Понтия Пилата. Истина — пустое слово, это одинокий путник, заблудившийся в пустыне. Все беды и несчастья мира проистекают оттого, что люди верят в существование разных истин. Вот почему я ненавижу пророков и искателей истины. Они социально опасны!

Лагранж замолчал, и в наступившей тишине было слышно, как внизу, невидимое, шумит море. Едва заметный с утра ветерок стал крепче, и волны разбивались о скалы с глухим рокотом.

Лагранж ждал ответа. Картье молчал.

Последние годы жизни поспешной чередой, словно тени умерших в Дантовом «Аду», пронеслись перед ним. Его споры с редактором и безуспешные попытки протолкнуть статьи о возрождении фашизма в Европе, тщеславная мечта о репортаже, который заставил бы звучать его имя со страниц всех газет, поиск материалов об империи Лагранжа, стоивший ему стольких сил, и, наконец, последняя схватка с самим Робером Лагранжем. Что все это дало ему? У него нет ни славы, ни денег. Его карьера на грани краха, потому что ярлык «Красное перо» да еще подозрение в убийстве не так-то легко смыть. Что у него осталось? Жизнь? Но и ее могут отнять в любую минуту. Да и зачем она ему, жизнь? Чтобы все начать сначала? Поздно. Согласиться? Тогда у него будут деньги, слава, газеты раскроют перед ним свои полосы, и он будет, будет... как Карл Дреггер,

продажной и послушной сволочью в руках людей, возомнивших себя хозяевами будущего.

— Что же вы молчите, господин Картье? — услышал он рядом голос.

Ив с удивлением обернулся и увидел на фоне белого солнца черный контур Лагранжа. Ему стоило больших усилий, чтобы вспомнить, о чем они говорили.

— Так, по вашему мнению, причиной всех несчастий являются те, кто пытается понять и защитить правду? — спросил Картье и не узнал своего голоса. Он совершенно охрип. — Вы мечтаете о том, чтобы создать великую империю прессы, которая служила бы вам удавкой для мысли людей. Вы хотите создать новую расу интеллектуальных рабов, неспособных отличать добро от зла, правду от лжи. Вы пытаетесь убедить меня, что истины не существует, а сами стремитесь присвоить себе право быть ее единственным толкователем.

Картье замолчал и с удивлением, как на какое-то чудо, смотрел на обступившие его кусты роз, на белые акации, раскинувшие ветви шатром на потускневшее в дымке море...

Могло показаться, что все, что он слышал, — лишь страшный сон, кошмар, а реальность — это море, небо, зеленые горы. Надо только убедиться, что все это так, что нет ни Лагранжа, ни виллы, ни дамы из романа Фицджеральда.

— У вас странный вид, Картье, — услышал он, будто издалека, голос Лагранжа. — Словно вы что-то потеряли. Вы говорили кучу злых и несправедливых слов, но я вижу по вашим глазам, что вы думаете совсем о другом. И я вас очень понимаю. Вы, должно быть, считаете меня монстром, которому доставляет удовольствие наслаждаться видом страданий и крови. Скажу вам просто: вы заблуждаетесь. И уж коль скоро вы были со мной столь откровенны, я буду с вами также прям... Вы напрасно пытаетесь обвинить меня в фашизме. Я придерживаюсь иной концепции в политике, отличной от доктрины силы и оружия. Вы сами выбрали это выражение: «информационный намордник». Это грубо для широкой публики, но в них, в этих словах, заключено, может быть, спасение мира от грядущих несчастий. Вас сердит, что мы хотим отнять у людей их любимую игрушку — этот пресловутый поиск истины. А вы знаете, к чему он приводит, этот поиск? Вы видели, чтобы одна истина спокойно дала себя поглотить другой. Я в это не верю, да и вы не верите. При нынешнем положении вещей, Картье, столкновение истин неизбежно. И что тогда? Новый Вьетнам, Корея, Ольстер, Конго, Ливан? Человечество устало от крови. Физическое насилие, по крайней мере в Европе, доживает послед-

ние годы. Новый мир и порядок будут покоиться на иных методах воздействия. Мы создадим всеобъемлющие системы политического и морального воспитания, которые будут следить за всем, что думает, знает и чувствует человек с первых шагов своей жизни до последнего вздоха. Это будет прекрасный мир, где не будет ни войн, ни угрызений совести, не будет ни недовольных, ни протестующих...

— Где будут только огромные массы глухих и слепых рабов, которыми будете повелевать вы? — остановил Лагранжа Картье. — И вы думаете, что все эти люди, которых вы собираетесь загнать в ваш комфортабельный концлагерь, что эти люди согласятся со всем тем, что вы им готовите? Да, я согласен: люди еще несовершеннолетние. Но эти люди знают цену жизни, свободы, мысли — они будут бороться! Нет, господин Лагранж, вы действуете не из благих побуждений, а из страха перед теми самыми людьми, которым собираетесь надеть газетный намордник. Вы говорите о своем могуществе. Но это могущество — фикция. Это краденая сила. Что, кроме денег, стоит за вашей спиной?

Картье обернулся, чтобы взглянуть на своего собеседника, и не узнал его. Лицо Лагранжа было красным. Иву показалось, что Лагранж не сдержится и бросится на него с кулаками. Газетный король молчал, с ненавистью глядя на Картье. Но через минуту лицо его было таким же спокойным, как и в момент встречи, и только легкое подрагивание века напоминало о том, что этот человек только что пережил приступ бешеной злобы.

— Я вижу, мы оба увлеклись, — сухо проговорил Лагранж и улыбнулся, как это умеют делать французы, одними губами. — Продолжим разговор позднее.

* * *

На террасе их ждало небольшое общество. Слышался смех женщин, низкий гул мужских голосов. Когда Картье с Лагранжем вошли, все присутствующие, кроме дам, поднялись. На их лицах еще можно было уловить следы не успевших увянуть улыбок — разговор, судя по всему, был веселым и непринужденным.

Двое из приглашенных были знакомы Картье — это были Карл Дреггер и, что неприятно поразило Картье, комиссар полиции, с которым он имел возможность познакомиться во вре-

мя следствия по делу Лебре. Из других гостей его внимание привлек низенький, почти карликового роста, человек с очень высоким белым лбом и неподвижными глазами. Его представили Картье как доктора Хельма, домашнего врача семьи Лагранж.

«Похоже, тоже немец», — подумал Картье. Рукопожатие его удлиненной, с костлявыми пальцами руки было холодным.

Проговорив какую-то любезность, доктор тотчас отошел в конец террасы, но Картье казалось, что он издалека продолжает ощупывать его своим тяжелым, пронизывающим взглядом.

Сзади кто-то тронул Картье за рукав. Это был Дреггер.

— Ну что, старина? Все уладилось? Долго же тебя пришлось уламывать. Не знаю, о чем вы там говорили, но поздравляю, от души поздравляю. Это совсем неплохо, что ты заставил Лагранжа повозиться с тобой. Больше будет ценить!

— С чего ты взялся меня поздравлять? Купля-продажа еще не состоялась.

— Так ты еще сопротивляешься? Ну, скажу тебе! Надо быть смелым человеком... Хвалю, хвалю и преклоняюсь. Что он тебе предложил?

Фамильярность Дреггера больно резанула самолюбие Картье. «Он уже считает меня своим, такой же продажной шлюхой, как сам», — подумал Картье. Первым его движением было сказать что-нибудь резкое и поставить все на свои места, но что-то удержало его — карлик с неподвижными глазами не выходил у него из головы.

«Кажется, я и так наговорил много лишнего Лагранжу, — подумал он. — Как бы они не учинили со мной какой-нибудь злой шутки. К чему пригласили комиссара полиции? Не для того же, чтобы подобострастно жать мне руку». Впредь Картье решил быть осторожнее. С Дреггером он счел за лучшее принять шутливый тон.

— Господин Лагранж нарисовал мне вдохновенную картину будущего, — ответил Картье.

— И он сказал вам, в каком углу картины будет красоваться ваш портрет?

— Я получил кое-какие намеки, обещающие безбедную старость. Не исключено, Дреггер, что мне придется звать вас к себе на работу. Возможно, мне потребуются газетные волки с политическим чутьем.

— Я так и знал, Ив, — принимая все более фамильярный тон, проговорил Дреггер, — я так и знал, что он предложит тебе место редактора в одной из своих газет. Только не проде-

шеви! Услуги, что он рассчитывает получить от тебя, стоят дороже.

Стол, за который пригласили гостей, был роскошен. В центре на огромном блюде — красавец лангуст с красными полированными клешнями и розоватым мясом. За спинами гостей неслышно скользили официанты. Белое вино сменилось красным: после рыбы подали мясо, и Картье, несмотря на нервное возбуждение этого дня, было приятно почувствовать во рту тяжеловатый вкус старого бордо. Разговор, который он полчаса назад вел в саду с Лагранжем и который так взволновал его, теперь представлялся несущественным, преходящим, а сам хозяин, сидевший напротив него и с явным удовольствием отправляющий в рот куски красноватого ростбифа, вовсе не был похожим на чудовище, каким он предстал ему совсем недавно.

По-прежнему неприятен был почему-то доктор, которого посадили, как не имеющего дамы, с торца стола и который оттуда продолжал неотступно наблюдать за ним. Ел доктор много, и было непонятно, как он ухитряется разместить в своем неразвитом и деформированном теле такое обилие пищи. Он не пропустил мимо себя ни одного официанта, что-то ворчливо требовал от них.

Разговор за столом шел чрезвычайно легкий, именно тот разговор, который более всего содействует усвоению белков и углеводов. Говорили главным образом об искусстве. Собственно, говорил более других молодой человек с шелковым шарфом вокруг шеи, судя по всему художник. Молодой человек досадовал по поводу заката абстрактного искусства на Западе и второго пришествия реализма. Ему никто не возражал, как бы признавая его право судить о вещах, в которых он, очевидно, знал толк. Женщины его поддерживали, и только господин Лагранж, к удивлению Картье и неудовольствию своей жены, довольно бесцеремонно прервал молодого человека, сказав весьма не деликатно, что все, что говорилось здесь об абстрактной живописи, — сплошная чушь и что, будь его воля, он давно бы выгнал «этих мазил» из выставочных залов.

— Ни одно направление в живописи, — сказал он, — не принесло европейской цивилизации столько вреда, как абстракционизм. Головоотяпы из секретариата культуры совершенно не представляют, какой вред абстрактное искусство нанесло нашим идеям в Европе. Американцев я понимаю: там абстрактная живопись преследовала вполне определенную политическую цель — янки всегда лишь повторяли зады европейских школ, и им было чрезвычайно выгодно поднять на щит абст-

ракционизм и ассоциировать его с Америкой. Американская публика, насколько я ее знаю, совершенно не приспособлена к восприятию искусства. Они и абстракционизм восприняли как товар. В результате довольными оказались и художники, и торговцы картинами, и обыватели. Французы же все восприняли всерьез, стали ломать себе голову над сущностью абстрактного и конкретного, молодежь повалила на выставки, начались дискуссии, которые, как и водится у нас, кончились чистой политикой, дракой и поливанием друг друга грязью. Вы мне здесь твердите, что абстракционизм есть высшая форма художественного мышления, а я вам скажу, что для народа нет ничего вреднее этих новых форм. Они заставляют шевелить мозгами и приучают мыслить новыми категориями. А это вредно. Если бы не было абстрактного мышления, мы были бы избавлены и от Гегелей, и от Марксов. Нравится вам абстрактная мазня — запритесь с ней в мастерской, но не трясите вы абстракциями перед народом: он и так слишком стал вникать в суть сложного.

Закончив таким решительным образом обед, Лагранж предложил мужчинам пройти в кабинет и там, за кофе и сигарами, продолжить беседу. Дамы снова вышли в сад в сопровождении молодых людей, которые сочли приглашение хозяина необязательным.

Кабинет оказался довольно мрачной комнатой с шкафами из темного дуба и столь же темным резным потолком. Сам хозяин и доктор Хельм почему-то отсутствовали, и до их прихода никто не вымолвил ни слова. Всех тяготило затянувшееся молчание.

Принесли кофе, сигары, коньяк и разговор мало-помалу ожил. Говорили вполголоса о погоде, об окончании летнего сезона, о недавнем ограблении местного казино. К Картье никто не подходил и никто к нему не обращался.

Появился Лагранж. Вид у него был озабоченный, словно он узнал неприятную новость.

— Господа! — сказал он решительно. — Мы собрались здесь для того, чтобы закончить одно затянувшееся дело. Видит бог, я сделал все, чтобы решить его полюбовно. Но мой призыв не был услышан. Только что мне позвонили из Парижа: мои друзья сообщают, что некто Архипов — русский журналист — проявляет подозрительный интерес к моему прошлому и делам моей издательской фирмы. Но это еще полбеды. К сожалению, и среди французов нашлись люди, не лояльные к отечеству. Этот русский никогда бы не смог зайти так далеко в своих розысках, если бы ему не помогли. У меня есть все ос-

нования предполагать, что один из предателей находится среди нас...

Наступила небольшая пауза, и Картье увидел, как все присутствующие повернулись и смотрели теперь на него.

— Да, господа, вы не ошибаетесь. Это — Картье, человек, которого я еще сегодня утром пытался спасти от последнего ложного шага. Но вместо благодарности господин Картье обвинил меня в том, что я фашист и хочу покрыть Францию сетью концентрационных лагерей. Я, как вы можете себе представить, был удивлен подобным заявлением. Не знаю, что меня удержало от того, чтобы немедленно не выбросить господина Картье из моего дома и передать дело в суд за клевету и оскорбление личности. Теперь я рад, что сдержал себя. Все дело сложнее и трагичнее. Только что доктор Хельм сообщил мне, что заметил у господина Картье явные признаки душевного расстройства. Разумеется, это в корне меняет положение вещей. Поведение господина Картье мне теперь вполне понятно, и я готов простить ему все его резкости. Разумеется, даже такой специалист в области психических заболеваний, как доктор Хельм, не может со всей точностью поставить диагноз без тщательного обследования. Для этого, очевидно, потребуются специальные условия...

Все это было сказано самым спокойным голосом, но Картье почувствовал, как у него вспотели ладони и в ногах появилась предательская дрожь.

Ему приходилось бывать во многих переделках, он привык себя считать смелым человеком, но сейчас его охватил страх. Понял, что его загнали в угол и что помощи ждать неоткуда.

Он мельком взглянул на Дреггера: во взгляде немца сквозили откровенная насмешка и презрение. Картье был беззащитен. Представилось, как костистые пальцы доктора Хельма ощупывают его нагое, беспомощное тело. Неужели проиграл?

Неужели все начинать сначала? Снова по крохам собирать факты, чтобы потом натолкнуться на такую же стену? Или плюнуть на все и, как сотни других репортеров, бегать по полицейским комиссариатам в поисках двадцати строк для газеты?

Что останется тогда от него, от журналиста Ива Картье? Действие всегда было основой его бытия, его опорой, пружиной, которая двигала его жизнь. С годами оно стало его религией, без которой он уже не мог ощущать себя человеком.

Теперь Картье словно попал в пустоту — мог двигать руками, ногами, повторять привычные движения, но все эти движения были бессмысленны, словно их совершал не он, а механическая кукла, которой для забавы, как в детской игре, дали человеческое имя и платье.

Картье огляделся вокруг, и люди, окружившие его, показались ему похожими на восковые фигуры из музея Гревен на бульваре Монмартр.

— Что же вы стоите, господа? — крикнул он. — Разве вы не поняли приказа? Валяйте! Дреггер! Кажется, вам хотелось стать моим другом? Вам по праву принадлежит право первого удара. Или господин комиссар? Ему проще, для него это просто маленькая разминка. Вот только доктора жалко, у бедняги будут наверняка трястись руки...

— Кончайте ломаться, Картье, — прервал Дреггер. — У вас еще есть совсем маленький шанс выйти отсюда нормальным человеком. За вами последнее слово.

— А! Я вижу, здесь собрались джентльмены. Последнее слово! Это чрезвычайно важно для человека, которого завтра газеты Лагранжа объявят сумасшедшим. Только к чему откладывать, почему не сейчас, не немедленно? В самом деле, зачем нам рассудок? В обществе господина Лагранжа это обременительная роскошь. Мне бы только хотелось, поскольку здесь присутствуют столь уважаемые представители общественности, выяснить одно странное противоречие в теории господина Лагранжа... Господин Лагранж поделился со мной своей маленькой слабостью: он, господа, не любит крови и не переносит вида страданий. Это очень похвальное качество для государственного человека. Только позвольте спросить, господин Лагранж, зачем вы велели убить несчастного Лебре? Или, может быть, из гуманных соображений вы сделали это сами?..

Картье мог ожидать любой реакции на свои слова. Он мог подумать, что на него бросятся и начать душить, что раскроется дверь и оттуда, по знаку комиссара, выскочит пара полицейских. Но не это же...

Едва он закончил фразу, в комнате поднялся невообразимый хохот. Смеялся даже доктор, но как-то странно, словно боялся, что от смеха у него выскочат глаза, и поэтому вынужден был придерживать их рукой. Громче всех хохотал комиссар.

Дреггер смеялся почти беззвучно, но по тому, как покраснели его щеки, лоб, было видно, что эта минута доставила ему невыразимое наслаждение.

— Если я правильно понял ваши слова, господин Картье, вы обвиняете меня в преднамеренном убийстве? — проговорил Лагранж. — Комиссар, что там у нас положено за предумышленное и дерзкое убийство?

— Гильотина, господин Лагранж, самая настоящая гильотина! — с восторгом прохрипел комиссар и снова затрясся от смеха. — При смягчающих... — Комиссар тяжело дышал и, чтобы схватить воздух, как рыба, открывал рот. — При смягчающих... пожизненное заключение...

— Вы слышали, господа, что мне грозит? — спросил Лагранж. — Я приглашаю вас быть свидетелями того, как господин Картье публично, я повторяю, публично пытается оболгать меня и обвинить в убийстве, которое существует единственно в его больном воображении.

«Что за дикая инсценировка? Зачем потребовалась эта циничная комедия? Чего они хотят? Доказать, что я, Картье, свихнулся с ума? И зачем эта насмешка над прахом Лебре?»

Вопросы, на которые он не находил ответа, быстрой чередой проносились в голове Картье... Чему так радуется комиссар? Не позднее как три дня назад они стояли вместе в пустынном переулке возле Старого порта, и комиссар с мрачным видом спрашивал Картье, узнает ли он покойного. Лебре с залитым кровью лицом лежал, уткнувшись носом в бордюр узкого тротуара. На нем были тот же самый костюм и галстук, в котором Картье видел его во время ужина в ресторане «У Жозефа». На откинутой в сторону испачканной в грязи руке Картье разглядел золотой перстень в виде черепа с двумя бриллиантами на месте глазниц.

В тот памятный вечер за ужином Лебре почему-то вдруг взялся рассказывать Картье историю этого перстня, перешедшего к нему от прадеда. И он запомнил его хорошо. Комиссар, обратив внимание Картье на этот перстень, заметил, что убийство произошло не с целью ограбления, а по иной причине. «Вы не согласны со мной?» — со значением спросил он тогда...

— ...А теперь, господа, — услышал Картье голос Лагранжа, — прошу минуту внимания.

Он подошел к двери и тронул широкую ленту звонка. Но звука не последовало. Вместо этого бесшумно растворилась массивная дверь, и на пороге кабинета показался среднего роста человек в сером костюме с дымящейся сигаретой в руке.

Сделав шаг, он улыбнулся, поднес сигарету к губам, и тогда все увидели, как на его руке тонким синеватым огнем блистали бриллианты на перстне в виде золотого черепа.

— Лебре! — одними губами прошептал Картье и в это же

мгновение почувствовал, как что-то остро кольнуло его в сердце. То был первый в его жизни сердечный приступ.

Картье плохо помнил остаток этого дня. Помнилась странная улыбка Лебре, идущего к нему навстречу, и неожиданный испуг в его глазах. Помнил, как резко отвернулся Дреггер и холодные пальцы доктора Хельма, нащупывающего вену на его, Картье, обнаженной руке...

Примерно в тот самый момент, когда умиротворенное уколом бесчувственное тело Ива Картье тряслось в багажнике машины доктора Хельма, Сергей Архипов стоял в ванной комнате и повязывал галстук. Перед уходом он тщательно обшарил карманы и вынул оттуда все, что могло хоть каким-то образом указать на его личность: удостоверение, международные права, корреспондентскую карточку... В местах, куда он намеревался идти, иметь это при себе не только не имело смысла, но и попросту было вредным. Он взял с собой лишь некоторую сумму денег.

На улицах квартала, где жил Архипов, уже стояла глухая ночь, но там, куда привезло его такси, жизнь только начиналась, и покрасневшие от бессонницы глаза неоновой рекламы подмигивали тем, кто вступал в этот час на площадь Пигаль.

Она, эта площадь, была чем-то похожа на маленькое озерцо, в которое с высот Монмартрского холма узкими ручьями сбегают горбатые улочки с такими глухими проулками и подворотнями, что, проходя мимо, прохожие невольно ускоряют шаг.

Аборигены Парижа, конечно же, знают, что подъезды эти и подворотни часто ведут в безымянные отели и меблированные комнаты «а louer pour jour ou pour nuit»¹. Впрочем, называть комнаты меблированными значило бы погрешить против истины: обстановка их состоит чаще всего из продавленной, но неизменно широкой кровати и настенного зеркала, в котором отражается почему-то обязательный в такого рода обиталищах умывальник из пожелтевшего фаянса с вечно подтекающим краном.

Архипов не любил эту площадь, и если бывал здесь, то лишь для того, чтобы привезти кого-нибудь из туристов.

Попытки Архипова навести справки о заведении под названием «Японские ночи» ничего не дали. Его не было не

¹ Внаем на день или на ночь (франц.)

только в официальных справочниках Парижа, но и в многочисленных проспектах, выпускаемых ассоциацией зрелищных учреждений.

Судя по всему, «Японские ночи» были одним из тех закрытых притонов, которые предпочитают не афишировать своей деятельностью.

Благоразумие подсказывало Сергею прийти сюда вместе с Милевичем. Но, к его удивлению, в будке на Порт де Клиши сидел другой человек, а на вопрос Архипова, где найти господина контролера, пожал плечами и ответил, что тот куда-то исчез и что он его временно заменяет.

Архипов был так поглощен мыслями о предстоящем походе в «Японские ночи», что не придавал этому известию особого значения. И вот теперь он плутал один по запутанному лабиринту улиц, прилегающих к площади Пигаль, и вглядывался в вывески ночных заведений. Иногда из ниши подъезда навстречу ему выступала тень, и он слышал уже знакомое «vous venez monsieur?»¹.

Он проходил мимо, и тень так же тихо, словно срабатывал хорошо смазанный и отрегулированный механизм, отступала назад и исчезала.

Архипов шел все быстрее и быстрее. Мелькали какие-то лица с нечесаными бакенбардами, негры, сующие под нос разные фигурки, ноги проституток возле дверей отелей, полуобнаженные груди в дыму полуподвальных притонов, зазывалы у дверей дансингов, надменные лица сутенеров, глаза мужчин, предлагающих шепотом свои услуги, — все это двигалось, кричало, шептало и пахло тем особым приторным запахом розничного «счастья», по которому можно безошибочно определить подобные районы Марселя, Лиона, Ниццы, славящиеся своей ночной жизнью.

Потеряв не меньше часа на поиски, Сергей решил действовать смелее.

Обратившись к зазывале у входа в одно из стриптизных заведений и сунув десятифранковый билет, он спросил, не знает ли тот, где найти «Японские ночи».

— Мосье ищет совсем не здесь, это с противоположной стороны площади, — услужливо объяснил громил. — Может быть, мосье начнет у нас, а потом уж... Я вас провожу...

Через несколько минут Архипов стоял перед нужной ему дверью.

¹ Вы идете, мосье? (франц.)

Окошечко в двери отворилось, и мужской голос осведомился:

— Вы член клуба?

— Я не член клуба, но мне необходимо увидеться с господином Рутье, — как можно спокойнее проговорил Сергей.

— У вас randevу?

— Я только что вернулся из Латинской Америки, и мне хотелось бы...

— Подождите минутку.

Окошечко захлопнулось. Архипов слышал за дверью голоса (похоже было, что там совещались), потом дверь отворилась, и мужчина, судя по голосу, совсем не тот, что расспрашивал его вначале, сказал:

— Войдите.

Мужчина этот был в просторной, черного цвета, рубашке, подвязанной широким ремнем, и в коротких, тоже черных, штанах. Это было спортивное кимоно.

— Вы знаете господина Рутье? — спросил мужчина низким, kloчочущим в горле голосом.

— Нет, — ответил Архипов, — но у меня к нему есть деловой разговор.

— Вам придется подождать. Господин Рутье будет позднее. Идите.

Коридор был длинным, и у Архипова создалось впечатление, что они под землей перешли на другую улицу. Но спросить он не решился.

Возле какой-то лестницы провожатый обернулся и пропустил Архипова вперед.

— Подождите в зале, вас найдут. — С этими словами он отступил в полумрак коридора и исчез в боковом ходу.

Казалось, что Сергей попал за кулисы какого-то кабаре. Пахло сигаретным дымом, доносились голоса, звуки музыки.

Зал был наполовину пуст.

Метрдотель с оплывшим книзу лицом усадил Архипова за столик. Было похоже, что он предупрежден, потому что не предложил ни аперитива, ни меню. Поставив на стол пепельницу, он отошел в сторону и до самого прихода господина Рутье не спускал с Архипова глаз. От нечего делать Сергей стал смотреть на сцену.

Программа не отличалась оригинальностью. Вначале был разыгран небольшой скетч, закончившийся в постели. После жидких хлопков на сцену выплыло несколько белых девиц и негров, под звуки томительного танго партнеры стали помогать девицам освобождаться от одежды.

В этот момент в дальнем конце зала Сергей увидел высокого, одетого в строгий костюм мужчину, который шел в его сторону.

— Вы хотели меня видеть?

Волосы у подошедшего были слегка мокрые, лицо свежее, распаренное, словно он только что принял горячую ванну или душ.

Наступил момент, и надо было включаться в рискованную игру.

— Я только что вернулся из Латинской Америки, — медленно начал Архипов, — куда ездил по мандату господина Лямбураса¹.

Рутье слегка склонил голову, давая понять, что он принял к сведению сказанное. Он не спускал глаз с лица Архипова, и Сергей подумал, что полумрак будет ему неплохим союзником.

— Целью моей миссии было установление контактов для приобретения огнестрельного оружия, — продолжал Архипов, снизив голос до шепота.

— Не надо шептать, — в первый раз прервал молчание Рутье. — Здесь можно говорить свободно. И что же? — спросил он, увидев, что собеседник пока не расположен говорить большего.

— У меня было несколько полезных встреч с Рудольфом Вельке. Они-то и привели меня к вам.

Пока Архипов играл по заранее разученной партитуре. Имя Рудольфа Вельке было ему хорошо известно. Он давно следил за этим человеком и скопил о нем немало данных. Это был один из сильных людей немецкой колонии в Боливии, бывший телохранитель Мартина Бормана. По сведениям, которые были у Архипова, он был доверенным человеком Клауса Барбье и занимался материальным обеспечением неонацистских групп и партий в Европе.

На этом месте Архипов решил остановиться и подождать, что скажет собеседник. Но тот не торопился. Он неподвижно сидел в кресле и откровенно разглядывал Архипова. По его виску блестящей струйкой сбежал пот.

— У вас не было трудностей в разговоре с Вельке? — неожиданно спросил он.

Ну что же, этого вопроса можно было ожидать. Первая не-

¹ Лямбурас был главарем одной из наиболее активных неонацистских группировок. Знали его и как человека, через посредничество которого велась купля и продажа оружия, идущего из Европы в Африку и на Ближний Восток.

большая проверка. К ней Архипов был готов. Он знал об этой особенности Вельке, на которую намекал теперь Рутье. Владея несколькими иностранными языками, со своими посетителями он говорил исключительно по-немецки. Это была маленькая прихоть, которую он мог теперь себе позволить. А может быть, и не прихоть, а что-то другое, какой-нибудь защитный инстинкт.

— Отнюдь нет, — спокойно ответил Сергей. — Правда, он нашел, что я говорю по-немецки с французским акцентом, но это так естественно, когда у вас мать — француженка, а отец — немец.

— Понимаю, — с некоторым, как показалось Архипову, облегчением проговорил Рутье, — теперь я понимаю, откуда у вас такой цвет волос. Признаться, поначалу меня это несколько озадачило. Вы мало похожи на француза.

— Я больше в отца...

Теперь, когда первая, самая сложная, как представлялось Архипову, часть разговора была позади, можно было и закурить, не опасаясь, что будут предательски вздрагивать его руки.

— Вы закурите? — протянул он пачку собеседнику.

— Спасибо, с некоторых пор я не курю. Приходится выбирать — или спорт, или удовольствия.

— Вы человек строгих правил, — попытался польстить Архипов, но лесть его не была принята.

— Я человек дисциплины, — строго заметил Рутье.

И Архипов решил, что с комплиментами торопиться не следует.

— Как вам понравилась Боливия? — спросил, неожиданно переходя на немецкий, Рутье.

«Еще проверка», — понял Архипов, услышав звуки немецкой речи.

— Для человека, привыкшего к европейскому климату, — несколько трудновато. Приходилось менять рубашки несколько раз в день, — по-немецки же ответил Архипов, с удовольствием отмечая про себя, что по-немецки Рутье говорит плохо, значительно хуже, чем он, и что вопрос этот задан с единственной целью — проверить, в самом ли деле собеседник говорит по-немецки.

И действительно, следующий же вопрос Рутье задал по-французски и к немецкому больше не возвращался.

— Можете представить, каково было мне, — сказал Рутье, намекая на свою полноту. — Последний раз я попал туда как раз в сезон дождей...

Это уже была ценная информация: выходило, что Рутье навещается в Боливию регулярно. Не исключено, что именно он является связным между боливийским штабом и фашистскими группами во Франции. Может быть, через него тянется ниточка от Клауса Барбье к Роберу Лагранжу?

— ...Но в целом, — продолжал Рутье, — Боливия была бы совсем неплохой страной, если бы не отвратительные отели. Кстати, вы останавливались в каком?

«Еще крючок, — подумал Архипов. — И очень острый».

Из гостиниц в столице Боливии Ла-Пасе он знал только одну — «Отель Боливия» (название промелькнуло в одной из газет в связи с делом бывших членов ОАС¹, арестованных в Боливии). Но мог ли он быть полностью уверен, что именно в этом отеле селятся приезжавшие из Европы к Клаусу Барбье «гости».

— Я вообще не люблю отелей, — отозвался Архипов, — особенно в таких странах. Я жил у знакомого журналиста из газеты «Патриот». Мне его рекомендовал господин Лагранж.

— Так вы знакомы с Робером? — с удивлением воскликнул Рутье. — Я имею в виду — с господином Лагранжем, — поправился он.

— Я оказал ему в свое время несколько услуг в области журналистики, — неопределенно ответил Архипов.

— Ну что ж, господин Лагранж не забывает услуг, как, впрочем, и ошибок, — почему-то добавил Рутье. — Вы останавливались случаем не у Жюля Ферри? — спросил он.

— Я что-то не помню, чтобы там работал кто-нибудь с таким именем. («Скорее всего, Рутье выставил для проверки первое попавшееся имя», — подумал Архипов). Я останавливался у Марио Сагасты...

Марио Сагасты было действительное имя крайне правого боливийского журналиста, поддерживающего тесный контакт с бывшими наци. Архипов даже знал, что тот время от времени появляется в Париже, видимо, с какими-то тайными поручениями.

— Возможно, я и ошибаюсь, — отыграл Рутье. — Мне показалось, что Жюль Ферри работает в газете.

Он несколько минут молчал, в задумчивости шевеля губами. Было похоже, что проверкой он удовлетворен.

¹ «Organisation armée secrete» — тайная военная организация, созданная во Франции после военного путча в Алжире в 1961 г. Поддерживала тесные связи с фашистскими организациями. После запрещения ОАС многие ее активисты бежали в Латинскую Америку.

— Ну что ж, давайте знакомиться, — проговорил он наконец. — Пьер Рутье.

Он встал из-за стола и сделал ногами движение, словно хотел щелкнуть каблуками. Но звука никакого не последовало.

Архипов тоже встал и, протянув через стол руку, слегка склонил голову: переигрывать не стоило.

— Филипп Френлих, — представился Архипов.

В глазах Рутье промелькнуло удивление.

— Это мое настоящее имя. По документам я правоверный француз Филипп Дюбонье.

— А... Это хорошо, — с одобрением буркнул Рутье. — Что же, поговорим о деле?

— Пора! — расплываясь в улыбке, сказал Архипов, хотя в этот момент ему было не до улыбок.

Теперь он вступал на почву, где у него не было никакой опоры и где малейшая осечка могла испортить все. Идеальный вариант был бы — немедленно уйти. Собственно, главное, что он хотел установить: существует ли реальная связь между Лагранжем, Рутье и людьми из Боливии, — он установил. Такая связь есть и осуществляет ее этот Рутье. Но как уйти? Это значило бы проявить подозрительную поспешность и погубить все дело. Он пришел сюда вести переговоры о покупке оружия — об этом теперь и следовало говорить.

— Что вам нужно? — спросил Рутье.

— Речь идет не о совсем обычной покупке, — начал Архипов, — поэтому цифры я называть пока не уполномочен. Мне необходимо выяснить принципиальный вопрос: в состоянии ли вы удовлетворить нашу просьбу?

— Что конкретно вы просите?

— Нам нужны небольшие ракеты «земля — земля», предпочтительно управляемые.

Рутье некоторое время молчал, задумчиво потирая подбородок.

— Это дорогое удовольствие. Из Америки их доставлять трудно. Во Франции в последнее время положение усложнилось. Официально разместить заказы практически невозможно. У нас есть неплохие возможности в Западной Германии, но это касается обычных видов оружия. В нынешней обстановке единственная реальная возможность — попытаться заполучить американские ракеты через Израиль. Но там любят знать, для каких целей будет использовано оружие.

— Цели эти не нанесут ущерба государству Израиль... — ответил Архипов.

- Хотелось бы поточнее...
- Точнее будет, когда вы сможете сказать, беретесь вы за заказ или нет.
- Ну что же, нам не остается ничего другого, как условиться о следующей встрече.
- Меня это устраивает.
- В таком случае мы все будем ждать.

* * *

- На линии Марсель, — зашекетал ухо голос телефонистки. «Марсель? Почему — Марсель?»

Архипов ждал разговора с Москвой. После этой беспокойной ночи ему вдруг так захотелось услышать голос жены и дочери, что в первое мгновение он не мог понять, какое отношение к его жизни имеет Марсель. И вдруг всплыло: Ив Картье! Лагранж! Это же все Марсель!

- Я слушаю...

- Это господин Архипов?

- Да, да, это я, Архипов. Кто у телефона?

— У меня поручение от господина Картье, — продолжал голос. — Он просил позвонить вам, если с ним что-нибудь случится. Вчера вечером он не пришел на условленную встречу, и его нигде не могут найти. Номер в гостинице по-прежнему числится за ним, но хозяин уверяет, что Ив не ночевал.

— Он вам не говорил ничего особенного во время последней встречи? Ни о чем не просил? — спросил Сергей.

— Нет... нет. Только еще раз напомнил о том, чтобы позвонить вам. Вы сможете приехать?

— Определенно сказать не могу. Где я смогу вас найти в случае необходимости?

— При въезде в Марсель по национальной дороге со стороны Парижа есть небольшой гараж на улице Буланже. Спросите механика по имени Казимир.

В трубке щелкнуло, и голос пропал.

«Что за дьявольщина! Когда наконец будет нормально работать телефон?»

Архипов решил, что их разговор прервали, и начал называть на телефонную станцию.

— Я только что разговаривал с Марселем. Почему прервали связь?

- Одну секунду, мосье, я справлюсь.

В трубке был слышен шум большого зала, звонки, женские голоса.

— Вы слушаете? С разговором все в порядке: абонент в Марселе сам прервал разговор.

Вот те на! Что за поспешность? И к чему такие сложности? Человек по имени Казимир, гараж при въезде в Марсель... Какая-то ерунда! Да... да... Но главное не в этом. Главное то, что Картье исчез и оставил просьбу позвонить ему, Архипову. Значит, он рассчитывает на его помощь, ждет ее.

Сергей принялся ходить по комнате, не зная, что предпринять. Таких ребусов жизнь ему еще не подбрасывала. Ехать или не ехать? Ехать или не ехать? Если ехать... Что он сможет сделать в чужом, малознакомом городе? Без связей, без знакомств... Все это так. Но Картье просил позвонить ему, именно ему. Значит, он верил, рассчитывал... Как? Что предпринять? Чего ждет от него Ив Картье?

* * *

В газете коммунистов у Архипова было немало знакомых, но человека, к которому его привели, он видел впервые. Это был пожилой мужчина с удлинёнными чертами лица и совершенно белыми, спадающими на лоб волосами. Возраст его определить было нелегко: пятьдесят или шестьдесят. Перед ним стояла пепельница с горой раздавленных окурков и бутылка минеральной воды.

— Товарищ из московской газеты, — представил Сергея приведший его знакомый.

— Архипов, — назвал себя Сергей и взял в свою большую ладонь сухонькую, показавшуюся ему холодной, руку хозяина.

— Пьер Каше, — отвечая неожиданно крепким рукопожатием, сказал седой человек. — А я уже о вас слышал. Присаживайтесь. Удивлены? А между тем здесь нет ничего удивительного. Дело в том, что у меня сводятся все данные о нацизме и о делишках наших новоиспеченных фюреров. Видите эти полки и шкафы? Одно из лучших досье Франции. Мы придаем большое значение опасности распространения неофашизма. Я не оговорился, употребляя слово «распространение». Десяток лет назад в ходу было другое выражение — возрождение. Да, да. Не будем прятаться от факта. Дух фашизма удалось возродить во многих странах.

Поднимает он голову и во Франции. Этому способствует целый ряд обстоятельств: страх буржуазии перед ростом влия-

ния компартии, разочарование мелкой буржуазии в политике правительства, рост насилия, разложение городов. В этих условиях кое-кто склонен искать панацею в нацизме. Безусловно, немалую роль играет и финансовая помощь, которую оказывает фашистским группировкам крупный капитал. Есть и тайные источники финансирования.

Вы обратили, наверное, внимание, как часто имя Гитлера появляется в последнее время в книгах, в газетах, на радио и телевидении. Издаются целые серии монографий по проблемам национал-социализма. Это не случайно: хотят приучить ухо и глаз к забытой терминологии, доказать, что фашизм жив и является активным политическим движением. На все это, как понимаете, нужны миллионы и миллионы.

— Извините, что я вас так заговорил... — Пьер Каше улыбнулся, и его лицо покрылось частой сеточкой морщин. — Это не только мое партийное поручение, моя работа, но и моя собственная боль и страсть. Я ведь почти два года провел в Бухенвальде, участвовал в лагерном восстании. Этого забыть нельзя... А теперь рассказывайте, что вас привело ко мне.

Архипов вкратце изложил историю своего знакомства с Ивом Картье, рассказал о последней встрече с Ивом и о телефонном звонке из Марселя.

— Картье нам хорошо известен. Мы ценим его как хорошего журналиста и блестящего репортера. Но его реакция на нацизм — это реакция индивидуалиста. Он не видит социальных источников, питающих фашизм. Отсюда и методы его борьбы... Надежда свалить такого матерого зверя, как Лагранж, при помощи нескольких, пусть даже блестящих репортажей, конечно, вызывает уважение, но нужно же понимать, что это выстрел из дробовика по медведю. Лагранж — это черный дуб, корни которого глубоко под землей. Здесь нужна глубокая корчевка. Бороться против Лагранжа кустарными методами — это значит проиграть.

На одну статью Картье они ответят десятком своих. Мы, коммунисты, считаем, что борьба против лагранжей — это часть борьбы пролетариата против буржуазного государства, порождающего фашизм. А для этого нужны организация, единство левых сил, развитое чувство интернационализма. К сожалению, это не все понимают. В деле Лагранжа для нас сейчас важно показать, какие корни его питают, каким интересам он служит. Вот здесь роль журналиста велика, здесь люди с энергией и журналистской хваткой Картье нам нужны и полезны. Мы ведь ему предлагали сотрудничество, готовы были помочь материалами. Половину того, что по крохам собирал в течение года,

он бы мог за неделю найти в наших досье. Но что вы с ним поделаете, с этим героем-одиночкой? Ему захотелось совершить личный подвиг и заслужить бурные аплодисменты публики...

Каше вытянул из пачки новую сигарету, щелкнул зажигалкой и продолжал:

— ...То, что случилось сейчас с Ивом Картье, — типичная, в общем-то, история для честного журналиста. Если бы вы знали, сколько их сломала и выплюнула буржуазная пресса. Картье — не исключение. При его обостренном чувстве несправедливости он рано или поздно встал бы костью в глотке своих хозяев. Но трагедия таких людей, как Картье, в том, что при своем индивидуализме они совершенно безоружны против таких господ. Что они могут выставить против тяжелой артиллерии лагранжей? Свое личное действие? Кроме этого, у них ничего нет. Отсюда и проистекает, что они действие возводят в религию, в божество. Оно становится для них стержнем бытия, основой существования. Отнимите у Картье его действие — и он превратится в брюзжащего обывателя.

Отчего, вы думаете, в нашем кинематографе, литературе, театре столько восторгов вокруг сильной личности, человека действия, героя-индивидуалиста? Да потому, что в гордом своем одиночестве он совершенно безвреден для господ, финансирующих буржуазное искусство.

— Однако же они ополчились на Ива Картье, — заметил Архипов.

— А почему? Думаете, они его испугались? Да если они захотят, то сотрут его в порошок. Не Картье им страшен. Если бы во Франции не было левой прессы и левых партий, они отмахнулись бы от него, как от назойливой мухи.

Пьер Каше погасил в пепельнице очередную сигарету, бросил в стакан таблетку, налил воды, выпил и, как бы извиняясь перед Архиповым, сказал:

— Бухенвальд напоминает о себе. Ну, а теперь давайте подумаем, что можно сделать для Картье. Вы ведь пришли за этим?

— Я боюсь сейчас только одного, — сказал Архипов, — как бы не было поздно. Человек, позвонивший из Марселя, сказал, что Ив исчез и его нигде не могут найти.

Пьер Каше в задумчивости побарабанил пальцами по столу.

— В любом случае, поздно или не поздно, общественность обо всем этом надо проинформировать. Если он жив, это может помочь. К тому же это вопрос профессиональной солидарности.

Пьер Каше поднял трубку.

— Это ты, Венсен? Послушай-ка, у меня тут прорезывается очень острый и нужный материал. В завтрашнем номере у тебя что-нибудь осталось? Нет, нет, по делу Лагранжа... Знаешь что, дружище, зарезервируй-ка эту пару колонок для меня. Не беспокойся, с главным я поговорю... В Марселе что-то случилось с Ивом Картье... С местом у нас туговато, — обращаясь уже к Архипову, сказал Каше. — Но пару колонок оставить нам обещали.

Архипов уже встал и в нерешительности стоял посреди комнаты. Было видно, что его что-то беспокоит.

— Не знаю, читали ли вы уже об этом, — добавил, вставая, Каше. — В Марселе на днях будет проведена массовая демонстрация в поддержку требования о выдворении из Франции бывших фашистских палачей и о расследовании их связей с коллаборационистами. Так что господину Лагранжу предстоит пережить несколько неприятных мгновений. В районе Марселя свила себе гнездо целая группа бывших нацистов. Я не исключаю, что Лагранж поддерживает с ними тайную связь. В частности, недавно был опознан бывший оберштурмбанфюрер СС, некий Ганс Рогге, поселившийся на старости лет у теплого моря. Он повинен в казни нескольких сотен итальянских патриотов, участников Сопротивления...

В продолжении всего разговора с Пьером Каше мысль о немедленной поездке в Марсель несколько раз возникала в голове Архипова. Ехать или не ехать? Входя в здание «Юманите», Архипов думал о возможности поездки как о чем-то нереальном, далеком. Но чем больше он слушал старого журналиста, тем больше утверждался в мысли, что ехать надо. Когда Каше упомянул о предстоящей демонстрации и об этом недобитом фашисте Гансе Рогге, Архипов уже знал, что он едет, и едет безотлагательно.

* * *

В Марсель Архипов прибыл на рассвете, и его немного качивало от усталости: чтобы сэкономить время, он ехал по авторуту и гнал со скоростью сто пятьдесят километров в час.

Первым, кого он увидел в порту, был молодой араб, увешанный мануфактурой. На руках, на плечах, на шее у него болтались разноцветные куски материи.

— Аллах посылает мне первого покупателя! — с радостным воплем бросился он к Архипову и, ловко перебросив свой товар на плечо, попытался примерить «сахибу» — длинный полотняный балахон, расшитый по вороту замысловатой вязью. — Настоящая арабская работа! Фантастически дешево, всего триста франков. Только ради первого покупателя.

— Этой тряпке цена полсотни франков, — мрачно сказал Архипов, чтобы отвязаться от назойливого продавца.

— Сахиб, наверное, шутит. За пятьдесят франков вы не съедите в Марселе достойный буйабес¹. Но поскольку сахиб так хорошо знает цены, могу уступить за семьдесят франков. Контрабандный товар, только что украден с таможни, — конфиденциально зашептал он на ухо.

— Иди ты к черту со своей контрабандой! — отмахнулся Архипов. — Скажи-ка лучше, где здесь можно выпить хорошего кофе.

Ему было неловко за свою грубость, и, чтобы ее загладить, он добавил:

— Всю ночь за рулем...

Продавец, впрочем, и не думал обижаться. Он взял Архипова за локоть, повернул лицом к порту и, показав на большую рыбацкую лодку с красным парусом, сказал:

— Напротив есть маленькое кафе, идите туда...

Внутри кафе было тесно. У стойки толпились пришедшие с лова рыбаки. Пахло мокрой парусиной, солью, потом. Архипов сел за столик на улице. Его клонило ко сну.

От чашки поднимался легкий пар, но Архипов ничего не чувствовал, кроме запаха рыбы и выброшенных на причал блестящих водорослей. Он закрыл глаза, и жизнь старого порта ворвалась в него звуками. Хлопали опавшие паруса, кричали рыбаки, выходившие с мужьями в море, скрежетали кормовые лебедки, терлись о причал бока старых шаланд, журчала вода — рыбаки окатывали из шлангов палубы. Рядом звякнула рында.

Очнувшись от минутной дремоты, Архипов увидел перед собой паром, отходящий на другой берег залива, ящики с блестящей еще живой рыбой и человека возле ящиков, смотрящего прямо на него.

Это был Коста Милевич, пропавший диспетчер автобусной линии.

¹ Рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции.

Несколько секунд они смотрели друг на друга, не веря своим глазам. Милевич первым махнул рукой и бросился к Архипову.

Со времени их встречи прошло не так уж много времени, но как изменился этот человек! В Париже он был скупен, улыбочив, говорил не иначе как шепотом.

Сейчас к Архипову подошел человек, который, очевидно, открыл секрет того, как за несколько дней помолодеть на десяток лет. В его походке было что-то свободное, развалистое, морское. Было впечатление, что он раздался в плечах и сделался выше.

— Вот неожиданная встреча! — радостно воскликнул он. — А я уж и не думал вас увидеть. Нет, вру! — поправился он. — Думал! А может быть, даже и знал, что встречу.

Милевич заглянул в кафе, с кем-то поздоровался; через минуту официант вынес ему порцию перно.

— Я просил две, — сказал он. — У меня товарищ.

Говорил он свободно, без всякого стеснения, и было видно, что в кафе у него друзья и среди рыбаков, и среди официантов.

— Не узнаете? — радостно обратился он к Архипову. — И не надо, не узнавайте. Ну его к черту, прежнего диспетчера. Весь вышел, сдох...

— За встречу! — поднял Архипов свой стакан.

— За встречу и за вас, — ответил Милевич.

— За меня?

— Знаю, есть повод... Впрочем, это опять о прошлом. Да ну его! Вы-то здесь зачем?

На Милевиче была просторная куртка с оторванной пуговицей и, главное, что больше всего удивило Архипова, фуражка — та самая фуражка, что он носил в Париже, но как-то по-особому, лихо заломленная набекрень и с огромным серебряным крабом вместо старой кокарды. «Вот что делает с человеком море», — подумал Сергей.

Не дождавшись ответа Архипова, Милевич потянулся и широким движением руки обвел порт.

— Красота какая! А? Сколько жизни! Как только люди сидят в диспетчерских будках?!

Милевич радостно, по-детски рассмеялся и громко хлопнул ладонями.

— Вы что же, насовсем исчезли из Парижа? — спросил Архипов.

— Ну его вовсе, этот Париж. Ловушка для дураков...

— А как же с работой? В Марселе, я слышал, нелегко...

— Смотри что искать. Если денег, то да. А на кусок хлеба заработать всегда можно, если нет семьи. Зато вольность, зато море... Я ведь в Югославии родился в рыбацком поселке, это потом судьба загнала меня в Париж. А рыбак рыбака, как знаете... Я и тут нашел друзей. Обдумываем одно дельце... — загадочно улыбнулся Милевич. — Да только вас в него лучше не вмешивать. Мы уж тут сами разберемся... Так не скажете: зачем пожаловали в Марсель? Секрет?

— Нет у меня никакого секрета. Человек один исчез — вот я его и разыскиваю.

— Что за человек?

— Француз, журналист. Поехал собирать материал о Лангранже. Боюсь, как бы они его здесь не прикончили. Марсель город серьезный...

— Это точно, здесь это просто. Как зовут вашего приятеля?

— Ив Картье.

— Попробую узнать... Да вы не смейтесь. Это только кажется, что рыбаки, кроме рыбы, ничем не интересуются. Да и кроме рыбаков у меня есть здесь с кем поговорить. Будет охота или что потребуется — утром меня всегда можно найти здесь. Мой знакомый югослав имеет здесь небольшое суденышко, ну и я пока с ним...

— Рыбак? — поинтересовался Архипов.

— Можно сказать и так, — уклончиво ответил Милевич.

Из рубки стоящего у причала моторного баркаса высунулся бородач в шерстяной шапочке и что-то закричал.

— Это меня! — Милевич встал и протянул Архипову руку. — Так не забывайте, рад буду помочь. Должник я ваш... — И, не оглядываясь, новой, незнакомой Архипову походкой Милевич зашагал к причалу.

Разговор ли с Милевичем, чашка ли кофе или воздух порта, звенящий теперь пронзительными голосами торговки рыбой, — что подействовало на Архипова, сказать трудно: сонливости он уже не чувствовал. Встрече с Милевичем Сергей был рад: совсем, совсем не плохо иметь знакомого человека в таком городе, как Марсель.

Архипов расплатился за кофе и отправился разыскивать гараж, который ему указал человек, звонивший из Марселя.

* * *

— Мосье кого-нибудь ищет?

Архипов оглянулся по сторонам, но никого не увидел. На

стенах прокопченного гаража висели замасленные плакаты с разрезами узлов автомашин, полки, заваленные деталями и инструментом, в углах валялись проржавевшие, черные от разлившегося масла амортизаторы, тормозные колодки. Сквозь древесные опилки, которыми был засыпан пол, проступали рыжие масляные пятна. По сути дела, это был не гараж, а маленькая авторемонтная мастерская, одна из тех, которых почти не осталось в Париже, но которые еще можно встретить в провинции. Как они ухитряются выживать рядом с большими гаражами — известно одному только богу, да разве еще хожявам.

— Я сейчас, — слышался голос откуда-то сверху, и Архипов увидел, что на антресоли, спустив ноги, сидит человек и пытается на веревке спустить вниз какую-то деталь.

— Подставьте корыто! — крикнул он. — Слева, слева от вас.

Архипов оглянулся и увидел корытце с отработанным маслом. Подняв кусок тряпки с пола, он пододвинул корыто и поспешно отошел в сторону, и очень своевременно, потому что веревка вдруг соскочила и деталь плюхнулась вниз, перевернув корыто.

Человек наверху выругался и стал спускаться вниз. Спускался он медленно, с крихтением, осторожно нащупывая ногой ступеньки. Пока он долез до низа, Архипов смог хорошо рассмотреть его.

Это был низенький, но очень широкий в плечах человек с короткими толстыми ногами и массивным задом. Одет он был в синий рабочий комбинезон, из-под которого выглядывали запачканные кальсоны. Он один из тех французов, родившихся и выросших между двумя войнами, которые знают, почему фунт лиха, и посему пуще всего в жизни ценят теплое белье, берет, хорошую рюмку кальвадоса после работы и доброе слово.

Люди помоложе считают их чужаками, не умеющими понять смысла новой жизни. А они плетутся себе по обочине большой и шумной дороги, имя которой прогресс, никому не мешая, ничего не требуя и только порой вызывая в обремененном мозгу торопящихся вперед досадную мысль о том, что в спешке они, может быть, оставили позади что-то важное, бесценное, может быть, счастье...

— А я вас узнал. Ив о вас мне говорил.

Маленький человек с крупным веснушчатым лицом протянул Архипову темную от работы с ржавым железом руку, и Сергей почувствовал крепкое рукопожатие.

— Идемте, идемте со мной...

Переваливаясь по-утиному, он подвел Архипова к двери в стене, за которой оказалась маленькая комнатка с самодельным деревянным столом и матрасом на козлах.

— Если бы не моя старуха, я бы отсюда и не уходил. Тут и поспать можно, и выпить. Вас как звать-то? — спросил он.

— По-русски — Сергей, но вам, наверное, удобнее — Серж.

— Серж — это хорошо. А я — Казимир Картье. Да, да Картье, дядя Ива, — пояснил он, заметив недоумение Архипова.

Он открыл маленький шкафчик, висевший над столом, и достал оттуда бутылку без этикетки и два стакана.

— И не думайте отказываться, — с шутливой суровостью проговорил он, наливая стаканы. — Вы не знаете, сколько вам будет стоить такое вино в Париже? Не меньше пятидесяти франков за литр, да и то, если попадется порядочный торговец. Но и все равно такого вам не пить. Это домашнее, из местных сортов винограда.

— За ваше...

Вино было в самом деле превосходным, с терпким, тяжеловатым привкусом южных красных вин.

— Прекрасное вино, — похвалил Архипов. — Я такое пробовал только раз. Говорили, что ему было больше пятидесяти лет.

— Ну, это-то вино молодое. Надо быть графом, чтобы держать вино десятки лет. Но если бы оно стояло, ему бы не было цены. Пейте, я вам налью еще...

Они выпили еще по половине стакана, и только после этого старик приступил к разговору.

Вначале он долго ругал Иву, называя его мальчишкой, шлопаем, разбойником и другими именами, которыми старики имеют обыкновение называть молодых людей, к которым питают слабость.

— Я знал, что он влипнет в историю, и предупреждал его. Он мне многое рассказывал. У нас с ним секретов нет, — с гордостью добавил старик. — Я ему что говорю: лбом железных ворот не откроешь, здесь таран нужен. А он мне говорит, что таран одному не утащить. Вот она, молодежь. Все в одиночку, в одиночку — вот вам шею-то и ломают, как хотят.

Старик вдруг задвигал носом, глаза его покраснели, и он полез рукой под комбинезон за носовым платком. Было заметно, что вино его расслабило, и теперь, когда на глазах выступили слезы, он казался и вовсе беспомощным.

— Что же все-таки произошло? — спросил Архипов.

— В том-то и дело, что ничего. То они возили его лицом по грязи (старик, видимо, имел в виду газеты), а то вдруг замолчали. А человека-то нет, пропал человек! Он должен был прийти сюда, в гараж, два дня назад. Мы договорились с ним пойти ко мне домой: старуха моя изловчилась делать буйабес — это, знаете, теперь нелегко — разве теперь рыба? — сплошная нефть... — и не пришел.

— Может быть, его что-то важное в тот вечер задержало?

— Молодой человек, что может быть важнее буйабеса? — строго поправил старик.

Против такого аргумента возразить было нечего.

— Ив вам говорил что-нибудь во время последней встречи?

— Почти ничего. Он был какой-то дерганный, весь — нервы. Я угостил его вот этим же вином, и он быстро опьянел. Я и не думал, что он такой слабак. В былые годы, когда он приезжал в Марсель, мы выпивали по две таких бутылки, и нам было только хорошо. Это его работа довела... Сколько раз я советовал ему: брось, найди что-нибудь поспокойнее. «Я, — говорит, — ничего другого делать не умею». Что за народ такой пошел? За свою жизнь я десяток профессий поменял — и хлеб пек, и мешки в порту грузил, и шофером работал, и воевал. А нынче не люди, а станки какие-то пошли: раз закрутили — так и вертится всю жизнь.

— Он остановился в гостинице?

— Я звал его к себе — не захотел. Вы ведь теперь какие: все одолжиться боитесь. В гостинице, в гостинице жил, чуть ли не в центре города.

— Знаете, как ее разыскать?

— Да разве я помню... Хотя погодите, он мне какую-то карточку оставил...

Старик выдвинул ящик стола и долго рылся в бумагах.

— Вот она...

На карточке готическими буквами было написано: «Отель «Южный крест». Все удобства, лифт, горячая вода, в двух шагах от моря. С пансионом и без пансиона». На обратной стороне карточки был нарисован план, как пройти к гостинице.

— Ну что ж, я, пожалуй, пойду, — сказал Архипов, засовывая карточку в нагрудный карман и поднимаясь с матраса, на который его усадил старик.

— А что же я? — неожиданно засуетился старик. — Я должен остаться? Нет уж, будьте добры взять меня с собой. Уж кем хотите. Я и в шоферы гожусь. Как же так... Дело серьезное, нешуточное дело. Мы хоть и старые, а кое-что соображаем.

Я, молодой человек, в Сопротивлении воевал... Милое дело, — рассуждал он, — вашу машину мы запрем в гараж, а на моей старушке нам и черт не помеха. Уж кого-кого, а ее я держу в холе... — И, не дожидаясь согласия Архипова, старик зашел к выходу.

Идея его была недурна, и Сергей решил не сопротивляться. Авось, и старик чем-нибудь пригодится. Он и город хорошо знает.

Казимир Картье тем временем с неожиданным проворством выкатил из пристроенного к гаражу сарайчика «deux chevaux»¹ с помятыми крыльями и парусиновым откидным верхом и лихо тормознул возле Архипова: знай, мол, нас.

— Заводи в сарай свою, — скомандовал он, — и жди меня, я только переоденусь.

Через десяток минут, подпрыгивая на булыжной мостовой, машина понесла их в сторону моря. Скрипели на крутых поворотах тормоза, визжала резина, а старик, чуть было не плававший несколько минут назад, бурчал себе под нос какую-то песенку — конечно же, одну из тех, что пели во Франции во времена его молодости.

* * *

— Как же, как же, прекрасно помню. Еще бы не помнить! Господин Картье доставил нам немало хлопот. У нас случается, что клиент «забывает» прийти на ночь. Марсель, знаете ли, веселый город — удовольствия, соблазны... Мало ли что может привлечь молодого человека ночью?

Архипов, оставив машину, с дядюшкой Казимиром (Казимир Картье настоял на том, чтобы Серж звал его именно так) сидел за стойкой бара в гостинице «Южный крест» и вел беседу со словоохотливым управляющим.

Судя по всему, гостиница принадлежала итальянцам, и швейцар, выскочивший отворить Архипову дверь, и официант, встретившийся ему на пути, и бармен, наливавший им «мартини», и сам управляющий отелем — все были итальянцами.

— ...Но всему бывает предел, — улыбка на лице управляющего сменилась трагической маской. — Когда господин Картье

¹ «Две лошадиные силы» — самая дешевая модель «ситровена» со слабым мотором, но отличающаяся легкостью, маневренностью и проходимостью.

не пришел и во вторую ночь, мы вынуждены были оповестить полицию. Дело мне показалось настолько серьезным (вы ведь знаете, чего только не писали газеты о господине Картье), что я счел необходимым даже съездить лично к господину старшему комиссару.

— Что же он вам сказал?

— Ах, синьор, кто же их разберет, этих полицейских! То они требуют, чтобы мы следили за клиентами, а то вдруг устроил мне разнос и заявил, что он не потерпит, чтобы всякие (представляете! Это я — «всякие») вмешивались в дела полиции.

Архипову показалось: еще мгновение — и из глаз управляющего брызнут слезы. Но тот вдруг выпрямил скривившийся было рот и весело сказал:

— Ах, *signore scrittore*! В Италии так никогда бы не обидели человека. Вы знаете, что бы мне сказали в Италии в подобном случае? «*Signore direttore*, вы поступили как настоящий патриот! Вы можете всегда рассчитывать на наше расположение!» Вот что мне сказали бы в Италии. Вы ведь не француз? Нет, нет, не отпирайтесь. Итальянца невозможно обмануть. Вы скандинав? О, это нация, которую я уважаю. Это великолепная, достойнейшая нация! Вам одному могу сказать, как с французами трудно. Они уважают только две вещи... — И благородный синьор управляющий предъявил увесистый кулак, а потом, сложив пальцы щепоткой, показал, как на всех без исключения широтах обозначают деньги.

— Так что же господин Картье? — прервал начавшего входить в раж красноречия итальянца Архипов.

— Ах господин Картье? Меня, конечно же, страшно взволновала его судьба, но, синьор меня простит, единственное, что я знаю, — это, что приезжал какой-то мосье в сопровождении комиссара полиции и перерыл все вещи господина Картье. Они уехали страшно недовольные. Помогите, мадонна, господину Картье! Это был очень любезный человек. Это был очень щедрый человек. Если бы он говорил по-итальянски, он был бы почти итальянец. Мосье не говорит по-итальянски?

Архипов развел руками.

— Это ничего, мосье, вы еще так молоды. У вас еще все впереди.

Архипову ничего не оставалось делать, как заверить управляющего, что он непременно, может быть, прямо сегодня же начнет изучать этот прекраснейший из всех прекрасных языков мира.

— Мосье будет иметь много друзей и самых красивых жен-

щин, — посулил итальянец и, совершенно расчувствовавшись, велел бармену налить гостю стаканчик итальянского вина.

— Остерегайтесь господина комиссара, синьор. Кажется, их интересует не только господин Картье, но и его друзья. Но синьор может рассчитывать на мою порядочность. Они не услышат от меня ничего, или пусть пресвятая дева Мария отнимет у меня язык.

После этого управляющий церемонно раскланялся и, рассекая воздух великолепным пробором, удалился.

Итак, управляющий отелем ничего рассказать не мог. Приезд в гостиницу, по сути дела, оказался бесполезен. Где, где искать концы?..

Обдумывая положение, Архипов медленно потягивал итальянское вино, которым его угостили. Бармен за стойкой, с любопытством поглядывая на Архипова, ловко протирал вымытые рюмки и рассматривал их на свет. Время от времени он махал рукой проходившим мимо клиентам. Когда мытье посуды было окончено, он поставил перед собой рюмку, налил вина и сделал несколько медленных глотков. Один раз он даже приподнял рюмку, как бы желая засвидетельствовать Архипову свое почтение, но тот, занятый своими мыслями, ничего не заметил.

— Если мосье хочет что-то спросить, то пусть не стесняется. Мы порядочные люди и всегда готовы помочь, — услышал он голос из-за стойки. Бармен говорил по-французски.

— А я из тех людей, которые умеют быть благодарными порядочным людям, — в тон итальянцу ответил Архипов и, подойдя к бару, положил под рюмку среднего достоинства купюру.

— Исключительно из уважения к господину Картье, — сказал бармен, ловко вытягивая из-под рюмки бумажку. — И в память о наших с ним встречах...

— Так вы знали его и раньше?

— Господин Картье известный журналист... Кроме того, он довольно часто бывал в Марселе и всегда останавливался у нас. Я и прежде оказывал ему небольшие услуги: кого-то найти, что-то узнать. Он всегда был очень щедр...

— Вы не знаете, с кем он встречался в тот день? Я имею в виду день, когда пропал.

— Я вам сейчас все расскажу. С утра господин Картье отправился на пляж. Совершенно один. Было, кажется, семь или начало восьмого. Он сошел с полотенцем в руках по лестнице, вот здесь. — Официант указал пальцем на лестницу. — Вид у него был на редкость задумчивый. Обычно я прихожу к полови-

не седьмого, чтобы убрать в баре и все приготовить — рюмки, бутылки, лед. Мосье знает, что такое быть барменом. К концу дня еле держишься на ногах. Но я не жалуясь... В то утро господин Картье, всегда такой любезный, даже не ответил на мое приветствие. Но разве я в обиде? Кому, как не нам, стоящим за стойкой, знать — чего только не бывает с людьми. С пляжа господин Картье вернулся тоже один. Но здесь его уже ждал какой-то господин. Я видел его впервые. Должен сказать, что господин Картье был очень удивлен и, как мне показалось, рассержен его появлением.

— Вы не слышали его имени?

— Нет, синьор. Они разговаривали в садике, и я ничего не слышал. Но, по-моему, он немец.

— Немец? Каков же он из себя?

— Невысокий, толстый, с большой головой.

— Как вы думаете, он из местных?

— Нет, нет, местных немцев у нас немного. И я их почти всех знаю. Этот, судя по костюму, приезжий. Может быть, из Парижа. Иначе откуда бы он мог так хорошо знать господина Картье.

«Кто бы это мог быть? Кто из знакомых мог прикатить из Парижа разыскивать Картье? Кто-нибудь из редакции?»

— Вы говорите, толстый, большеголовый?.. А еще какие-нибудь приметы есть? Акцент, может быть...

— Да, да, акцент есть. Я же говорю, что, по-моему, он или немец, или норвежец. Кто-то с севера. А особых примет? Что-то не помню. Все вроде на месте... Постойте-ка... Разве что уши. Знаете, вытянутые такие и волосатые. Конечно, как я сразу не вспомнил. Меня это, помнится, удивило.

— Дреггер! — воскликнул Архипов. — Если волосатые уши, то Дреггер.

Из всей журналистской колонии Парижа именно Дреггер славился большими волосатыми ушами. Они были объектом неиссякаемых шуток. «Такие уши, — говорили ему, — фортуна для шпиона».

— Постойте-ка! — вдруг воскликнул бармен. — Теперь я так уверен, что он немец.

Было видно, что итальянец чем-то взволнован. Голос у него дрогнул, и он заговорил почти шепотом:

— Вчера поздно вечером, когда я возвращался домой, я снова встретил этого самого господина... Как вы его называли?..

— Дреггер, — подсказал Архипов, чувствуя, что вслед за итальянцем и его охватывает волнение.

— Да, да, да, снова встретил этого Дреггера. Он шел по набережной и разговаривал с доктором Хельмом.

— Кто такой доктор Хельм?

— Тоже немец... И лучше вам, синьор, не встречать его на своем пути.

— Почему так?

— Про доктора Хельма говорят много разного. Трудно сказать, что тут правда, что выдумка. Но вы ведь знаете, синьор, что дыма без огня не бывает.

— Что же он — колдун, прорицатель, алхимик?

— Хуже, мосье. Говорят, во время войны он работал доктором в немецком концлагере. А вы, наверное, знаете, чем они там занимались. Я лично ничего про доктора Хельма сказать не могу, но о его лечебнице ходят нехорошие слухи...

— Так у него частная лечебница?

— Я бы сказал — дом скорби, синьор.

— Дом скорби? — не понял Архипов.

— Домами скорби у нас в Италии называют сумасшедшие дома.

— Значит, доктор Хельм содержит частный сумасшедший дом? Что-то я не слыхал о таких.

— Нет, нет, синьор, у него просто небольшая лечебница. Но говорят, что люди, которые попадают туда, никогда не выходят обратно. Кому-то это, видимо, выгодно. Скажем, вам надоела ваша жена. У нее мигрени, нервные приступы... Знаете, как это бывает у женщин. Вы уговариваете ее показаться хорошему невропатологу, ведете ее к доктору Хельму и оставляете ее там... Или вам нравится наследство вашего дядюшки, который зажил на этом свете. Лучшего выхода, чем направить его к доктору Хельму, не придумать. Я все это, конечно, говорю по слухам. Народ, знаете, иногда болтает невесть что...

— Это все, что вы знаете о докторе Хельме?

— Говорят, что он проводит опыты над своими пациентами.

— Да... Характеристика, прямо скажем...

— Да уж куда лучше!

— Вы не знаете, где находится его лечебница?

— Нет, синьор, избавь меня, пресвятая дева. Не знаю и знать не хочу.

— Ну что ж, я думаю, разыскать ее будет не так уж сложно, — сказал Архипов и одним глотком допил оставшееся в бокале вино. — Спасибо, приятель, за рассказ, — начал было благодарить Сергей, но, взглянув на бармена, запнулся на полуслове.

На лице итальянца был написан испуг, а бутылка, из которой он пытался налить себе вина, мелко стучала о край рюмки.

— Вы думаете, что господин Картье?.. — прошептал бармен.

— Все может быть, все может быть, — повторил Архипов, пожимая итальянцу руку.

— Синьор! — остановил его бармен. — Все, что я вам рассказал, это между нами...

* * *

Машина, урча и чихая, взбиралась в гору: силенок ей явно не доставало. У Казимира от волнения на лбу выступил пот — не хватало еще, чтобы на подъеме заглох мотор. Сзади уже поджимали другие машины. Дорога была узкой, и за ними выстроился целый хвост.

Наконец дорога сломалась, пошла под уклон, и дядюшка Казимир, прижавшись к узенькому тротуару, остановился, чтобы перевести дух.

— На самую гору забрался доктор Хельм. К богу, что ли, поближе, — ворчал он.

После разговора в гостинице «Южный крест» Архипов и дядюшка Казимир заглянули в первое попавшееся почтовое отделение и без особого труда нашли в телефонном справочнике «Боттин» и телефон, и адрес лечебницы доктора Хельма. Припомнив, что газеты Лагранжа писали об Иве Картье, в особенности же по поводу его психики, Архипов подумал, что и в самом деле не исключено, что его упрятали в сумасшедший дом.

Лечебница доктора Хельма находилась за городом, к востоку от Марселя. Архипов и дядюшка Казимир плутали по пустынным улочкам дачного поселка. Спросить было не у кого. Дома, стоявшие в глубине участков, были обнесены решетками, на калитках красовались надписи «Злая собака», в одном месте была даже прикреплена табличка, оповещающая, что незваного гостя на участке ожидает огневая ловушка, могущая причинить увечье. Все это не располагало к общению. Несколько раз в конце улиц перед ними открывалось море. Оно находилось где-то внизу: дачный поселок располагался на оконечности вдававшегося в море мыса.

Наконец им попался маляр в забрызганном халате. Он катил перед собой тачку с банками и длинными мочальными

кистями. Этот маляр и подсказал им, как отыскать улицу Сезанна.

— Большой участок в конце тупика. На самом берегу, — сказал он, узнав, что приезжие разыскивают лечебницу доктора Хельма.

Когда, дойдя до поворота, Архипов оглянулся, маляр все еще стоял на месте и смотрел в их сторону.

Оставив машину в тени под сосной, Архипов и дядюшка Картье пошли в указанном направлении. Небольшие дачные участки по обе стороны улицы скоро кончились, и перед ними лежал пустырь с жесткой, высохшей травой. Часть этого пустыря, круто обрывавшегося в море, была обнесена забором, за которым виднелась плоская крыша невысокого строения. Архипов и старик подошли к забору, чтобы заглянуть во двор, но разглядеть ничего не удалось: вдоль забора были посажены густо разросшиеся кусты.

Забор построили таким образом, что ни снаружи, ни изнутри через него перелезть было невозможно — он чем-то напоминал ограды, которыми окружают военные объекты или тюремные бараки. Верхушка забора расходилась на манер рогатки и была затянута колючей проволокой.

— Да... лечебница, — протянул Архипов. — Больше похоже на тюрьму.

Старик подавленно молчал.

В одном месте кусты были чуть реже — один куст высох и его вырвали, чтобы заменить новым. Он еще валялся в стороне с унизианными шипами ветками. Здание, стоявшее в глубине участка (теперь они могли разглядеть его), выглядело мрачно. Это оказалось одноэтажное строение, чем-то похожее на казарму. Отдельно от него стоял небольшой уютный домик с высокой крышей и круглой башенкой, до самого верха которой добирался покрасневший к осени дикий виноград.

— Наверное, дом самого доктора. Смотри, как все ухожено. Верно, что немец...

В поисках входа старик и Архипов пошли вдоль забора. Но ни ворот, ни калитки они не нашли. Забор привел их к самому берегу. Когда Архипов и Картье подошли слишком близко к забору, их облаяли собаки. Собак за кустами не было видно, но, судя по сопению и хриплому лаю, псы были внушительных размеров.

— Не завидую я тем, кто живет в этом доме, — сказал Архипов.

— Лучше уж умереть под забором, чем в такой лечебнице, — согласился старик.

Им пришлось вернуться и пойти вдоль забора вправо. Должен же быть здесь какой-то вход!

Проходя мимо того места, где из зеленой загородки был вырван куст, они увидели человека, который возился около проема с лопатой.

— Проходите, проходите, нечего глазеть! — сердито закричал он на них.

— Не очень-то похож на садовника, — сказал старик. — Видели, какая у него рожа? Ему бы мясником работать...

Взгляд у «садовника», действительно, был тяжелый, настороженный. Рядом с ним сидел огромный пес — немецкая овчарка. Увидев за решеткой прохожих, собака глухо зарычала.

Пройдя еще метров двести, они набрали на калитку. Ни таблички, ни указателя обнаружить не удалось. Калитка была заперта изнутри. Единственное, что связывало внешний мир с обитателями дома, это кнопка электрического звонка. На нее-то и нажал Архипов.

Он звонил и звонил до тех пор, пока его настойчивость не начала кому-то действовать на нервы. Послышались шаги по гравии, и Сергей сделал знак старику отойти в сторону и спрятаться за деревом.

Подошедший долго разглядывал Архипова. Оценка, видимо, была не в его пользу, потому что калитку не открывали.

Сергея охватила злость. Это уж слишком! Что это — официально зарегистрированное лечебное учреждение или воровское гнездо? Почему они не отворяют посетителям?

— Мне, может быть, раздеться? — с издевкой спросил он. — Что-нибудь еще не разглядели?

В замке загремел ключ, и калитка чуть приоткрылась.

— Что мосье нужно? — спросил сухой женский голос.

Лица женщины в узкую щель разглядеть было нельзя, виден был только кусок белого халата.

— Оказывается, здесь есть женщины! — попробовал пошутить Архипов.

— Что мосье нужно? — еще строже и с нотками нетерпения проговорила дама в халате.

— Мне нужно видеть доктора Хельма.

— Вы условились о встрече?

— Я не предполагал, что для этого нужна сложная процедура.

— Доктор Хельм принимает только по предварительной записи.

— В таком случае — запишите меня.

— Запись производится по телефону.

— Мадам, я приехал специально из Перпиньяна, — сказал как можно ласковее Архипов, — у меня безвыходное положение...

Женщина за калиткой молчала.

— ...Поймите же, из-за пустяковой формальности я могу потерять целый день.

Молчание продолжалось.

— ...Я в отчаянии, может быть, нужно срочное вмешательство...

— Что у вас? — спросили наконец за решеткой.

— Странный случай... Совершенно здоровый человек (речь идет о моем дяде), директор фирмы — и вдруг такое... Он стал невменяем...

— Доктора Хельма все равно сейчас нет. А я вам ничем помочь не могу. К тому же у нас нет свободных мест: два дня назад была занята последняя комната.

— Мне все же хотелось бы встретиться с доктором, — настаивал Архипов.

— Ничем не могу помочь. Он назначает свидания лично и только по телефону. Попробуйте! Он вернется часа через два.

Снова щелкнул замок, послышались удаляющиеся шаги, и все смолкло. Дело оказалось сложнее, чем предполагал Архипов.

Встреча с Хельмом, во время которой он хотел как-то выяснить ситуацию, не состоялась, на территорию лечебницы проникнуть не удалось. Правда, упоминание о том, что два дня назад в лечебницу принят новый пациент, представляло определенный интерес. Но как уточнить, в самом ли деле это Картье?

Дорога назад показалась короче. Под горку машина бежала легко, мелькали дачные домики, палисады, потом пошли маленькие пыльные домики марсельского предместья, узкие улочки с веревками, на которых сушилось белье. Мальчишки гоняли по мостовой мяч.

На сердце у Архипова было тяжело. Перед глазами все еще были забор с колючей проволокой, серый больничный корпус, свирепая физиономия садовника. С думами о Картье переплетались мысли о собственных делах, о доме. Как там со здоровьем у отца? Последние письма из дому Архипову не нравились. Старик сроду не жаловался на здоровье, и если недомогал, то всячески скрывал это. И вдруг в последнем письме мать написала, что у отца что-то с сердцем. Уговаривала его

сходить к врачу. Отец в последний приезд в отпуск казался Архипову непривычно тихим, молчаливым. Вспомнился его взгляд, когда он спрашивал, когда же его ждать совсем домой. Не надоело ли за границей? «Пора, пора», — думал Архипов.

Ему вдруг представился пушистый снег, занесенные трамвайные пути под самыми окнами, старая дворничиха тетя Катя, которой они, ватага ребят, в детстве помогали очищать маленький, застроенный сараями дворик. К середине зимы во дворе вырастали огромные белые сугробы, мальчишки в них рыли пещеры.

«Однако куда же мы едем?» — подумал Архипов, стряхивая с себя воспоминания детства.

— Куда это мы? — спросил он.

— Как — куда? — удивился старик. — Обедать. Самое время. А вот и мой дом. Приехали...

* * *

Эта мысль пришла Архипову в голову во время обеда у дядюшки Картье.

— У вас есть телефон? — спросил он.

Телефона у стариков не было, и Архипову пришлось разыскивать телефонную будку. Он несколько раз попадал не туда. Наконец на другом конце провода женский голос проговорил:

— Приемная доктора Хельма.

— Дайте-ка мне Ганса, — фамильярно бросил Архипов. Но секретаршу Хельма провести было не так просто.

— Кто его спрашивает? — осведомилась она сухо.

— Скажите, что звонит Дреггер.

— Хорошо, мосье. — Тон секретарши стал значительно учтивее: имя Дреггера было ей, очевидно, знакомо. — Одну минуту, мосье, доктор Хельм сейчас подойдет.

В трубке установилась тишина, и Архипову живо представился пустынный, освещенный скучным больничным светом коридор клиники доктора Хельма, двери по бокам и тишина, зловещая тишина дома скорби.

В трубке щелкнуло, и мужской голос спросил по-немецки:

— Это ты, Карл? В чем дело?

Расчет Архипова оказался верным. Ганс Хельм не мог отказать себе в удовольствии поговорить с соотечественником

на родном языке. Теперь Архипову надо было продержаться всего несколько секунд и не выдать себя акцентом. По-немецки Архипов говорил вполне прилично, подводил только акцент. Вся надежда была на то, что по телефону это будет не так заметно.

— Лагранж немного нервничает... Журналисты уже пронюхали об исчезновении Картье. Просил узнать, как он, не поддается?

— Ты слишком скор, мой друг. Раньше чем через пару дней... Алло? Алло? Куда ты пропал?

Но Архипов уже повесил трубку. Затягивать разговор было опасно, да и ни к чему. Главное он узнал. Сомнения отпали: Картье в руках доктора Хельма, и, судя по тому, что рассказал ему о лечебнице бармен из «Южного креста», можно было ждать самого худшего. Действовать надо было очень быстро.

«Рядом пустырь, море, — вспомнил Архипов. — Нет, тут нужны радикальные меры, самые радикальные...» Но что они могут сделать вдвоем со стариком? Чтобы вызволить Картье, нужны иные люди...

Не дожидаясь утра, Архипов отправился на розыски Милевича...

* * *

К вечеру с моря подул ветер и нагнал туман. Исчезли купола церквей, растаяла золотая фигура девы Марии на шпигеле Нотр дам де ла Гард, поблекли огни на мачтах. На рейде беспокойно кричали пароходы. «В такую пору хорошо контрабандистам», — подумал Архипов, подходя к старому порту.

Огни портовых ресторанчиков светили тускло, и это придавало порту сказочный вид. Запах жареных сардин смешивался с запахом моря. С деревянных тележек продавали устриц и молодое вино. В свете газовых ламп устрицы казались очень аппетитными, и Архипов не удержался. Продавец высыпал из корзины горку мокрых, смешанных с водорослями моллюсков и, ловко орудуя ножом, стал открывать. Сок внутри был прозрачный, а не перебродившее, похожее на яблочный сидр, вино было немного мутным.

Подошел какой-то старик и попросил у Архипова сигарету. Затянувшись, он спросил у Сергея, не угостит ли он его еще и стаканчиком вина. Архипов велел продавцу налить, и они стоя-

ли рядом с ним, молча пили вино и смотрели на море, где в тумане вспыхивало и гасло белесое пятно маячной фары.

— Приезжий? — спросил старик-бродяга. Он без стеснения взял из-под руки Архипова устрицу и жадно проглотил.

— Ищу одного человека... — делая вид, что ничего не замечает, сказал Архипов.

— Хм... Человека, да еще одного, в Марселе найти не просто, — ответил бродяга и вновь подхватил корявыми пальцами моллюска.

В словах Архипова он уловил нечто, обещающее заработок. Глаза его оживились, и он с ожиданием смотрел на Сергея.

— Он здесь недавно. Я договорился с ним встретиться утром, но он мне нужен сейчас.

— Кто это?

— Югослав, зовут его Коста Милевич. Утром я его видел на причале возле баркаса. Назывался он, кажется, «Дрина».

— Так это, должно быть, Цыган! — оживился молчавший до сих пор продавец. — Он в самом деле здесь недавно. Я его знаю. Заметный человек...

«Вот ведь как бывает, — подумал с удивлением Архипов, — жил человек в Париже столько лет, никто о нем не слышал, а кто знал, так хорошего слова сказать не мог. Пылится человек в жизни. А тут, поди-ка... Всего неделю, а уж ему и прозвище готово, и человек он, видите ли, «заметный».

— А, Цыган! Как же, знаю, — воскликнул бродяга. — Он меня пивом угощал. Стефан с «Дрины» к себе его взял. О, Стефан известный человек... Проводить, что ль? — спросил старик, но почему-то не у Архипова, а у продавца устриц.

— Ты меня не вмешивай, — вдруг рассердился продавец. — У тебя своя голова. Давай, давай отсюда. — И он легонько оттолкнул бродягу от тележки. — Не хватало мне еще забот...

Старик прихватил с тележки пару нераскрытых устриц и ушел в туман.

Архипов расплатился, допил вино и, не торопясь, пошел в ту сторону, куда минуту назад скрылся бродяга.

«Что это за Стефан, о котором говорил портовый бродяга? «Известный человек». Кто же он? Контрабандист? Рыбак? Или то и другое вместе?»

Репутация Марселя была известна Сергею. Здесь сходились нити многих тайных интриг, связанных с торговлей наркотиками, липовыми документами, оружием. Это был центр вербовки проституток для публичных домов Западной Германии, через Марсель во Францию ввозили «массажисток» из Таилан-

да. Нити преступных сетей, сплетенных местной мафией, тянулись отсюда в Италию и через океан к самому сердцу далекой Америки. Здесь начинались многие дела и сводились многие счета.

— Ну так что, хозяин, пойдешь к Стефану?

Неожиданно вынырнувший из тумана бродяга дернул Архипова за рукав.

— А далеко? — все еще не решаясь следовать за нищим, спросил Архипов.

— Далеко, близко — увидишь. Твое дело — идти, мое — показывать. Или боишься? Зачем тогда разговор заводил? В Марселе этого не любят! У нас здесь так: сказано — сделано. Идешь?

— Пошли... — без энтузиазма отозвался Архипов.

Они пересекли площадь перед старым портом и углубились в сеть узких, мокрых от осевшего тумана переулков, круто взбегавших вверх.

Улочки были без тротуаров, с каменными желобами возле домов. У подъездов под выносными лампами на корточках сидели люди и играли в карты. Архипова они провожали долгим, оценивающим взглядом.

В окнах подвалов в приглушенном свете мелькали тени. На углах домов стояли, словно изваяния, молодые люди с приклеенной к губе сигаретой. Заунывно текла арабская музыка. Пахло керосином, горелой рыбой, луком.

Они остановились возле щели между двумя домами, и старик, сделав Архипову знак подождать, исчез в темноте.

Ждать пришлось долго. Архипов, чтобы оглядеться, сделал несколько шагов в сторону и тут же услышал, как в доме напротив кто-то предупредительно кашлянул. От неожиданности Сергей вздрогнул. Оглянувшись, он увидел в окне старуху. Что-то странное было в ее облике. Старуха сидела, словно в витрине, ноги ее были обмотаны грязными бинтами, драный плед прикрывал плечи. Больше всего Архипова поразила маленькая фетровая шапочка с пестрым фазаньим перышком, которая каким-то чудом держалась на взбитых волосах старухи. Глаза ее были безумны. Старуха шевелила запавшим ртом и, казалось, порывалась что-то сказать, но вместо слов исторгались лишь пугающие, неясные звуки.

Наконец в глубине проулка мелькнул огонек, послышались легкие шаги, и какой-то парень, бесцеремонно осветив лицо Архипова карманным фонариком, спросил:

— Вы ищете Цыгана?

— Мне нужен Коста Милевич.

— Хорошо, идите за мной, — сказал парень и, подсвечивая дорогу, пошел вперед.

В проеме было сыро, и слышалось, как где-то булькает вода. Прямо над головой кричали мужчина и женщина, они ссорились. Потом послышался грохот — словно на пол уронили какой-то предмет.

— Эй, там, кончайте! Надоело!.. — крикнул неизвестно кому провожатый.

Шум мгновенно умолк, но едва Архипов и шедший впереди парень сделали несколько шагов, как все началось снова.

— Полгода оба без работы, вот и психуют... — счел нужным пояснить парень и пнул ногой дверь, из щелей которой сочился свет.

Архипов невольно зажмурился — такой яркой после темноты показалась ему лампочка, висевшая на проводе.

В просторной, с голыми стенами, комнате оказалось довольно много народу. Похоже, здесь было что-то вроде дешевого кабака, но при входе Сергей не заметил никакой вывески. В углу в небольшой печи пылал огонь, и человек в застиранной рубашке навывпуск деревянной лопатой сажал на под плоские мучные лепешки, посыпанные сверху сыром и рублеными помидорами. Пахло подгорелым тестом и дымом.

На Архипова никто не обратил внимания.

— Идите в угол, справа, — подсказал парень и юркнул куда-то в сторону.

Старик-проводной уже сидел за столом и уплетал кусок пиццы.

Архипов прошел к указанному столику. За ним сидели четверо. Они мало чем отличались от других посетителей обжорки. На одном из них был потрепанный пиджак с узкими помятыми лацканами и клетчатая рубашка. На шее Архипов заметил тонкую цепочку с каким-то амулетом.

Чуть приподнявшись, этот человек указал Архипову на свободный табурет и сказал:

— Коста сейчас придет. Он мне говорил о вас.

Остальные, судя по виду — итальянцы, смотрели на Архипова с любопытством.

— Ну, поглядели — и хватит, — дружелюбно и вместе с тем грубовато сказал им тот, что был постарше.

«Может быть, это и есть Стефан?» — подумал Архипов.

Это был крупный смуглый мужчина с большими кудрявыми бакенбардами, занимавшими добрую часть лица, и маленькими цепкими глазками.

— Это мои друзья из Италии, — сказал он, указывая на сидящих за столом. — А вы легки на помине. Я только что рассказывал им, со слов Милевича, о вашем расследовании. Не могли бы вы немного рассказать об этом моим друзьям?

Видимо, на лице Архипова изобразилось удивление столь неожиданным началом разговора, потому что человек с бакенбардами счел необходимым добавить:

— Да вы не удивляйтесь... Я вам все объясню. Известный вам господин Лагранж... Кстати, с чего вы на него ополчились? Он что, у вас невесту украл? — спросил он со смехом и метнул взгляд в сторону итальянцев. Было похоже, что он задал этот вопрос скорее для них.

— У меня есть для этого основания, — неторопливо проговорил Архипов. — Господин Лагранж во время войны вступил добровольцем в армию Гитлера и воевал под Харьковом. В отличие от местных господ, я считаю, что счет никогда не поздно предъявить к оплате...

Итальянцы, видимо, не очень хорошо понимали по-французски, и человек с бакенбардами начал им переводить.

— Ah, conosco, grazie... — закивали итальянцы и громко заговорили между собой.

— Molto bene, compagno, — сказал один из них и протянул Архипову руку.

— Так вот, известный вам господин Лагранж, — снова заговорил человек с бакенбардами, — успел наследить и в Италии. Скорее всего, он попал туда после России. В местечке Бовес в Италии... Я правильно называю? — переспросил он у итальянцев.

— Vero, vero, — закивали они.

— ...В местечке Бовес, где стояла дивизия, в которой служил некто Фрёунд, по приказу этого Фрёунда был сожжен весь поселок, а жители расстреляны. Среди них — родители этих двух итальянцев. Спаслись лишь несколько человек. Тридцать лет жители Бовеса разыскивали следы господина Фрёунда и только недавно из статьи в газете «Юманите» узнали о том, что Фрёунд и Робер Лагранж — одно и то же лицо. Теперь вы понимаете, зачем эти ребята здесь?

— Они что же, приехали требовать от французских властей выдачи Лагранжа? — спросил Архипов.

— Боюсь, что нет, — со смехом ответил человек с бакенбардами. — Пока они будут требовать выдачи, а судьи гадать да рядить — господин Лагранж сумеет смыться или в Западную Германию, или в Латинскую Америку, а уж оттуда его и подавно не выудишь. Понимаете? — со значением спросил он.

Дело прояснялось. Похоже, что Робера Лагранжа ждет небольшой сюрприз. Непонятна была роль человека с бакенбардами. Что понуждало его принять участие в замышляемом деле? Деньги? Едва ли эти двое итальянцев могли предложить ему что-нибудь существенное.

— Кажется, начинаю понимать... — проговорил Архипов. — Не ясно только...

— Что?

— Что движет итальянцами, мне понятно, но... но вы ведь, кажется, тоже в деле...

— Ах, вот вы о чем! — рассмеялся собеседник. — Для меня, если хотите, это дорогие воспоминания молодости... Сам я политикой не занимаюсь. Когда-то, каюсь, грешил, а потом... Ну ее к черту, все равно я в ней ничего не понимаю. Мое дело — ловить рыбу... Но когда-то, когда я был помоложе, я думал по-другому. Война застала меня в Италии, там я и партизанил. Теперь понимаете, почему мне очень симпатичны эти молодые ребята, хотя я и пытался отговорить их от этой затеи. Сядет Лагранж за решетку или нет... Что это изменит? Но разве переубедишь их? Да я их и понимаю: их дело — святое дело. А! Вот и Коста! — воскликнул он, увидев входящего в комнату Милевича.

Человек с бакенбардами встал из-за стола, прошел в закуток за печь и вернулся с большой оплетенной бутылкой вина.

— За удачу! — сказал он, наливая всем по стакану...

Ушел Архипов из рыбацкого кабачка лишь поздно ночью. Собой он был на этот раз доволен: когда он рассказал о единоборстве Ива Картье с Лагранжем и о том, в какую ловушку заманил его бывший каратель, ныне газетный король, человек с бакенбардами обещал, что попробует найти способ помочь Иву Картье. Что это за способ, он уточнять не стал.

* * *

Картье пришел в себя уже в изоляторе клиники доктора Хельма. Однако сам Ив об этом не подозревал. Прежде всего потому, что никогда не слышал о ее существовании. Очнувшись и с трудом вспомнив, что произошло у Лагранжа, он решил, что находится по-прежнему на его вилле, в какой-нибудь заброшенной комнате. Но чем больше он вглядывался в свое новое обиталище, тем сильнее сомневался в этом.

По репортерским делам Картье не раз приходилось бывать в тюрьмах, и он подумал, что комната весьма напоминает тюремную камеру. «А почему бы и нет? Очень просто могли посадить и в тюрьму. Чего проще, если у господина Лагранжа комиссар в друзьях», — подумал он.

Однако для тюрьмы здесь было слишком чисто. И стены без окон, и потолок, и дверь, и даже пластиковый пол — все это было девственно белого цвета, вымыто и едва уловимо пахло хлоркой. Лампа под белым эмалированным отражателем так сияла, что комната блестела, как снег в горах. Воздух был тоже свеж, он подавался через отдушину под самым потолком, забранную крашеной белой сеткой.

В двери — глазок. Кровать была прикреплена к стене и полу.

Эта привинченная к полу кровать и решила все сомнения. Самое удивительное было то, что, поняв, что попал в сумасшедший дом, Картье не почувствовал ни возмущения, ни гнева. Им овладело какое-то безразличие, и даже мимолетное воспоминание о досье и разоблачительном скандале, на который он рассчитывал и который еще день назад занимал его ум и воображение, не тронуло его. Оно промелькнуло, как легкое облачко на фоне огромного неба, и тут же растаяло. «Скорее всего, мне сделали успокаивающий укол», — подумал он. Но и эта мысль не расшевелила его, а лишь наполнила сердце какой-то незнакомой прежде тоской и ожиданием. Станным было именно это, неизвестно откуда взявшееся чувство ожидания. Словно он ждал чьего-то прихода и с этим приходом было связано что-то существенное и необходимое. Но что — понять он не мог.

Чем больше сидел он в одиночестве, тем сильнее становилось это чувство. Потом оно перешло в страх, что весь остаток жизни, представлявшейся теперь Картье совершенно ненужной и даже обременительной, ему придется провести в полном одиночестве в этой странной комнате. Единственным его желанием было теперь, чтобы кто-нибудь пришел.

Сколько длилось ожидание — Ив не мог представить, потому что над ним все так же ярко светила лампа, а снаружи не проникало никакого шума. Когда же за дверью, наконец, послышались шаги и щелкнул замок, у Картье так радостно и больно забилося сердце, словно он ждал прихода любимого человека.

На пороге стояла средних лет женщина в белом халате. Картье хотел встать навстречу вошедшей и сделал движение, чтобы приподняться с постели, но у него, к удивлению, ниче-

го не вышло, ноги не слушались, а руки, когда он хотел на них опереться, бессильно задрожали и сломались в локтях. Он слабо улыбнулся, как бы стесняясь своей немощи и извиняясь за нее. Движение его руки (он нашел силы протянуть ее навстречу женщине) было жалким. Рука задрожала и упала на колени, он заплакал тихими слезами. Лицо вошедшей женщины расплылось в этих слезах и превратилось в бледно-розовое облако. Картье вздрогнул, почувствовав короткую колющую боль, затем — тяжесть в теле, он опустил щекой на постель и уснул.

Так повторялось несколько раз с той только разницей, что, приходя в себя и опять попадая во власть ожидания, Картье уже знал, чего он ждет, и уже не плакал, увидев женщину, а послушно поднимал рукав просторной рубахи и пристально, с детской восторженной улыбкой смотрел, как играют веселые блики на никелированной поверхности шприца.

...Картье не знал счета ни дням, ни часам, ни минутам, и, если кто-нибудь пришел бы и сказал ему, что он провел в одиночестве год или даже два, он, наверное, поверил бы этому. Ив не знал, что после уколов в комнату к нему входил маленький человек с неподвижными глазами и запрокинутым назад, будто стесанным лбом. Человек брал Картье за руку, изучал пульс, раздвинув веки, смотрел на глазное яблоко пациента, а потом, достав из кармана какой-то инструмент, похожий на металлический карандаш, но с острой иглой вместо грифеля, покалывал Картье, наблюдая при этом за реакцией зрачков.

С сестрой этот человек не разговаривал, но смотрел на нее очень строго, будто был ею недоволен, и она съеживалась от этого взгляда. Когда доктор Хельм (а это был он) уходил, сестра разжимала плоской металлической ложечкой зубы Картье и вливала ему в рот одну или две ампулы какой-то жидкости. Жидкость эта, проходя по горлу, вызывала конвульсивное подергивание адамова яблока и усиленное движение грудной клетки, будто пациенту вдруг перестало хватать воздуха. Если бы в этот момент кто-нибудь посторонний заглянул в изолятор, то был бы удивлен не столько состоянием больного, сколько реакцией сиделки: лицо ее выражало надменную гордость и восторг. Такое выражение можно увидеть на лицах ничтожных и жалких созданий, обреченных долгие годы сносить унижения от других и получивших вдруг право распоряжаться судьбой и жизнью более сильных людей.

Сиделка оставалась в комнате до тех пор, пока Картье не затихал. С последним движением пациента ее глаза гасли, и лицо, выражавшее минуту назад горячий восторг, вновь

принимало скучное выражение. Уходила она медленно, шаркая ногами... А пациенту казалось, что он летит в бесконечную, страшную пропасть...

* * *

Ветер дул с материка. Он был влажным и нес с собой запахи готовящейся к зиме земли. В припортовых улочках уже стемнело, в окнах мерцали огоньки, но небо еще держало последние цвета заката, и звезды не спешили: только одна яркая звезда горела над морем и с любопытством поглядывала на закипавшую в порту ночную жизнь. Дым от жаровен, на которых трещала рыба, поднимался высоко и в самом верху превращался в маленькие темно-лиловые облачка. Редкие чайки носились над черной водой, и крики их были торжественными, как колокольный звон. Но скоро и они утихли, и только слышно было, как скрипела полузатонувшая баржа у входа в порт.

Когда небо погасло совсем и не стало видно ни мачт, ни причалов, а были только черные расплывшиеся тени, мимо старой баржи в сторону темнеющей громады острова Иф одна за другой прошли две лодки. Вдали от берега рыбаки запустили моторы, и лодки, оставляя за собой серебристые кружева, направились в открытое море.

Если бы кто поинтересовался, что находится в лодках, то не обнаружил бы ничего предосудительного. Сеть, бочонок с водой, бут ворсистой веревки, фонарь: рыбаки вышли в море для ночного лова. Некоторое удивление могла бы вызвать лишь веревочная лестница, спрятанная под настил одной из лодок...

Оставив за спиной замок Иф, лодки круто повернули влево и двинулись вдоль берега... Пройдя еще около пяти-шести миль, они разошлись. Одна из лодок взяла к берегу, а другая продолжала идти прежним курсом. В этой лодке находилось пятеро: человек с бакенбардами, которого все называли Стефаном, старик Картье, Милевич и двое итальянцев. Все молчали. Собственно, говорить было не о чем: детали были оговорены; днем они уже выходили в море, чтобы при свете уточнить расстояние, место, ориентиры. Теперь оставалось только ждать условленного времени.

Небо было таким же глубоким и черным, как море, и нельзя было понять, где кончается одно и начинается другое. Лодка будто пробиралась среди медленно расступающихся звезд.

— Жюльен уже на месте, — неожиданно прервал молчание старик Картье и показал в сторону, где должен быть берег. Там, едва заметный, дрожал красноватый огонек.

Лодка быстро пошла к берегу. Выключили мотор и взяли за весла. Плеска воды почти не было слышно. Свет красноватой звезды становился все ярче, и теперь было ясно, что светит фонарь. Наплыли очертания высокого берега.

Лодка шаркнула днищем о гальку и остановилась. Когда ее подтянули, Милевич пошел вперед к круто идущему вверх каменистому срезу берега, и несколько минут его не было видно. Слышался лишь хруст ракушек под его башмаками.

— Здесь, — послышалось из темноты, и все двинулись на голос.

— Давайте лестницу, — скомандовал Милевич.

Он привязал конец лестницы к веревке, и она тотчас поплыла вверх.

— Готово! — сказал итальянец. — Лестница укреплена. Полезли...

* * *

— Все в порядке, — тихо сказал Жюльен.

Внизу чуть слышно плескалось море.

— Собаки? — спросил Милевич.

— Они съели свой кусок и больше не проснутся.

Пригибаясь, все двинулись к дому. Через несколько шагов Милевич споткнулся обо что-то мягкое и чуть не упал.

— Немецкая овчарка, — шепнул Жюльен, поддерживая его под руку. В темноте труп собаки казался огромным.

— Сколько их было?

— Три...

План состоял в том, чтобы, вырезав одно из стекол, проникнуть в дом, нейтрализовать охрану, которая, по наблюдениям, состояла из четырех человек, и вызволить Картье.

— Начнем? — прошептал Милевич.

Он вытащил из кармана алмазный стеклорез и, приклеив специально приготовленную картонку, стал резать стекло. Потом, придерживая за приклеенный картон, он надавил на верхнюю часть стекла, и оно тихо хрустнуло, но не упало. Вместе с картоном Милевич вытащил его наружу и передал одному из итальянцев. Милевич все еще что-то возился возле окна.

— Ничего не понимаю... Чертовщина какая-то... — выругался югослав. — Здесь за окном стена.

— Какая стена? — не понял Стефан.

— Посмотри сам.

Контрабандист сунулся в окно и тут же натолкнулся на шершавую стену. Милевич на секунду включил фонарик и осветил оконный проем. За рамой была глухая бетонная стена со следами опалубки. Из нее торчал кусок провода с лампочкой. Так вот оно в чем дело... И окно, и свет в окне — все это было фальшивым и служило лишь маскировкой. Решили попробовать еще одно окно — с другой стороны дома, но и там их ждало разочарование — за стеклом снова оказалась глухая стена. Тщательно разработанный план оказался негодным. Надо было все менять на месте.

Единственным способом проникнуть в здание теперь — это попытаться открыть дверь. Но как? Если владельцы клиники прибегли к столь изощренному камуфляжу, можно было не сомневаться, что дверь снабжена надежными запорами. Открыть ее и не привлечь внимания охранников невозможно. Нужна какая-то хитрость, какой-то ловкий ход. Какой?

Ясно было и то, что откладывать операцию нельзя: утром неминуемо будут найдены трупы отравленных собак, и это всполошит доктора Хельма. Необходимо действовать этой же ночью, сейчас, немедленно...

— Надо придумать что-нибудь такое, чтобы они сами открыли дверь и чтобы при этом у них не возникло никакого подозрения. Это единственный выход, — сказал Стефан.

Все долго молчали.

— Поставим себя на место охранников. Мы в доме за крепкими стенами, мы ничего не подозреваем, нам ничто не грозит: знаем, что на участке три огромных пса... Я думаю, скорее всего, они спят... Может быть, дежурит кто... — размышлял контрабандист.

— Если создать какой-нибудь шум около двери... — сказал один из итальянцев.

— Это не годится. Они сразу же поймут, что около дома — чужие. Тут нужно что-то такое, чтобы они не сомневались... Что-то очень привычное... — проговорил Милевич.

— ...как лай собак, — вставил Стефан, услышав, что где-то вдалеке занялся пес.

— Да, да, лай собак, — повторил Милевич и тут же схватил Стефана за руку. — А ведь это идея! Лай собаки... Если они услышат лай... им захочется узнать, в чем дело. И вместе с тем это так обыденно, привычно...

— Но где ее взять, собаку?

— Это не беда. Это можно попробовать... Уж если человек умеет говорить, то лаять как-нибудь сможет...

Милевич приложил ладони рупором ко рту и, набрав воздуха, выдохнул его с привыванием, подражая лаю собаки.

— Похоже? — спросил он.

— Что-то есть.

— У овчарки голос глуше, — сказал Стефан.

— Глуше тоже можно, — согласился Милевич. — Давай-ка на всякий случай изготовимся: вдруг и в самом деле клюнет.

Итальянцы, воспринявшие вначале затею с собачьим лаем как шутку, вдруг стали серьезны. Подойдя к крыльцу, они встали один возле двери, другой сбоку ступенек таким образом, чтобы в случае, если дверь откроется, их нельзя было увидеть. Стефан спрятался с другой стороны крыльца. Теперь оставалось надеяться на удачу и на способности Милевича.

— Готовы? — шепотом спросил югослав. Ему никто не ответил. — Ну, с богом...

Он отошел за ближайший куст и через минуту оттуда донесся глухой хрипловатый лай: Коста старался изо всех сил.

Милевич повторял лай несколько раз, но из дома по-прежнему не доносилось ни звука.

— Оглохли они там, что ли? — пробурчал, подходя к Стефану югослав. — Громче я не могу. И так горло дерет.

Он снова сложил руки рупором и на этот раз залаял уже около самых ступенек. И снова была тишина. Наконец в доме послышался какой-то звук, будто хлопнула дверь. Милевич мгновенно отскочил в кусты и с подвоем залаял оттуда.

Теперь было совершенно ясно, что лай услышан и в доме проснулись. Уже различимы были шаги, скрип дверей и потом металлическое бряцание ключа в запоре.

На улицу вытекла жидкая полоска света. Человек в накинутой на плечи пижаме вышел на площадку. В руке у него было ружье. Впрочем, судя по недовольной, заспанной физиономии, он был скорее раздосадован, что его разбудили, чем обеспокоен.

Не увидев собак, человек удивился. Он зажег фонарь и шаркнул лучем света по кустам. В этот самый момент итальянец, стоявший у косяка, резко толкнул дверь, и человек в пижаме от неожиданного и сильного удара в бок не удержался на ногах и полетел с площадки вниз. Здесь его принял другой итальянец. Не успев вскрикнуть, упавший почувствовал под подбородком холодное прикосновение стали.

Подскочившие Стефан и Милевич засунули ему в рот кляп и, связав, оттащили за угол дома. Человек оказался на редкость тяжелым...

В коридоре был полумрак — в противоположных крыльях горели лишь два голубоватых плафона, придававших и без того скучному помещению мрачный и тревожный вид. Несколько дверей выходило в коридор. За которой из них опасность?

— Двое — налево, двое — направо, — скомандовал Стефан.

Первые три двери, в которые ткнулся Милевич, оказались закрытыми. Зато у четвертой его ждал сюрприз. Навалившись на нее плечом (дверь оказалась незапертой), он влетел в комнату и застыл от изумления: перед зеркалом на низеньком табурете сидела женщина в легком пеньюаре. Перед ней стояла начатая бутылка виски. Увидев человека, женщина вскрикнула и уронила на пол маленький блестящий шприц.

— Как вы сюда попали?

— Это неважно. Где вы держите Картье? — резко спросил Коста.

В глазах женщины мелькнул испуг.

— Где ключи от камеры Картье?

Женщина, словно ее ударили кнутом, вскочила и вдруг во весь голос закричала. Это было так неожиданно, что Милевич растерялся. Он не привык к грубости в обращении с женщиной, однако надо было что-то делать. Они пришли сюда совсем не для того, чтобы играть в галантность. Коста сделал шаг вперед, но женщина с испугом отскочила в угол и истерично закричала вновь. В коридоре уже слышался шум. Кто-то вскрикнул, что-то грохнулось об пол.

— А пошла ты к черту! — по-югославски в сердцах крикнул Коста и бросился вон из комнаты.

Едва он выскочил за дверь, как кто-то резко ударил его по голове. К счастью, удар скользнул по уху. Несмотря на резкую боль, Коста удержался на ногах. Отскочив в сторону, он увидел перед собой огромного волосатого типа в трусах с пистолетом в руке. Милевич резко пригнулся и сделал рывок вперед. В это же самое мгновение над его головой хлопнул выстрел.

Видимо, Коста угодил головой в солнечное сплетение волосатому, тот крякнул, выронил пистолет и упал, хватаясь руками за живот. Милевич, оглянувшись, успел заметить, что в другом конце коридора тоже была свалка: слышались вскрики, сопение.

Упавший, видимо, был неплохо тренирован, потому что, едва Коста замахнулся, чтобы хватить его в челюсть, тот резко

откинулся назад, выкинул ноги, и югослав получил сильнейший удар в грудь. Отлетев к стене, он сильно ударился затылком, и все перед ним потемнело. Крепкие руки схватили его за горло. Коста попытался вырваться, но волосатый сдавливал горло все сильнее и сильнее. На последнем дыхании Коста попытался ударить его коленом, но не смог... «Конец», — подумал он.

Но в этот миг в коридоре вдруг вспыхнул свет, и Коста почувствовал, как ослабли сжимавшие его горло пальцы. Он еще не понимал, что произошло: увидел, словно в тумане, как тяжело осел назад волосатый охранник, руку Стефана, сжимавшую нож, рукояткой которого он, видимо, ударил охранника по голове.

Подошел итальянец с рассеченной бровью. Когда Милевичу помогли встать, он увидел в противоположном конце коридора распластанные на полу фигуры охранников с заломленными назад руками.

— Там еще женщина в комнате, — сказал он, показывая на дверь. — Закройте ее.

— Где ключи? — тряс Милевич очнувшегося волосатого охранника.

— Nicht verstehen, — тупо, ворочая глазами, ответил тот.

— Да он немец! — с удивлением воскликнул Стефан.

— Где ключи? — спросил он по-немецки, а итальянец для убедительности приставил к затылку охранника подобранный с пола пистолет.

Через несколько минут все двери были открыты. Кроме Картье, в клинике находилось еще четверо. Кто они, почему находятся здесь — никто из них сказать не смог. Им с трудом объяснили, что они свободны. Большого сделать для них было невозможно. Надо было спешить. Их могли услышать — особенно выстрел из пистолета.

Картье они нашли в изоляторе без сознания, распластанным на полу. Его пришлось нести на руках и потом, обвязав веревкой, спускать вниз. Увидев Ива, старик Картье заплакал и, подняв вверх кулаки, молча погрозил силуэту особняка доктора Хельма.

* * *

Когда лодка снова ушла в ночь, звезды на черном небе были такие же ясные, и только слегка изменившийся их рисунок говорил о том, что время не стояло на месте.

Выйдя на глубину, запустили мотор. Лодка, слегка кланяясь небольшим волнам, пошла в море.

Видимо, качка подействовала на Картье: ему стало плохо. Он впал в беспокойство и, вглядываясь в растворявшийся в ночи силуэт виллы Лагранжа, медленно проплывавший мимо, бормотал слова бессвязные и непонятные. Ива начало тошнить, и старик бережно придерживал его у борта, чтобы он не опрокинулся в море. Потом Картье затих и неподвижно лежал с закрытыми глазами.

В нескольких милях от берега лодка остановилась, и старик зажег на корме фонарь.

Море мерно раскачивало лодку. Волны были длинные, с гладкими черными спинами, и когда лодка уходила вниз, то в черном зеркале волны отражались звезды и казалось, что не только небо, но и море усыпано созвездиями.

Справа по борту замерцал огонек. Он приближался, то исчезая в волнах, то вспыхивая между звезд. Милевич несколько раз мигнул фонарем. На другой лодке ответили, и через несколько минут оба суденышка уже качались друг возле друга.

— Как дела? — спросили с подошедшей лодки по-итальянски.

— У нас в порядке. А как вы?

— Напрасно прокатились: Лагранж с виллы улизнул. Видимо, что-то заподозрил.

Прощание было коротким: медлить было нельзя — о непрошеном визите на виллу Лагранжа, возможно, уже успели сообщить полиции.

Итальянцы бережно, насколько позволяла качка, перетащили Ива Картье в свой баркас.

— Arrivederci! — крикнули итальянцы.

— Bon voyage, — отозвался Милевич.

Закипела вода за кормой, и баркас с итальянцами и Ивом Картье, оседая на корму, взял курс на юго-восток, к итальянскому берегу. Через минуту он исчез в темноте.

* * *

Архипов не почувствовал, как заснул. Стук колес и редкое мелькание придорожных огней убаюкали его уже глубокой ночью. Если бы не кончились сигареты, он, наверное, проработал бы с досье Картье всю ночь.

Последние дни перед отъездом в отпуск были наполнены невероятной суетой. Надо было срочно закончить несколько

давно начатых статей, написать обещанный репортаж о затянувшейся забастовке парижских печатников, разделаться с массой мелких и совершенно неотложных дел, которые, как лавина, наваливаются на человека перед отпуском.

Об освобождении Ива Картье из «клиники» доктора Хельма Сергей узнал на следующий день из марсельских газет. Он догадывался, что старик Картье, провожавший его в обратную дорогу, знает много больше, чем газеты, но тот молчал и только хитро улыбался. Перед тем как проститься, старик передал ему зеленую папку с металлическими уголками.

— Ив просил отдать это вам, — пояснил он.

Это было то самое досье Ива Картье, о котором тот упомянул как-то при встрече.

Перед отъездом в отпуск Архипов успел лишь мельком посмотреть досье Ива, но и этого было достаточно, чтобы понять, какие важные материалы о деятельности неофашистов удалось собрать Картье. Надо, чтобы мир узнал о замыслах, вынашиваемых недобитыми и новыми фашистами в Европе. Сергей решил, что займется разбором бумаг во время отпуска. Запрется у тестя в маленьком подмосковном домике на садовом участке и сделает все, чтобы перевести отрывочные и запутанные записи Ива Картье в приемлемую для печати форму.

За Ива он был спокоен. В открытке, полученной из Марселя, Милевич писал, что Картье в Италии, среди друзей, и никакая ищейка, даже такая, как Дреггер, не сможет разнюхать его след. Архипов знал, что зимой Картье планировал поехать в Боливию и в Аргентину, где рассчитывал нащупать следы, ведущие к тайным сокровищам нацистов, вывезенным из Европы на закате третьего рейха. Но это будет зимой, и пока за судьбу Ива Картье можно было не волноваться...

* * *

Известие об убийстве Ива потрясло Архипова. Каким образом враги напали на его след? Среди итальянцев, увезших с собой журналиста, предателей быть не могло. Кто же тогда? Стефан? Милевич? Нет, невозможно... Официант из пивной «Санкюлоты»?.. Все это было пустое и бесполезное гадание. У него нет ни сил, ни возможностей раскрыть эту тайну. Он займется другим. В его руках досье Ива Картье, и надо сделать все, чтобы оно как можно скорее увидело свет...

Архипов тянул из пачки сигарету за сигаретой, стараясь справиться с наседающим на него сном. Недавнее прошлое

наплывало на него с исписанных вкривь и вкось страниц оставленного ему в наследство досье...

* * *

Ночью выпал снег, и когда утром Архипов проснулся и выглянул в окно, то увидел белые поля и запорошенные снегом деревья. В разрывах лесов проплывали дальние деревни, казавшиеся под белым небом и на заснеженной земле черными, одинокие домики лесников и объездчиков, и было видно, что люди уже встали: топились печи, и дым шел волоком и таял в морозном воздухе.

Когда Архипов побрился, достал из чемодана свежую сорочку и увидел, как проводник несет ему стакан только что заваренного чая, его охватило то легкое чувство безопасности, которое овладевает нами только в дороге.

Москва была уже совсем близко. Все чаще попадались стрелки, складские заборы, автобазы, депо, угольные склады с ухабистыми подъездами. С платформ, когда мимо проносился поезд, сметало снег, и он, кружась, уносился за бетонные ограды. Все было знакомо: и снежное месиво на переездах, и названия полустанков, и сutoлока у пристанционных киосков, и автобусы, на которых конечным пунктом значилось — «Москва».

Пассажиры уже высыпали в коридор. У всех был растерянный вид, точно приезд в столицу был для них неожиданностью.

Архипов тоже снял с полки чемодан и вынес в проход. Проскочили Перхушково, Пионерское, Одинцово. После платформы Фили в разъеме городских домов мелькнула знакомая Триумфальная арка с черной квадригой наверху...

Больше года Сергей не видел Москвы, и суета прибытия, и все, что несло теперь мимо него: все эти заборы, голые кусты акаций, склады, вагончики дорожных рабочих, белые, с кустами высохшего репейника косогоры, — весь этот придорожный, грязный и неухоженный мир показался ему невыразимо родным и близким. И когда над его головой в динамике сквозь хрип и треск неожиданно прорвалось знакомое с детства: «Москва моя... ты самая любимая...», — у него вдруг больно и сладко сжалось сердце...

СОДЕРЖАНИЕ

Заговор "черных сестер"	3
Оглашению подлежит.	149

Художественная

Вячеслав Васильевич Костиков

МИСТРАЛЬ

Редактор Н.В. Глазунова

Оформление художника В.П. Григорьева

Художественный редактор Н.Д. Смольникова

Технический редактор Н.П. Новикова

Корректор Э.С. Казанцева

ИБ № 1431

Сдано в набор 13.10.87. Подписано в печать 13.11.87. Формат 84 x 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура "Универс". Печать высокая. Усл. печ. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 13,86. Уч.-изд. л. 16,57. Тираж 50 000 экз. Заказ №1154. Цена 1р. 10к. Изд. № 7-ю/87. Издательство "Международные отношения" 107078, Москва, Садовая-Спасская, 20. Отпечатано с оригинал-макета издательства "Международные отношения" в Ярославском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

